

НЕМЕЦКИЕ
ВОЛШЕБНО-
САТИРИЧЕСКИЕ
СКАЗКИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



НЕМЕЦКИЕ ВОЛШЕБНО- САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ
А.А. МОРОЗОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Л Е Н И Н Г Р А Д
1 9 7 2

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Блатой,
И. С. Брагинский, А. Л. Гришунин, Б. Ф. Егоров,
А. А. Елистратова, Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Ф. А. Петровский,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов, С. Д. Сказкин,
С. Л. Утченко, Г. В. Церетели.*

Ответственный редактор
А. В. ФЕДОРОВ



К. М. ВИЛАНД

ИСТОРИЯ ПРИНЦА БИРИБИНКЕРА

ПЕРВАЯ ГЛАВА

В некоторой стране, о которой не упоминают ни Страбон,¹ ни Мартиньер,² жил некогда король, подавший историкам столь мало материи для приумножения своих заслуг, что они, пылая мщением, согласились между собою оспорить у потомков даже честь его существования. Однако все их злонамеренные старания не могли воспрепятствовать тому, что сохранились достоверные источники, в коих можно найти все, что о нем при случае можно сказать. Согласно этим известиям, был он доброго королевского склада, трапезовал на дню по четыре раза, не томился бессонницей, и столь любил мир и спокойствие, что в его присутствии было запрещено под страхом строжайшего наказания упоминать о шпагах, ружьях, пушках и тому подобных предметах. Но самое достопримечательное в его особе было брюхо, такой величественной полноты, что наиболее могущественные монархи его времени должны были ему в том отдать преимущество. Нельзя сказать с совершенной уверенностью, был ли он прозван Великим и, как уверяют, еще при жизни, по случаю сего помянутого брюха или по иной какой тайной причине, одно только неопровержимо, что во всем его государстве сие прозвание не стоило ни одному подданному ни капли крови, чего уж никак не скажешь ни об Александре Великом, ни о Константине Великом, ни о Карле Великом, ни об Оттоне Великом, ни о Людвиге Великом, ни о доброй дюжине других, которые учинились великими с немалым уроном для человеческого рода. А когда дело дошло до того, что Его Величеству по любви к своему народу и ради сохранения престолонаследия в высочайшей своей фамилии надлежало сочетаться августей-

шим браком, то Академии наук пришлось немало потрудиться, чтобы определить модель, коей должна была точно соответствовать принцесса, дабы наилучшим образом оправдать надежды нации. После длительных академических заседаний, следовавших одно за другим, искомая модель была, наконец, определена, и тотчас же ко всем азиатским дворам были снаряжены во множестве посольства, которые и сыскали принцессу, вполне отвечающую предложенному образцу. Радость, вызванная ее прибытием, была чрезвычайна, а бракосочетание совершено с таким великолепием, что по крайней мере пятьдесят тысяч пар верноподданных принуждены были остаться невенчанными, чтобы тем самым покрыть издержки на свадьбу его величества. Президент Академии наук, невзирая на то что он был наихудший геометр своего времени, изловчился приписать себе всю честь вышепомянутого изобретения, с полным основанием полагая, что отныне вся его репутация зависит от плодовитости королевы, и понеже он был несравненно сильнее в экспериментальной физике, чем в геометрии, то неведомо, каким образом нашел средство оправдать вычисления академиков. Одним словом, королева в надлежащий срок родила прекраснейшего принца, какого только когда-либо видели, и король на радостях возвел Президента Академии наук еще и в ранг первого визиря.

Едва принц появился на свет, тотчас же было созвано со всех концов государства двадцать тысяч девиц несказанной красоты, заранее назначенных к тому, чтобы выбрать из них кормилицу. Первый лейб-медик не только предписал, чтобы выбор пал на самую красивую, но и в силу своей должности положил условие, что учинит сей выбор собственною своею персоною, хотя ему для этого, по причине слабого зрения, и потребуются очки. Но даже с их помощью господин лейб-медик, который был великим знатоком по сей части, положил немало трудов, чтобы из двадцати тысяч красавиц выискать наипрекраснейшую, и день уже клонился к вечеру, когда ему удалось свести число кандидаток до двух дюжин.

Но коль скоро в конце концов надлежало все же свершить выбор, и он уже намерен был отдать предпочтение высокой брюнетке, обладавшей помимо прочих достоинств, самым маленьким ротиком и пышной грудью, иными словами, такими качествами, которые, как уверяют Гален³ и Авиценна,⁴ на худой конец надлежит требовать от доброй кормилицы, как нежданно-негаданно объявились преогромная пчела и черная коза, домогавшиеся, чтобы их допустили к королеве.

— Государыня, заговорила пчела, — до меня дошел слух, что вы ищите для вашего прекрасного принца кормилицу. Ежели бы вы возымили ко мне доверие и отдали предпочтение перед сими двуногими тварями, то вы бы в том не раскаялись. Я вскормила бы принца чистейшим медом, снятым с цветов померанца, и вы не нарадуетесь, глядячи, каким он вырастет большим и дородным. От его дыхания будет исходить аро-

мат жасмина, и сама слюна у него будет слаще мальвазии,⁵ а его пеленки. . .

— Справедливая государыня, — перебила ее речи коза, — подаю вам совет как добрая приятельница — поостерегитесь сей пчелы! То правда, — ежели вы тому придаете значение, — что ваш юный принц станет сладчайшим, ибо к тому она годна лучше кого-либо иного, однако же и змеи таятся под цветами. Она одарит его таким жалом, которое навлечет на него тьму несчастий. Я всего только драная коза, но клянусь своею бородою, что мое молоко полезительнее для принца, нежели ее мед; и хотя он не будет производить ни нектара, ни амброзии, однако ж обещаю вам, что он вырастет нахрабрейшим, мудрейшим и благополучнейшим между всеми принцами, когда-либо вскормленными козьим млеком.

Тут всяк подивился, услышав такие речи от пчелы и козы. Однако ж королева тотчас заметила, что то, видимо, были две феи, отчего некоторое время провела в замешательстве, не зная на что решиться. Наконец, она объявила, что склонилась к пчеле, ибо была скупенька и помыслила, что ежели пчела сдержит слово и принц станет всегда испускать такую сладость, то можно будет соблюсти изрядную экономию на конфетах для стола.

Коза, как видно, была приведена в немалую досаду, что ее таким родом спровадили, и трижды проблеяла себе в бороду что-то невнятное, и вот! — тотчас явилась великолепная лакированная и раззолоченная карета, запряженная осмью фениксами;⁶ в тот же миг черная коза исчезла, а вместо нее увидели крошечную старушенцию, которая села в карету и, разразившись страшными угрозами королеве и маленькому принцу, умчалась по воздуху.

Лейб-медик был весьма раздосадован столь странным выбором и уже собрался предложить пышногрудой брюнетке, не изволит ли она заступиться место домоправительницы у него самого, но, по несчастью, его упредил некий придворный, так что ему пришлось довольствоваться одной из остальных девятнадцати тысяч девятисот семидесяти шести, ибо и оставшиеся две дюжины были уже разобраны.

Меж тем угрозы черной козы так всполошили короля, что в тот же вечер он собрал государственный совет, дабы обсудить, что надлежит предпринять в столь опасных обстоятельствах. И так как он привык каждую ночь засыпать, слушая сказки, то хорошо знал, что феи не откладывают на долго исполнение своих угроз. И вот, когда все мудрые мужи собрались и каждый сказал свое мнение, то обнаружилось, что тридцать шесть советников в больших четырехугольных париках внесли не менее тридцати шести предложений, причем каждый выставил по крайней мере тридцать шесть препятствий к их осуществлению. Оживленные дебаты заняли свыше тридцати шести сессий, и принц, конечно, успел бы возмущать, покуда бы они пришли к согласию, ежели бы первый шут короля не возымел счастливую мысль отправить посольство к великому волшеб-

нику Карамуссалу, жившему на самой высокой вершине Атласских гор, к которому отовсюду обращались за советом, как к некоему оракулу. И так как придворный шут владел сердцем короля и его в самом деле почитали умнейшим человеком при дворе, то все согласилось с его советом и в несколько дней снарядили посольство, которое (дабы сберечь суточное довольствие) ехало с такой поспешностью, что за три месяца достигло вершины Атласа, хотя она и отстояла почти на двести миль от столицы.

Послы тотчас же были допущены к великому Карамуссалу, который восседал в великолепном зале на троне из черного дерева и день-деньской только и знал, что давал ответы на диковинные вопросы, какие посылали к нему со всех концов света. Едва первый посол, погладив бороду и трижды откашлявшись, раскрыл непомерный рот, чтобы произнести изрядное приветствие, составленное ему секретарем, как тотчас же Карамуссал перебил его:

— Господин посол, я дарю вам вашу речь! Может статься, вы сумеете лучше воспользоваться ею при других обстоятельствах; мне самому приходится целый день столько говорить, что не остается времени слушать, а к тому же я знаю наперед, какая у вас до меня надобность. Передайте королю, своему государю, что он нажил себе в фее Капрозине сильного недруга, однако не вовсе не невозможно избежать тех бед, которые накликала она на престолонаследника, если соблюсти надлежащую предосторожность, которая заключается в том, чтобы принцу до восемнадцатилетнего возраста не увидел ни одной молошницы. Но так как, невзирая на всяческую предосторожность, весьма трудно, а то и невозможно избежать своей участи, то вот мой совет, пригодный для всякого случая, дайте принцу имя Бирибинкер, чья тайная сила лишь одна настолько могущественна, чтобы благополучно вывести его из всех злоключений, в какие он может попасть.

С таким ответом отпустил Карамуссал посольство, которое по прошествии еще трех месяцев возвратилось в столицу под радостные клики народа.

Король почел ответ великого Карамуссала столь нелепым, что не мог решить, надлежит ли ему в таком случае рассмеяться или прогневаться.

— Клянусь собственным брюхом! — вскричал он (ибо такова была его клятва), — сдается мне, великий Карамуссал вздумал милостиво подшутить над нами. Бирибинкер! Что за треклятое имячко! Слыхано ли когда-либо, чтобы принца звали Бирибинкером? Хотелось бы мне знать, что за тайная сила заключена в столь дурацком имени! Сказать по правде, и запрет до восемнадцати лет видеть молошниц ни на волос умнее! Чего именно ради молошниц? С каких пор молошницы стали опаснее других девок? Ежели бы он еще сказал: ни одной танцовщицы или камеристки королевы, это по мне куда ни шло, ибо, между нами будь

сказано, я не поручусь, что и мне при случае не доводилось подпадать искушениям такого рода.

Но коли так уж угодно великому Карамуссалу, то пусть принц зовется Бирибинкером! По крайней мере он будет первым с таким именем, а это придает некоторую значительность в истории; а что касается молошниц, то я прикажу, чтобы за пятьдесят миль до моей резиденции не держать ни коров, ни коз, ни подошников, ни молошниц.

Король не дал себе труда поразмыслить о последствиях своего решения и как раз намеревался издать о том особый указ, когда парламент через многочисленные деputationи представил ему, что будет весьма жестоко, если не сказать тиранически, ежели Его Величество принудит своих верноподданных впредь вкушать кофе без сливок. И понеже преждевременное известие о таковом эдикте уже произвело ропот в народе, то Его Величество, по примеру многих других королей в волшебных историях, наконец, принужден был решиться удалить от себя наследного принца, препоручив его кормилице-пчеле, положась на ее мудрое попечение, дабы она охраняла его от козней феи Капрозины и от молошниц.

Пчела перенесла маленького принца в лес, простиравшийся по меньшей мере на двести миль в окружности и столь необитаемый, что на всем его пространстве нельзя было сыскать и крота. Она построила там огромный улей из красного мрамора, разбив на двадцать пять миль вокруг парк из померанцевых деревьев. Рой из пятисот тысяч пчел, над коими она была царицей, собирал мед для принца и гарема своей повелительницы, а для совершенной безопасности вокруг леса были поставлены осиные гнезда, чьим гарнизонам отдано повеление наистрожайшим образом стеречь границы.

Меж тем принц возрастал, превосходя своею красотою и удивительными качествами все, что прежде когда-либо видывали. Он плевал чистым розовым сиропом и мочился чистой померанцевой водой, а его пеленки содержали наидрагоценнейшие во всем свете вещи. Едва только он научился говорить, как уже лепетал эпиграммы, а его остроумие мало-помалу стало столь едким, что ни одна пчела не могла с ним сравняться, хотя самые глупые в том улье обладали остроумием по меньшей мере, как сочлены немецкого литературного общества в...⁷

Едва принц достиг семнадцатилетнего возраста, как в нем пробудился известный инстинкт, который ему открыл, что он не создан для того, чтобы всю жизнь обретаться в пчелином улье. Фея Мелисота (ибо так звали его кормилицу) употребила все старание, чтобы приободрить своего питомца и рассеять его мысли. Она выписала для него несколько весьма искусных кошек, которые всякий вечер устраивали ему французский концерт или промякивали оперу Люлли.⁸ У него была собачонка, умевшая плясать на канате, и дюжина попугаев и сорок, у которых не было иного дела, как рассказывать сказки и потешать его различными выдумками. Но ничто не помогало! Бирибинкер день и ночь ни о чем

другом не помышлял, как только о том, как бы убежать из заключения. Наибольшую трудность доставляли ему проклятые осы, сторожившие лес, которые и впрямь были тварями, способными устроить самого Геркулеса. Ибо они были крупны, как слонята, а жала у них по фигуре, да и почти по величине были подобны утренней звезде, что служила в старину швейцарцам, защищавшим свою свободу.⁹ И когда он однажды, в полном отчаянии от своей неволи, бросился под дерево, к нему приблизился некий трутень, который, подобно другим мужским обитателям этого улья, был ростом с доброго медвежонка.

— Принц Бирибинкер, — обратился к нему трутень, — ежели вам скучно, то уверяю вас, мне тут еще горше! Фея Мелисота, наша царица, несколько недель назад okazала мне честь, избрав меня своим первым любовником, однако признаюсь вам, что я не способен сносить бремя моей должности. И ежели бы вы, принц, захотели, то для вас не было бы ничего проще доставить себе и мне свободу.

— А что надлежит предпринять? — спросил принц.

— Я не всегда был трутнем, — ответил раздосадованный любовник, — и только вы один способны возвратить мне первоначальный облик. Садитесь ко мне на спину. Теперь вечер, царица занята делами в своей келье; я улечу с вами отсюда, но вы должны мне обещать, что исполните все, что я от вас потребую.

Принц дал обещание, не задумываясь, взобрался на трутня, и они полетели с такою скоростью, что через семь минут выбрались из лесу.

— Отныне, — сказал трутень, — вы в безопасности. Могущество старого волшебника Падманабы, который сверг меня в подобные обстоятельства, не позволяет мне далее вам сопутствовать. Однако ж послушайте, что я вам скажу. Ежели вы пойдете по этой дороге налево, то выйдете на широкую равнину, где увидите стадо лазоревых коз, пасущихся вокруг маленькой хижинки. Поберегитесь входить в эту хижину, иначе погибнете. Держитесь все время левой руки, куда не дойдете до обветшалого дворца, оставшееся великолепие коего покажет вам, каким он был прежде. Через несколько дворов вы выйдете к большой лестнице из белого мрамора и подыметесь по ней на длинную галерею, где по обеим сторонам найдете множество роскошно убранных и ярко освещенных покоев. Не входите ни в один из них, ибо в противном случае они во мгновение ока сами собой замкнутся и никакая человеческая сила не сможет вас оттуда вывести. Однако там сыщется комната, которая будет заперта, но тотчас же отворится, едва только вы произнесете имя Бирибинкер. В ней-то вы и проведете ночь. Вот все, что я от вас требую. Счастливого пути, благосклонный господин мой! И когда вам понадобится мой совет, то не забудьте, что надобно услугой воздавать за услугу.

С такими словами трутень улетел прочь, повергнув в немалое изумление принца всем, что он услышал. Полон нетерпеливого ожидания предстоящих диковинных приключений, принц шел всю ночь напролет, ибо

светил месяц и стояло лето. По утру завидел он пестрый луг, хижину и лазоревых коз. Строгий наказ трутня был еще свеж в его памяти, но, узрев коз и хижину, принц почувствовал некое влечение, которому не в силах был противиться. Итак, он зашел в хижину и не обрел там никого, кроме молоденькой молошницы в белоснежном лифе и юбочке. Она как раз собиралась подоить коз, привязанных к алмазным яслям. Подойник, который она держала в прекрасной руке, был выточен из цельного рубина, а омшанник вместо соломы усеян жасминовыми и померанцевыми лепестками. Все сие было удивления достойно, однако принц едва это заметил, так ослепила его красота молошницы. Поистине сама Венера, когда зефиры переносили ее на берег Пафоса,¹⁰ или младая Геба,¹¹ когда она, подобрав туника, наливала нектар богам, были не более прекрасны и восхитительны, нежели сия молошница. Ее ланиты могли пристыдить румянцем самые свежие розы, а жемчужные нити, которыми были перевязаны ее руки и восхитительные маленькие ножки, казалось, служили только для того, чтобы оттенить их ослепительную белизну. Ничто не могло быть прелестней и восхитительней ее лица и улыбки; все ее существо светилось нежностью и невинностью, а ее наималейшие движения исполнены невыразимой грации, с первого взгляда привлекающей к себе сердца. Эта очаровательная особа, казалось, была столь же приятно поражена при виде принца Бирибинкера, как и он сам. В нерешительности, остаться ли ей или обратиться в бегство, она застыла на месте, наблюдая за ним стыдливым взором, в котором смешивались робость и удовольствие.

— Вот так-так, — наконец вскричала она, когда принц упал к ее ногам, — это он, это — он!

— Как, — воскликнул восхищенный принц, который по ее словам заключил, что она уже его знает и к нему равнодушна, — о, безмерно благополучный Бирибинкер!

— Боги! — вскричала молошница, с дрожью отшатнувшись от него, — что за ненавистное имя я услышала! Как обманули меня очи и торопливое сердце! Беги, беги, злополучная Галактина! — И она впрямь умчалась из хижины с такою быстротою, словно ее подхватил ветер.

Озадаченный принц, который не мог постичь такого отвращения, в какое столь внезапно переменилась первоначальная склонность прекрасной молошницы, едва она услышала его имя, бросился за нею со всей стремительностью, на какую только был способен, однако она летела, едва касаясь травы. Прелести, открываемые каждый миг ее трепещущим платьем, тщетно воспламеняли желання и окрыляли ноги поспевающего принца. Он потерял ее в густом кустарнике, где потом целый день бросался из стороны в сторону, заслышав любой шорох или шепот, однако же не сыскав ни малейшего ее следа.

Меж тем зашло солнце, и он неприметно для себя очутился у самых ворот старого полуразрушенного замка. Повсюду посреди зарослей выси-

лись мраморные руины и обрушившиеся колонны из драгоценных камней, так что он то и дело натывался на различные обломки, из коих наихудший стоил бы на материке целого острова. Он тотчас приметил, что вышел к тому самому дворцу, о котором ему нарасказал его добрый друг трутень, и льстил себя надеждой (как то обыкновенно случается с влюбленными), что обретет там свою прелестную молодницу. Он пробрался через три двора и под конец вышел к беломраморной лестнице. По обеим сторонам на каждой ступени, — а их было по меньшей мере шестьдесят, — стояли большие огнедышащие крылатые львы, извергавшие из ноздрей столько пламени, что от него было светлее, нежели днем, но огонь этот не опалил на принце ни единого волоса, а львы едва только его завидели, как распустили крылья и улетели прочь с превеликим рыканием.

Принц Бирибинкер поднялся наверх и вошел в длинную галерею, где находились открытые настеж покои (от коих и предостерегал его трутень). Каждый в свой черед вел в анфиладу других, а великолепии, с каким они были расположены и убраны, превосходило все, что могла представить себе вся сила его воображения, невзирая на то что подобные волшебства были ему уже не в диковину. Но на сей раз он поостерегся ослабить поводья своего любопытства и шел до тех пор, покуда не добрался до запертых дверей из черного дерева, в которых торчал золотой ключ. Он тщетно пытался его повернуть, но едва вымолвил имя Бирибинкер, как двери распахнулись сами собой, и он очутился в пре-большой зале, стены которой были увешаны хрустальными зеркалами. Зала была освещена алмазной люстрой, в которой более чем в пятистах лампах поыхало коричневое масло. Посредине стоял небольшой стол из слоновой кости на смарагдовых ножках, накрытый на две персоны, по сторонам два поставца с золотыми тарелками, кубками, чашами и прочею столовою посудой. С изумлением наглядясь на все, что предстало его взору, принц приметил еще одну дверь, через которую и прошел в различные покои, превосходившие друга друга великолепием убранства. Он осмотрел все подробнейшим образом и не знал, что и подумать. Все на пути к дворцу говорило о полном разрушении, а внутренние покои, казалось, не оставляли сомнения, что он обитаем, хотя принц не открыл присутствия ни одной живой души. Он снова обошел все покои, искал повсюду и, наконец, в самом последнем обнаружил еще одну дверь в обоях. Отворил и попал в кабинет, где волшебство превзошло само себя. Приятное смешение света и тени наполняло покой таким образом, что нельзя было обнаружить источника этого волшебного сумрака. Стены из полированного черного гранита представляли, как и столько же зеркал, эпизоды из истории Адониса и Венеры¹² с такою живостью и верно-стью в подражании природе, что нельзя было угадать, каким искусством эти живые образы были запечатлены на камне. Приятные ароматы, словно навеваемые весенним ветром с недавно распустившихся цветов, напол-

няли весь покой так, что нельзя было приметить, откуда они исходили, а тихая гармония, словно доносившаяся издалека музыка столь же невидимого концерта, наполняла очарованный слух и вселяла в сердце нежное томление. Мягкая софа, — а над ней мраморный, но словно живой купидон откидывал волнующийся занавес, — была единственным предметом в сем отдохновительном месте, пробуждая в принце сокровенное желание чего-то такого, о чем он имел лишь неясное понятие, хотя обои, которые он рассматривал с большим вниманием и не без некоторого сладостного томления, начали ему кое-что втолковывать. В тот же миг с живостью представился ему образ прекрасной молошницы; и после многих тщетных сетований об ее утрате принялся он снова за поиски, покада не утомился. И понеже ему и на сей раз, как и прежде, не посчастливилось, то удалился в кабинет, где стояла софа, разделся и расположился отдохнуть, когда некая неустранимая потребность человеческой природы побудила его заглянуть под софу. Он и впрямь нашел там преизящный сосуд из хрусталя, сохранявший еще знаки того, что он некогда служил для такого употребления. Принц начал испускать в оный померанцевую воду, как — о, диво! — хрустальный сосуд исчез и вместо него он узрел перед собою молодую нимфу, столь прекрасную, что он в странном смешении радости и страха на несколько мгновений как бы потерял самого себя. Нимфа дружелюбно ему улыбнулась и, прежде чем он успел оправиться от своего изумления, сказала:

— Добро пожаловать, принц Бирибинкер! Не сожалеете, что вы оказали услугу юной фее, которую свирепый ревнивец более чем на два века сделал предметом, служащим для удовлетворения подлейших нужд. Скажите напрямик, принц, не находите ли вы, что натура определила меня к более благородному употреблению?

Столь неожиданный вопрос привел благонаравного Бирибинкера в некоторое смятение. Он, как нам известно, не испытывал недостатка в остроумии, которое у него даже было в большом избытке, но так как в меньшей мере был наделен и безрассудством, то с ним нередко случалось, что в тот миг, когда остроумный ответ был единственным средством, которое могло ему пособить, он вместо того бормотал несусветную чушь. Так было и на сей раз, ибо он понимал, что на вопрос феи, который ему в их положении показался весьма простодушным, надлежало сказать что-либо весьма учтивое.

— Это большое счастье для вас, прекрасная нимфа, — отвечал он, — что у меня и в мыслях не было оказать вам столь диковинную услугу, которую я вам все же оказал нечаянным образом, ибо уверяю вас, что я в противном случае слишком хорошо знал бы, что благопристойность. . .

— О, не нагромождайте столько учтивостей, — перебила его фея, — в обстоятельствах, в коих мы свели знакомство, они вовсе излишни. Я обязана вам благодарностью не менее чем за самое себя, и так как нам предстоит провести вместе не долее сей ночи, то мне надо бы упрекать

себя за то, что я подала вам повод тратить время на комплименты. Я знаю, вам нужно отдохнуть. Вы уже раздеты, так займите эту постель. Она, правда, единственная в этих покоях, однако в большой зале стоит еще кушетка, где я могу с удобством провести ночь.

— Сударыня, — возразил принц, сам не зная, что говорит, — я был бы в сию минуту счастливейший среди всех смертных, когда бы не был самым несчастным. Должен признаться, я нашел то, чего не искал, меж тем как искал то, что я потерял, и когда бы не досада, что я обрел вас, то радость моей потери — ах, нет, радость, что я вас нашел, хотел я сказать. . .

— Взаправду, — перебила фея, — мне сдается, что вы бредите? Что означает вся эта галиматья? Подойдите, принц Бирибинкер, и скажите доброю прозою, что вы влюблены в некую молошницу.

— Вы так счастливо угадываете, — ответил принц, — что я должен признаться вам, что. . .

— О, тут нечего вдаваться в околичности, — продолжала фея, — и, разумеется, в ту самую молошницу, которую вы повстречали сегодня поутру в дрянной хижине или, лучше сказать, в хлеву?

— Но, прошу вас, как мы могли. . .

— И она только что собиралась на подстилке из померанцевых лепестков подоить лазоревую козу в рубиновый подойник, не правда ли?

— Поистине, — вскричал принц, — для особы, которая всего четверть часа тому назад была, не прогневайтесь на меня, я не хочу сказать чем, знаете вы удивительно много.

— И девка убежала оттуда, едва слышала ваше имя?

— Однако, прошу вас, сударыня, как могли вы все это узнать, ежели, по вашим же словам, вот уже двести лет, как вы находитесь в том странном состоянии, в котором я имел честь нечаянно с вами познакомиться?

— По мне, так уж не столь нечаянно, как вы воображаете, — ответила фея, — однако отложите на некоторое время любопытство! Вы устали и целый день ничего не ели; пойдите в залу, там уже для нас обоих накрыт стол, и я надеюсь, что ваша верность прекрасной молошнице все же не помешает мне, по крайней мере за трапезой, разделить ваше общество.

Бирибинкер заметил скрытую в сих словах тайную укоризну, однако не показал виду и, довольствовавшись глубоким поклоном, последовал за нею в залу.

Как только они вошли туда, прекрасная Кристаллина (как звали фею) подошла к камину и вооружилась маленькой палочкой из черного дерева, на обоих концах которой был прикреплен алмазный талисман.

— Теперь мне нечего опасаться, — сказала она, — садитесь, принц Бирибинкер! Отныне я повелительница сих палат и сорока тысяч стихийных духов, коих великий волшебник, построивший пятьсот лет назад этот дворец, приставил сюда в услужение.

С такими словами ударила она три раза по столу, и в те же мгновенья Бирибинкер увидел, как перед ним появились самые изысканные яства, а бутылки на поставце сами собою наполнились вином.

— Я знаю, — промолвила фея, — что вы не вкушали ничего, кроме меда; отведайте это блюдо и скажите мне свое мнение!

Принц поел предложенное ему блюдо и поклялся, что это должно быть по меньшей мере амброзией богов.

— Оно приготовлено из чистейших ароматов неувядающих цветов, которые растут в садах сильфов, — пояснила фея.

— А что вы скажете об этом вине? — продолжала она, поднося ему полную чашу.

— Клянусь! — вскочил восхищенный Бирибинкер, — что даже прекрасная Ариадна¹³ не подносила лучшего младому Ваку.

— Его выжимают, — заметила фея, — из гроздей винограда, возделанного в садах сильфов; оно-то и дарует прекрасным духам бессмертную юность, которая волнуется в их жилах.

Фея ничего не сказала о том, что нектар обладал еще и другим свойством, которое принц довольно скоро испытал на себе. Чем больше он вкушал сие вино, тем прелестнее находил он свою прекрасную сотрапезницу. С первым же глотком он приметил, что у нее красивые белокурые волосы, при втором он был растроган нежными линиями ее рук, с третьим он открыл чудесную ямочку на щеке, а после четвертого его восхитили и некоторые другие прелести, открывшиеся его взору под тонким флером как в тумане. Столь очаровательное соседство и добрая чаша, которая все время наполнялась сама собой, были более чем достаточны для того, чтобы погрузить его чувства в сладостное забвение всех молодшиц на свете. Что тут сказать? Бирибинкер был слишком учтив, чтобы оставить столь прекрасную фею спать на канаве, а прекрасная фея слишком благодарна, чтобы не разделить с ним общество в таком доме, где хозяйничают сорок тысяч духов.

Словом, учтивость с одной стороны и благодарность с другой простирались столь далеко, сколько было возможно, и Бирибинкер, казалось, так славно оправдал благоприятное мнение, которое Кристаллина возымела о нем с первого взгляда, что она с помощью такого же доброго мнения, какое у нее было о себе самой, могла надеяться, что всем ее печалям наступил конец.

Как гласит история, фея пробудилась первой и не могла стерпеть такого бесчинства, что столь необыкновенный принц покоится рядом с нею спящим.

— Принц Бирибинкер, — сказала она наконец, растормошив его, — я вам немало обязана. Вы избавили меня от самых непристойных чар, которым когда-либо подвергалась особа моего ранга; вы отомстили за меня жестокому ревнивцу; теперь осталось только одно, и вы всецело можете положиться на бесконечную благодарность феи Кристаллины.

— Так что же еще осталось? — спросил принц, протирая глаза.

— Тогда послушайте, — сказала фея, — этот дворец, как я вам уже говорила, принадлежит одному волшебнику, которому его познания дали почти неограниченную власть над всеми стихиями. Однако тем ограниченнее было его могущество над сердцами. К несчастью, невзирая на белоснежную бороду, он обладал наинейшей душой, какая когда-либо была на свете. Он влюбился в меня и хотя не обладал даром внушать взаимную любовь, однако обладал достаточной силой, чтобы вселить страх. Подивитесь, принц, дивным прихотям рока! Я не отдала ему сердца, хотя он употреблял к тому все мыслимые усилия, но предоставила в его распоряжение свою особу, которая ни в чем не была ему пригодна. Со скуки сделался он, наконец, ревнивым и до такой степени, что этого нельзя было больше снести. Он держал в услужении наипрекраснейших сильфов и все же досадовал на невиннейшие вольности, которые мы иногда дозволяли между собою. Довольно было ему застать в моих покоях или на моем канapé одного из них, как я уже знала наверно, что его никогда не увижу. Я требовала, чтобы он положился на мою добродетель, однако и это казалось недоверчивому старцу ненадежной порукой при той участи, которую он, как ему было хорошо известно, вполне заслужил. Одним словом, он отставил всех сильфов и принял в услужение одних только гномов, маленьких уродливых карлов, при одном взгляде на которых я могла бы от омерзения лишиться чувств. Но как привычка под конец делает все сносным, то мало-помалу она примирила меня и с этими гномами, так что под конец я находила забавным и то, что поначалу представлялось мне мерзким. Среди них не было ни одного, кто не имел бы чего-нибудь чрезмерного в своем телосложении. У одного был горб, как у верблюда, у другого нос, свисавший через нижнюю губу, у третьего уши, как у совы, и рот, рассекавший голову на две половины, а у четвертого чудовищное брюхо, словом, даже китайская фантазия не могла бы измыслить ничего более причудливого, чем лица и фигуры этих гномов. Однако старый Падманаба не заметил, что между его прислужниками нашелся один такой, который в известном смысле мог быть опаснее, нежели наипрекраснейший из всех сильфов. Не оттого, что он был менее безобразен, чем остальные гномы, а оттого, что по странной прихоти природы обладал достоинством, которое у других только оскорбляло глаза. Не знаю, уразумели ли вы меня, принц Бирибинкер?

— Не вполне, — ответил принц, — но рассказывайте далее, может статься, что впоследствии вы выразитесь яснее. . .

— Прошло немного времени, — продолжала прекрасная Кристаллина, — и у Гри-гри (как звали гнома) нашелся повод думать, что он мне куда менее противен, чем его сотоварищи. Что тут подделаешь? Чего не взбредет в голову от скуки! Гри-гри обладал чрезвычайным дарованием прогонять скуку раздосадованных дам, словом, он умел занимать мое праздное время (а его у меня было очень много) столь приятным образом,

что нельзя было мне доставить больше удовольствия, чем я тогда получила. Падманаба в конце концов заметил непривычную веселость, которая светилась на моем лице и отражалась на всем моем существе. Он не сомневался, что тут должна быть иная причина, нежели радости, которые он предлагал мне сам; однако он не сразу мог угадать, в чем тут причина. По несчастью, он был великий мастер в том роде силлогизмов, которые именуются соритами,¹⁴ и с помощью подобной цепи умозаключений добрался до такой догадки, которая, казалось, открыла ему всю тайну. Он решил за нами наблюдать и улучил такое время, когда неожиданно застал нас в этом самом кабинете. Поверите ли, любезный принц, что можно обладать столь злым сердцем, какое обнаружил старый волшебник при сих обстоятельствах? Вместо того чтобы (как приличествует такому мужу, как он) тихонько удалиться, он разгневался свыше всякой меры на то, что я нашла средство коротать время в его отсутствии. Он мог бы досадовать на то, что он не Гри-гри, но что может быть несправедливее, как наказывать за это нас?

— И в самом деле, — заметил Бирибинкер, — нет ничего несправедливее. Ибо, я уверен, что, если бы он в одном только пункте был подобен Гри-гри, то вы бы, невзирая на его длинную седую бороду, отдали бы ему предпочтение перед маленьким уродливым карлом.¹⁵

— Для такого остроумца, каким надлежало возрасти питомцу феи Мелиссоты, — возразила Кристаллина, — вы изрекаете слишком много несуразного, так что всякую минуту можно завести с вами ссору. Ну, что, к примеру, вы только что сказали... Однако у нас сейчас нет времени спорить о словах. Но послушайте, что произошло дальше. Падманаба обрушил на нас всю ярость, в которую, вероятно, был ввергнут наблюдением, сколь мало он был Гри-гри. Я стыжусь повторять вам комплименты, сделанные им мне при сем случае. Короче, он превратил меня, вы сами знаете во что, а бедняжку Гри-гри в трутня.

— В трутня! — вскричал принц.

— Да, в трутня, — подтвердила Кристаллина, — и с таким условием, что я получу прежний облик не ранее, пока не послужу принцу Бирибинкеру, простите моей стыдливости, что я не назову те обстоятельства, в которых имела удовольствие вас впервые узнать и, вправду, настолько в вашу пользу.

— Вы оказываете мне слишком много чести, — перебил ее Бирибинкер, — и когда бы я знал, что ваше сердце пленилось столь достойным предметом...

— Все же, прошу вас, — поморщилась фея, — отвыкнуть от несвоевременных комплиментов. Вы не представляете себе, сколь это принужденно и несоответственно вашей натуре. Скажу вам, что я была лучшего мнения о вашей скромности, и полагаю, что подала вам к тому немалый пример, ежели, находясь столь близко от вас, чувствую себя в безопасности. Я не слишком отчетливо припоминаю, как это случилось, что мы так коротко

сошлись, ибо сознаюсь, что от радости по случаю нашей долгожданной встречи я выпила два-три лишних бокала, однако надеюсь, что вы вели себя в границах благопристойности. . .

— В самом деле, прекрасная Кристаллина, — снова перебил ее принц, — я нахожу вашу память столь же необыкновенной, как и добродетель, на которую, согласно вашему желанию, должен был положиться престарелый Падманаба. Однако скажите мне, ежели не запомнили, что стало потом с трутнем?

— Вы кстати напомнили мне о нем, — ответила фея, — бедняжка Григри! Я и в самом деле о нем забыла, и мне, право, жаль! Но жестокосердый Падманаба поставил такое нелепое условие для его освобождения, что я не знаю, как мне его вам поведать.

— А что же это все-таки за условие? — спросил принц.

— Просто непостижимо, — сказала Кристаллина, — чем могли вы так досадить старому волшебнику, что он замешал и вас в эту заварушку, ибо совершенно несомненно, что, когда происходили все эти превращения, даже ваша прабабушка еще не родилась на свет. Одним словом, Григри вернет себе прежний облик не прежде, нежели вы. . . Нет, принц Бирибинкер! Присущая мне чувствительная деликатность не позволяет вам это открыть, и я в еще меньшей мере понимаю, как вас вразумить, ибо по румянцу, который проступает у меня на лице, при одной мысли о подобных вещах вы можете догадаться, что это такое.

— О, сударыня! — вскричал принц, вскочив на ноги, — я покорный слуга господина Падманабы! Но ежели дело только за таким малым обстоятельством, то надобно вам лишь поискать среди десяти тысяч гномов, состоящих в вашем услужении, нового Григри, чтобы отомстить старому шуту за его чудодейственного соперника, что, верно, поважнее, нежели возвратит вашему карлику прежнюю красоту. А что до меня, то полагаю, вы должны быть довольны, что я вам возвратил вашу. Не скажу, что я не был с избытком вознагражден оказанными вами милостями за услугу, которая мне столь мало стоила. Я хотел бы только напомнить, что самое главное было, чтобы вы снова стали феей Кристаллиной, а не оставались хрустальным ночным горшком, — и то могущество, которое дает волшебная палочка старого Падманабы, может с легкостью утешить вас в потере одного возлюбленного.

— Я все же надеюсь, — возразила Кристаллина, — что мою заботу о бедном Григри вы не припишете какому-либо своекорыстному намерению? Вы, стало быть, не знаете ни тонкости моих чувств, ни обязанности дружбы, ежели не способны понять, что можно иметь попечение о друге без какой-либо иной побудительной причины, кроме блага самого друга. и мне следовало бы выразить вам свое сожаление. . .

— Сударыня! — ответил Бирибинкер, который между тем уже оделся, — я так убежден в тонкости ваших чувствований, как только вы могли бы от меня потребовать, но вы сами видите, сколь удобно нынеш-

нее утро к продолжению моего путешествия. Сделайте милость, вы, чье сердце способно на бескорыстную дружбу, откройте мне, на каком пути я могу снова повстречать ненаглядную Галактину, и я перед всем светом стану утверждать, что вы самая бескорыстная и, ежели хотите, также самая суровая среди всех фей во вселенной!

— Вы будете удовлетворены, — сказала Кристаллина, — ступайте и ищите свою молошницу, так угодно вашей судьбе! У меня, быть может, нашлась бы причина не быть слишком довольной вашим поведением, однако вижу, что с вас нельзя много взыскивать. Ступайте, принц! На дворе вы увидите мула, который будет трусить с вами до тех пор, покуда вы не найдете свою Галактину. И когда, паче чаяния, с вами приключится что-либо неладное, то вы найдете в этом стручке надежное средство против всякой неприятности.¹⁶

... Принц Бирибинкер спрятал стручок, поблагодарил фею за все ее милости и сошел во двор.

— Вот, — сказала Кристаллина, провожавшая его, — видите этого мула, который, может быть, мало имеет себе подобных. Он происходит по прямой линии от знаменитого Троянского коня и ослицы Силеня.¹⁷ С отцовской стороны он унаследовал то, что он деревянный и не требует ни корма, ни подстилки, ни скребницы, а с материнской стороны, что он безжит тихой рысцой и терпелив как овца. Садитесь на него спустив поводя, и пусть идет куда захочет; он доставит вас к вашей возлюбленной молошнице; а ежели вы не будете счастливы, как того желаете, то пеняйте на самого себя.

Принц осмотрел необыкновенного мула со всех сторон, хотя все чудеса, которые повстречались ему в замке, побуждали его приписать сему животному все те достоинства, какие только насаждала фея. Когда принц садился, Кристаллина захотела показать ему, что она еще не все поведала ему о своем могуществе. Она трижды взмахнула палочкой по воздуху — и вот! — разом явились все десять тысяч сильфов, которых подчиняла себе палочка Падманабы. Двор, лестница, галерея и даже крыша наполнились крылатыми юношами, из коих самый наихудший превосходил красотою ватиканского Аполлона.¹⁸

— Клянусь всеми феями! — воскликнул Бирибинкер вне себя от такого зрелища, — какой блистательный у вас двор! Пусть крошка Гри-гри навеки останется трутнем! Приблизьте к себе их, сударыня! Какое несчастье, если бы среди всех этих богов любви не сыскалось бы ни одного, способного заменить вам гнома, который, по вашему собственному признанию, не обладает никаким иным преимуществом перед безобразными своими сотоварищами, кроме того, что наделен забавным уродством.

— Вы видите по крайней мере, — возразила Кристаллина, — что у меня нет недостатка в обществе, которое может меня вознаградить за ваше непостоянство, ежели мне когда-либо вздумается быть утешенной.

Засим пожелала она ему счастливого пути, и Бирибинкер затрусил на деревянном муле, размышляя обо всем, что ему довелось повстречать в этом диковинном замке.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Около полудня, когда зной становился нестерпимым, принц спешился на опушке и присел у ручейка, бежавшего в тени деревьев и кустарников. Вскорости завидел он пастушку, гнавшую на водопой стадо розовых овец как раз к тому месту, где в тени лежал Бирибинкер.

Подумайте, сколь велико было его восхищение, когда он узнал в молодой пастушке возлюбленную молошницу. Она показалась ему вдесятеро прекраснее, нежели когда он ее в первый раз увидел, но что его особенно обрадовало, так это то, что она вовсе не думала обратиться в бегство, а подходила все ближе, покуда не села неподалеку от него на траву. Принц не осмеливался заговорить, но бросал на нее столь пламенные взоры, что камни в ручейке едва не растопились в стекло.

Прекрасная пастушка, которая должна была обладать весьма холодной натурой, чтобы не испепелиться под такими взорами, тем временем равнодушно плела венки, искоса поглядывая на принца, в чем, по его мнению, крылась по меньшей мере досада. Все же это придавало ему настолько смелости, что он мало-помалу стал к ней придвигаться, чего она словно и не замечала, забавляясь с козочкой, у которой вместо шерсти росли серебряные нити, и она вся была искусно разукрашена веночками и розовыми лентами. Вблизи взоры принца стали не менее красноречивы, нежели издали, а ее очи отвечали время от времени столь учтиво, что он, наконец, не мог далее сдерживать себя и упал к ее ногам и (по своему обыкновению), изливаясь в поэтических выражениях, стал твердить все, что он сказал ей раньше языком более вразумительным и убедительным. Когда же его нежная элегия иссякла, прекрасная пастушка ответила, бросая в начале своей речи взоры более холодные, чем в конце:

— Уж не знаю, правильно ли я вас уразумела, не хотели ли вы мне все время сказать, что вы меня любите?

— О, небо! — воскликнул восхищенный принц, — люблю ли я вас? Скажите лучше, что я вас обожаю, что я изливаю к вашим ногам всю свою томящуюся душу.

— Видите ли, — сказала пастушка, — я всего только простая девушка и вовсе не требую, чтобы вы меня обожали. Вы также не должны изливать свою душу, чтобы я не подумала, будто она у вас в избытке. С меня было бы довольно, если бы вы меня только любили. Однако ж признаюсь, меня труднее убедить, нежели фею, с которой вы провели прошедшую ночь.

— О, боги, — воскликнул пораженный принц, — что я слышу? Возможно ли? Кто же мог вам? Откуда вы знаете? Я сам не знаю, что говорю. О! Злополучный Бирибинкер!

Прекрасная пастушка испустила ужасающий вопль, едва он вымолвил фатальное имя.

— И впрямь злополучный Бирибинкер! — вскричала она, поспешно вскочив на ноги. — Неужто понадобилось вам вновь оскорблять мой слух столь непристойным именем? Вы принуждаете меня вас ненавидеть и спастись бегством, ибо я...

Тут разгневанная Галактина была внезапно прервана в своих речах таким зрелищем, от коего и у нее и у принца разом вылетели все мысли. Они увидели великана, который вместо венка обвил вокруг головы несколько молодых дубов. Ковыряя в зубах огородную жердь, он шел прямо на пастушку и взревел столь зычным голосом, что не менее двухсот галок, свивших гнезда в его лохматой бороде, вылетели оттуда с огушительным гомоном:

— Что ты тут делаешь, куколка, с этим крохотным карликом? Сию же минуту ступай за мной, а не то я искрошу тебя в паштет. А ты, — обратился он к принцу, засовывая его в огромный мешок, — полезай-ка сюда!

После сего весьма лаконичного приветствия он завязал мешок, взял за руку пастушку и поплелся своею дорогою.

Бирибинкеру показалось, что он провалился в темную бездну, ибо все падал и падал, не видя конца своему падению. Все же в конце концов он почувствовал, что достиг дна, ударившись головою о ткацкий узел, так что несколько минут лежал оглушенный, проломив себе, как ему показалось, череп. Мало-помалу он опамятовался и тут вспомнил о стручке, который ему дала Кристаллина. Он его разломал, но не нашел в нем ничего, кроме алмазного ножичка с прикрепленным к нему крючком, не шире чем на три пальца.

— Неужто это все, — подумал он, — что фея Кристаллина мне пожаловала? К чему мне эта игрушка, и что мне с ней делать? Разве что она довольно велика, чтобы я мог с помощью ее перерезать себе горло, и, может статься, таково и было ее намерение. Однако ж, прежде чем приняться за глотку, надобно испытать все другое. Ведь с помощью этого ножичка я могу порезать в мешке дырку и, право, стоит потрудиться, ежели мне удастся из него выпрыгнуть, на это лучше отважиться, чем подвергать себя опасности, что это проклятое пугало наделает из меня колбасок для своих пугалат.

С таким похвальным намерением принц Бирибинкер или скорее сам ножик, в который был вделан талисман, так усердно принялся за дело, что через короткое время в мешке образовалась порядочная дыра, хотя волокна мешковины были толсты, словно якорные канаты. Принц заметил, что великан идет лесом, и решил улучшить время, чтобы вывалиться из мешка прямо на верхушку какого-нибудь высокого дерева. Намерение

это он немедленно привел в действие, да так, что великан и не заметил, однако сук, на котором он хотел удержаться, обломался, но, по счастью, добрый Бирибинкер упал в довольно глубокий мраморный бассейн, наполненный водою. Ибо то, что он почел лесом, было на самом деле прекрасным парком, принадлежавшим к расположенному неподалеку замку. Упав туда, он подумал, что бухнулся по меньшей мере в Каспийское море, или, лучше сказать, совсем ничего не подумал, так как его обуял такой страх, что он, может статься, и вовсе бы не выплыл на сушу, если бы его не поспешила спасти нимфа, которая как раз в то время купалась в бассейне. Опасность, в которой она увидела прекрасного юношу, заставила ее позабыть о том, в каком виде она была сама; и он в самом деле успел бы утонуть, если бы она вздумала одеться. Одним словом, Бирибинкер, едва стал приходить в себя, почувствовал, что его лицо покоится на самой прекрасной груди, какая когда-либо подставляла себя под поцелуи, а открыв глаза, увидел себя на краю большого бассейна в объятиях нимфы в самом естественном наряде, что с первого же взгляда возвратило ему больше жизни, чем даже было надобно.

Сие приключение столь изумило его, что он не мог вымолвить ни слова. Однако нимфа, едва заметив, что он пришел в себя, освободилась от него и бросилась в воду. Но Бирибинкер, вообразив, что она вознамерилась от него убежать, вскочил на ноги со столь плачевным воплем, какого скорее можно было ожидать от девчонки, когда у нее хотят отнять только что подаренную куклу. Прекрасная нимфа была весьма далека от столь жестокого намерения, ибо через несколько мгновений снова выставила из воды лилейнобелую спину. Она подняла голову, но, увидев принца, нырнула снова и плыла под водою, покуда не перебралась на другой край бассейна, где лежало ее платье. Увидев, однако, что принц следует за нею, она высунулась до пояса, вся укрытая длинными золотистыми волосами, которые струились к ее ногам, лишая сладострастные очи созерцания ее прелестей, способных омолодить Титона¹ и привести в отчаяние Тициана.²

— Вы весьма нескромны, принц Бирибинкер, — сказала она, — подступая ко мне в такие минуты, когда надлежит оставаться одной.

— О, простите меня, прекрасная нимфа, — возразил принц, — ежели ваши сомнения показались мне несколько неуместными. После той услуги, которую вы мне столь великодушно оказали, я думал, что...

— Подумать только, — вскричала нимфа, — сколько дерзости у этих мужчин! Стоит лишь оказать им малейшую учтивость, как они это уже истолкуют по-своему; претятое проявление великодушия и сострадания в их глазах уже представляется ободрением, которое дает им право на вольности в обращении с нами. Как? Потому только, что я по доброте своей спасла вам жизнь, вы, быть может, уже возомнили, что я...

— Вы весьма жестоки, — перебил ее принц, — ежели приписываете неучливой дерзости то, что является неизбежным действием очарования,

порождаемого вашими прелестями. Когда вы вознамерились снова отнять у меня жизнь, которую вы мне спасли (ибо кто может стерпеть, ежели он вас увидит и будет принужден лишиться столь восхитительного зрелища), так умертвите меня по крайности великодушным образом; сделайте меня памятником вашей всепобеждающей красоты и обратите меня здесь, взвращающего на вас, в мраморную статую!

— Вы, как я слышу, — возразила нимфа, — весьма начитаны в поэзии. Но откуда позаимствовали вы этот намек? Разве не жила на свете некая Медуса;³ вы, нет сомнения, читывали Овидия⁴ и, надо признать, делаете честь своему школьному учителю!

— Жестокая! — вскричал с нетерпением Бирибинкер, — что за прихоть смешивать язык моего сердца, который не находит довольно силы для изъяснения чувств, с фигурами схоластического остроумия?

— Вы попусту расточаете время, если хотите завести со мной диспут, — перебила его нимфа, — разве вы не видите, сколько у меня преимуществ над вами в той стихии, в которой я нахожусь? Но, прошу вас, отойдите за миртовый куст и позвольте, если вы хотите оказать мне услугу, одеться.

— Но разве не было бы великодушнее с вашей стороны дозволить мне помочь вам?

— Вы так думаете? — ответила нимфа. — Благодарю вас за готовность услужить, однако ж я не хотела бы утруждать вас, и вы сами видите, что у меня довольно прислужниц, которым это куда привычнее.

С такими словами она затрубила в крошечный аммонов рог,⁵ висевший у нее на шее на пронизи из чистейших жемчужин, и в тот же миг бассейн наполнился юными нимфами, которые, плескаясь, выплывали из глубины, собираясь вокруг своей повелительницы. Бирибинкер теперь еще меньше был склонен удалиться, нежели прежде, но нимфы, едва завидев его, стали брызгать ему в лицо целые пригоршни воды, и он со страху, что может стать новым Актеоном,⁶ так проворно побежал от них, будто у него уже выросли оленьи ноги. Он поминутно щупал лоб, но, не приметив на нем ни рогов, ни пробивающихся шишек, снова прокрался назад, чтобы, укрывшись за миртовой изгородью, поглядеть, как одевают его прекрасную нимфу. Однако он воротился слишком поздно: нимфы снова исчезли, и когда он хотел выйти из укрытия, то едва ли не столкнулся лбом со своей спасительницей, которая собралась его разыскивать. Он необычайно удивился, увидев ее.

— Как? Сударыня! — воскликнул он, — по-вашему это называется быть одетой?

— Отчего же не так? — возразила нимфа. — Разве вы не видите, что я семь раз завернулась в полотняное покрывало?

Признаюсь, — сказал принц, — ежели это полотно, то я хотел бы его увидеть выпряленным и сотканым, ибо тончайшая паутина в сравнении с ним будет простой парусиной. Я бы поклялся, что тут один воздух!

— Это наитончайшая ткань, выделанная из воды, — пояснила она, — из особого рода сухой воды, которую прядут морские полипы, а ткнут наши девы. Это обыкновенное платье, которое мы, ундины,⁷ повседневно носим. Какое, вы думаете, нам еще надобно платье, когда мы не нуждаемся в защите ни от жары, ни от стужи?

— Упаси бог, — сказал Бирибинкер, — чтобы я пожелал увидеть вас в другом платье. Но, по-моему, не во гнев вам будь сказано, вам не надобно было чинить такие околичности, когда вы выходили из бассейна.

— Послушайте, государь мой, — сказала ундица, насмешливо наморщив нос, что было ей весьма к лицу, — ежели я смею подать вам совет, то лучше бы вам отвыкнуть от нравоучений, ибо в них-то вы как раз меньше всего смыслите. Ужели вы не знаете, что только обычай решает, в чем состоит благопристойность? Сразу видно, что вы познали свет в пчелином улье, и поступите благоразумно, ежели последуете совету Авиценны не судить о том, что видишь в первый раз. Но поговорим лучше о чем-либо ином! Вы еще не обедали, не правда ли? И как ни влюблены вы (за малыми отступлениями) в прекрасную молошницу, я все же хорошо знаю, что вы не привыкли питаться одними вздохами.

С такими словами она вновь протрубила в крошечный аммонов рог, и в тот же миг из бассейна поднялись три ундины. Первая поставила янтарный столик, поддерживаемый тремя грациями, выточенными из цельного аметиста. Другая расстелила циновку, сплетенную из тончайшего расщепленного тростника, а третья принесла на голове корзину, откуда вынула и поставила на стол несколько прикрытых раковин.

— Мне сказали, что вы не кушаете ничего, кроме меду, — обратилась ундица к Бирибинкеру. — Отведайте это блюдо, оно, право, не из худших, хотя и приготовлено из одних только морских растений.

Принц испробовал и нашел его столь превосходным, что едва не проглотил и раковину. Когда они откушали, то появились две другие русалки с маленьким десертным столиком из сапфира, уставленным множеством чаш с напитками. Они были выточены из самородной воды, тверды как алмаз, прозрачны как хрусталь и по виду казались наполнены чистой колодезною водою. Но когда Бирибинкер пригубил, то нашел, что отборные персидские вина перед ними простая вода.

— Признайтесь, — сказала ундица, — что здесь вам не хуже, чем у феи Кристаллины, с которой вы накануне провели ночь.

— Вы чересчур скромны, прекрасная ундица, — отвечал принц, — что сравниваете себя с феей, которая уступает вам по всем статьям.

— Вот еще одно неудачное умозаключение! — возразила ундица. — И сказала я это вовсе не по скромности, а чтобы послушать, что вы мне на это ответите.

— Но, прошу вас, — богиня моя! — воскликнул принц, — как могло стать, что вы получили обо мне столь верные известия? Едва вы меня увидели, как тотчас назвали по имени.

— Отсюда вы можете заключить, что я столь же осведомлена, как и фея Кристаллина.

— Вы знаете, что я воспитан в пчелином улье?

— Да ведь от вас за двадцать шагов разит медом.

— Что я влюблен в молошницу? .. —

— О, и при том так, как никто еще никогда не любил, и вы еще сильнее влюбились, когда она превратилась в некую пастушку, и кто знает, сколь далеко бы вы преуспели в своем счастье, когда бы не случился тут великан Каракульямборис! Но отложите о сем попечение! Вы непременно ее снова увидите и будете столь счастливы, сколько только возможно, обладая молошницею...

— О! — вскричал Бирибинкер (на которого напитки нимфы стали производить сильнейшее действие), — можно ли, увидев вас, пожелать видеть или обладать чем-либо иным, божественная ундина? Я не помню, чтобы у меня раньше были глаза, и тот миг, когда я вас впервые узрел, положил начало моему бытию! Я не знаю и не желаю себе большего блаженства, как сгореть у ваших ног от огня, запылавшего в моей груди от вашего первого взора!

— Принц Бирибинкер! — ответила ундина, — у вас был дурной наставник в риторике. А я-то думала, что фея Кристаллина отвела вас от смехотворного мнения, будто нам можно нести любую околесицу, чтобы доказать всю силу своей страсти. Бьюсь о любой заклад, что это неправда, будто вы желаете сгореть у моих ног; уж поверьте, что я лучше знаю, чего вы домогаетесь. И вы скорее бы в том успели, когда бы говорили со мною более естественно. Высокопарные речи, к каким вы себя приучили, быть может, хороши, чтобы растрогать молошницу, но позвольте вам раз навсегда заметить, что с нами не следует обращаться, пользуясь одной и тою же методою. Благоволение женщины, которая подобно мне долго изучала Аверроэса,⁸ нельзя снискать поэтическими красотоми. Нужно научиться нас убеждать, когда хотят нас растрогать; и одна только сила истины может побудить нас сдаться.

Бирибинкер уже привык к тому, что дамы, в чьи руки он попадал, руководят им, так что нисколько не оробел от сделанного ему выговора, который, напротив, подсказал ему средство, каким можно достичь полного благополучия у последовательницы Аверроэса; и он впрямь почувствовал, что ему будет стоить меньших трудов покорить ее силой истины, нежели хитроумными и напыщенными изъяснениями в любви. Прелести ундины, согласно достоверному свидетельству графа Габалиса, превосходили все достойное вождения, чем только обладали прекраснейшие среди дочерей человеческих. Словом, Бирибинкер с минуты на минуту становился все естественнее и все убедительнее, как только она могла того пожелать; и так как она вдобавок строго наблюдала за тем, что называется градациями, то и сумела так расположить время, что ночь наступила как раз в ту пору, когда принц Бирибинкер довел свою убедительность до такой

степени ясности, которая уже не оставляла никаких сомнений. История не сообщает, что произошло между ними, кроме того, что поутру Бирибинкер к величайшему своему изумлению узрел себя на той же самой софе, в том же самом кабинете, в том же самом дворце и в том же самом состоянии, в каком находился предыдущим утром.

Прекрасная ундина, которая неведомо какими путями очутилась неподалеку от него, едва заметила, что он пробудился, сказала ему с тою же приятностию, которая его за несколько часов перед тем восхищала, а теперь оставляла равнодушным:

— Судьба, любезный Бирибинкер, назначила вас оказывать внимание несчастным феям. И так как мне выпало удовольствие быть одной из них, то я поведаю вам, кто я такая и чем вам обязана. Итак, вы знаете, что я принадлежу к тем феям, коих зовут ундинами, ибо они обитают в стихии воды, из тончайших атомов которой и составлено их существо. Меня нарекли Мирабеллою, и, будучи на положении феи такого ранга, который был мне дан среди ундин самым рождением, я могла бы быть счастлива, ежели что-либо могло защитить нас от влияния враждебных созвездий. Констеляция светил обрекла меня стать возлюбленной старого волшебника, чьи глубокие познания дали ему неограниченную власть над стихийными духами. Однако при всем том, он был несноснейшим человеком на свете, и если бы не дружба одного саламандра, который был любимцем Падманабы, то...

— Как? — вскричал принц, — Падманаба, сказали вы? Волшебник с белоснежной бородою в локоть длины, который бедную, одолеваемую скукой деву превратил в ночной горшок, а потешного гнома в трутня?

— Он самый, — подтвердила Мирабелла, — и вдобавок еще присвоил себе надо мною право, не располагая ни малейшей способностью к тем обязанностям, которые с этим правом непременно связаны. Одна из моих предшественниц, которую он застал в объятиях мерзкого гнома, сделала его столь подозрительным, что он набрал в услужение одних саламандров, чья огненная природа, по его мнению, была более способна вселять ужас, нежели любовь. Вы, нет сомнения, помните у Овидия пример прекрасной Семелы,⁹ которая в объятиях саламандра превратилась в пепел.¹⁰ Однако добрый старик при всей своей осторожности забыл, что водяная природа ундин совершенно предохраняет их от подобной опасности, умеряя приглушенный огонь саламандров до нежной теплоты, которая немало благоприятствует любви. Падманаба настолько положился на своего любимца, что предоставил нам полную волю, какую мы только могли пожелать. Быть может, принц Бирибинкер, вы воображаете, что мы пользовались этой свободой по образу плотских любовников, но вы заблуждаетесь. Флокс, как звали моего друга саламандра, был одновременно и нежнейшим и одухотвореннейшим любовником на свете. Он скоро заметил, что мое сердце можно покорить только разумом и простирает свою учтивость к моей деликатной натуре столь далеко, что казалось ни разу не заметил,

что (как вы видите) я обладаю довольно нежной кожей, вовсе не столь уж несоблазнительным станом и двумя ножками, которыми, в случае нужды, могу столь же умело объясниться, как иные глазами. Одним словом, он обходился со мною, как если бы я была сущим духом. Вместо того, чтобы подобно другим любовникам забавляться со мною, он толковал со мною таинственные сочинения Аверроэса. Целые ночи напролет мы рассуждали о наших чувствах и, хотя они по сути оставались теми же самыми, мы умели придавать им столько различных вариаций, что, казалось, всегда находили, что можно сказать о них нового, хотя на самом деле твердили одно и то же. Вы видите, любезный принц, ничто не могло быть невиннее нашей дружбы или, ежели вам угодно, нашей любви. И все же ни чистота наших намерений, ни предосторожность нашей юной гномиды (которая находилась у меня в услужении и впрямь была глупой маленькой обра́зиной) не могли уберечь нас от злокозненных наблюдений многих глаз, устремленных на нас с завистью. Саламандры, оскорбленные предпочтением, какое я оказала моему другу, осмелились распуścić нелепые толки о наших отношениях, основывавшихся (по их уверениям) на известной близости, которую они хотели усмотреть между нами. Один заметил, что я чрезвычайно весела и в моих очах сверкает некий давно угасший огонь. Другой не мог взять в толк, что моя приверженность к философии столь велика, чтобы получать ее наставления даже у себя в спальне. Третий пожелал заметить некоторую симпатию наших локтей и колен, а четвертый открыть уж не знаю какой тайный уговор наших ног. Вот, любезный принц, ежели когда-нибудь по рассеянности, которой нередко поддаются метафизические души, частенько и происходило что-либо подобное, то только злоба и материалистический образ мыслей наших недругов могли истолковать таковые безделицы к ущербу нашей добродетели, которая всякий час благодаря строжайшим принципам и жестокой нравственной критике сохраняла неоспоримую безупречность.

Меж тем ропот недоброжелателей стал столь громким, что достиг слуха старого Падманабы, который был весьма склонен внимать подобным наветам. Его гнев был тем сильнее, чем выше у него было мнение о моей добродетели или по крайней мере о холодности моей крови. Составился заговор, чтобы застичь нас врасплох, что и удалось нашим недругам, заставшим нас в состоянии помянутой рассеянности, которая, по несчастью, зашла столь далеко, что подала повод, как казалось врагам, оправдать самые злейшие их подозрения. Громовой голос ужасного Падманабы пробудил нас из экстатического забвения духа, коему был подвержен даже мудрый Сократ.¹¹

Представьте себе, как было мне приятно увидеть себя под столькими взорами. Однако меня не оставило присутствие духа, и я попросила своего престарелого супруга не осуждать меня прежде, чем он не выслушает моего оправдания, и была намерена на основании седьмой главы «Мета-

физики» Аверроэса доказать ему, сколь обманчивы свидетельства наших чувств, как он меня перебил:

— Я слишком любил тебя, неблагодарная, чтобы отомстить тебе, как того требует оскорбленная честь. Твое наказание должно быть ничем иным, как испытанием добродетели, на которую у тебя еще достанет дерзости предъявлять притязания. Я осуждаю тебя, — при этом он коснулся меня волшебным жезлом, — препровождать дни свои в пределах сего сада, расположенного вокруг замка. Сохраняй свой облик и права, приличествующие твоему сану, но превращайся в прегнуснейшего крокодила столь же часто, сколько раз впадешь с кем-либо, кто бы он ни был, в рассеянность, в какой я тебя здесь застал. О, сколь я сожалею, что не в моей власти сделать сие превращение нерасторжимым! Однако Грядущее, как я опасуюсь, произведет на свет принца, когда сочетание светил воспротивится моему могуществу. Все, что я могу сделать, это связать освобождение от чар столь диковинным именем, которое, быть может, не одно тысячелетие не произносилось ни на одном языке.

Едва Падманаба вымолвил эти таинственные слова, как незримая сила перенесла меня в тот самый бассейн, где вы впервые меня увидели. В скорости я узнала, что старик с досады на мнимую неверность оставил замок, так что никто не знает, что случилось с ним или любезным моим саламандром. Я была безутешна, скорбя об этой утрате, и целыми днями являла моим нимфам искаженное скорбью лицо, отчего одних бросало в дрожь, а другие со страху сникали на месте. Но, как известно, даже самая жестокая печаль не может длиться вечно, а моя продолжалась лишь до тех пор, покуда я не вспомнила, что Падманаба оставил мне средство спасти честь моей добродетели. Что тут сказать, принц Бирибинкер! Более чем пятьдесят тысяч принцев и рыцарей в течение не одного столетия напрасно тшились предпринять то, в чем только вы один преуспели.

Какие сетования, какие проклятия оглашали этот лес, когда несчастные вместо восхитительной феи внезапно оказывались в лапах мерзкого крокодила. Отвращение, унижительное воспоминание побуждает меня умолкнуть! Правда, гнусному превращению тотчас наступал конец, но всякая попытка расколдовать меня неизменно приводила к тому же последствию. Этот бассейн, когда-то был не столь велик, но так раздался в ширь и глубь от пролитых слез, что стал, как видите, подобен небольшому озеру; и многие из тех, что в отчаянии бросались в него, неминуемо тонули бы, ежели бы мои нимфы их не вылавливали и не примиряли с жизнью. Вы, Бирибинкер, единственный счастливец, кто оказался достаточно могуществен, чтобы разрушить чары, которые ввергли меня в печальную необходимость заполучить столько тысяч свидетелей моего несчастья.

— В печальную необходимость, сказали вы, — перебил ее принц, — но простите меня, ежели признаюсь, что как раз в этом пункте я никак не могу всего уразуметь. Для чего вам были надобны все эти свидетели?

Сдается мне, что честь вашей добродетели, как вы это называете, была бы наилучшим образом оправдана, ежели бы вы никогда не имели случая обратиться в крокодила.

— Такие умозаключения делаете вы и вам подобные, — ответила Мирабелла догматическим тоном, который поверг в изумление принца. — Скажите раз навсегда, какую честь может доставить вынужденная добродетель? Какая женщина неспособна совладать со своими вожделениями, когда у нее нет возможности их удовлетворить, да еще у нее перед глазами постыдное наказание? Но пожертвовать любви к добродетели страхом позора, в известном смысле даже самой добродетелью, вот высшая степень нравственного героизма, на которую способны благороднейшие души.

— Растолкуйте пояснее, — взмолился принц, — я ведь не вовсе глуп, однако готов дать себя повесить, ежели понимаю хоть одно слово из всего, что вы тут насажали.

— Наша добродетель, — пояснила ундина, — тогда только становится заслуженною, когда в нашей воле соблюсти ее или нарушить. Лукреция никогда бы не была возведена в пример целомудрия, ежели бы она поставила младого Тарквиния в невозможность покуситься на ее честь. Заурядная добродетель заперла бы свою спальню; возвышенная Лукреция¹² оставила ее открытой. Она сделала еще больше; она даже сдалась, чтобы обрести возможность, свершив жертву, в которой нуждалась оскорбленная добродетель, показать свету, что малейшее пятно, способное набросить тень на ее сияние, может быть искуплено только кровью. Из сего примера, любезный принц, вы видите, сколь далеко воспаряет трансцендентальный образ мыслей, присущий великим душам, над пошлыми понятиями черни, кичащейся своей моралью. Чтобы разрушить только одно заклатье, которое лишало мою добродетель ее ценнейшего достоинства — свободы воли и наслаждения преодоленным препятствием, я была принуждена тысячу раз подавать повод к ее оскорблению, покуда не обрела того, кто освободил меня от этого наказания, одна мысль о котором была нестерпима для моего благородного образа мыслей. Теперь, надеюсь, вы меня уразумели?

— Бесподобно! — воскликнул Бирибинкер. — Вы разъясните все темнее! Но должен признать, что вы, — не примите сего во гнев! — наидиковиннейшая жеманница, какую когда-либо видел свет!

— Что вы говорите? — возразила с большою живостью прекрасная ундина. — Как? Жеманница? Я! Жеманница — сказали вы? Постине вы знаете меня слишком плохо, или вы за всю жизнь еще не повстречали ни одной жеманницы. Что нашли вы притворного или искусственного во мне, в моих манерах, в моей одежде, в моих речах? Что нашли вы в них принужденного? Словом, вы домогаетесь того, что я представила вам неоспоримое доказательство того, что я не жеманница?

Бирибинкер был так испуган столь неожиданным предложением, что отступил на три шага.

— Сударыня, — возразил он, — я верю всему, что только вы хотите. Я не нуждаюсь в доказательствах, и я не вижу, каким образом ваша добродетель...

— Моя добродетель! — вскричала фея. — Моя добродетель и требует от меня доказать вам, что я не жеманница...

— Ежели вы не жеманница, — ответил Бирибинкер, — то клянусь вам, что я не саламандр, и что наши натуры...

— Фи! — возмутилась фея, — как вам не стыдно говорить такие непристойности перед женщинами? Что такое вы вообразили? Кто требует что-либо от вашей натуры? Или какое дело мне до вашей натуры? Скажите лучше, что вы человек, лишенный всякой деликатности, который не щадит ни уши, ни ланиты дам! Разве вам неведомо, что считается преступлением вогнать в краску женщину? Наша добродетель...

— Сударыня, — перебил ее Бирибинкер, — прошу вас, не произносите при мне больше это слово! Если бы вы только знали, как уродует оно ваши прекрасные уста! И позвольте мне сказать вам со всею деликатностью, на какую я только способен, что я вполне доволен тем, что был в состоянии довести до конца предприятие, в коем пятьдесят тысяч героев преждевременно потерпели неудачу. А все прочее, что тут можно свершить, оставая саламандрам, сальфам, гномам, фавнам и тритонам, коим отныне открыто свободное поле для действий, утверждающих добродетель, подобную вашей... Все, о чем я прошу, это ваше покровительство и соизволение отпустить меня.

— Что касается того, чтобы вас отпустить, — ответила Мирабелла, — то вы можете сами себе это позволить, ибо знаете, что я вас не звала. Но ежели вы домогаетесь моего покровительства, то не могу от вас утаить, что ваше счастье зависит от собственного вашего поведения. Ежели вы будете продолжать в том же духе, то лишитесь покровительства всех фей на свете. Видано ли когда-либо, чтобы повелись такие любовники, как вы? День-деньской вы скитаетесь по свету и ищете свою возлюбленную, а каждую ночь проводите в объятиях другой! По утру к вам возвращается ваша Любовь, а к вечеру ваша Неверность. К чему в конце концов приведет такое поведение? Ваша пастушка должна обладать чрезвычайной терпеливостью, ежели склонна снисходительно сносить сей новый род любви.

— По правде? — вскричал принц. — Вам куда как пристало делать мне подобные укоризны! Уж не хочу говорить... Но поверьте, ваши нравуочения становятся мне в тягость, сколько бы вы не были в них искусны. Скажите мне лучше, как бы мне освободить возлюбленную Галактину из-под власти проклятого Великана, который вчера ее похитил?

— Не беспокойтесь о великане, — сказала фея. — Соперник, который ковыряет в зубах огородной жердью, не столь страшен, как вы вообразили. И я знаю некоего гнома, который, как сам он ни мал, может больше причинить вам ущерб, чем Каракулиамборикс, хотя он и на несколько сот

локтей выше его. Словом, не сокрушайтесь ни о чем, когда вам снова придется утешать вашу пастушку, а прочее придет само собой. А ежели вы попадете в обстоятельство, когда вам понадобится моя помощь, разбейте это павлиное яйцо, которое я вам вручаю; даю слово, оно окажет вам не меньшую услугу, чем стручок феи Кристаллины.

Едва Мирабелла вымолвила последние слова, как исчезла вместе с кабинетом и дворцом; и принц Бирибинкер очутился, не ведая каким уже образом, на том самом месте, где находился с пастушкой, когда на них напал великан Каракулиамборикс. Нельзя было прийти в большее изумление, даже после всех диковин, каких принц навидался с того дня, как убежал из большого улья. Он протирал глаза, щипал себе руки, дергал себя за нос и охотно бы спросил, впрямь ли он принц Бирибинкер или кто другой, ежели бы мог там кого-либо спросить. Чем больше он размышлял, тем вероподобней казалось ему, что все это только сон; и он уже было утвердился в таком мнении, когда из кустарников вышла Охотница, которая по виду и стати, казалось, была по меньшей мере Дианою. Ее зеленая туника, усыпанная золототканными пчелками, доходила до колен и была под грудью стянута алмазным поясом; прекрасные волосы завязаны в пучок жемчужной нитью, а оставшиеся свободными развевались мелкими локонами на белоснежных плечах. В руках у нее было охотничье копые, а за спиною висел золотой колчан.

— На сей раз, — подумал Бирибинкер, — я твердо знаю, что не грежу, — и пока он размышлял, охотница подошла к нему так близко, что он узнал в ней возлюбленную свою Галактину. Еще никогда не казалась она ему столь прекрасной, как в сем одеянии, которое придавало ей облик богини. В тот же миг разом погасли в его памяти Кристаллина и Мирабелла, которые еще совсем недавно его так очаровали, и он, упав к ногам возлюбленной, стал уверять ее, как он рад, что обрел ее вновь, и притом в самых живых выражениях, в каких не мог бы лучше изъясниться и самый верный среди всех любовников.

Однако прекрасная Галактина знала о его приключениях больше, чем он воображал.

— Как? — воскликнула она, отвернувшись с миной неудовольствия, отчего ее милое лицо приобрело новую прелесть, — и ты еще осмеливаешься предстать перед моими очами после многократных оскорблений, нанесенных благосклонности, которую я тебе однажды показала?

— Божественная Галактина, — отвечал Бирибинкер, продолжая стоять на коленях, — не гневайтесь на меня! Не отвращайте от меня своего лица, ежели не хотите, чтобы я на сем месте упал бездыханным к вашим стопам!

— Оставь этот вздор, который ты привык расточать перед каждой, кто тебе попадается на пути, — вскричала охотница. — Ты никогда не любил меня, ветренник! Кто любит всех, не любит никого!

— Никогда, — вскричал Бирибинкер со слезами на глазах, — никогда не любил я ни одну другую, кроме вас! И это столь справедливо, что я могу поклясться, что все, случившееся со мною в некоем замке, было нечто иное, как сон! По крайней мере, уверяю вас, рассеянность, которую вы столь худо истолковали, была простой игрой чувств, а мое сердце не принимало в этом ни малейшего участия.

— Какие тонкие дефиниции! — возразила охотница. — Рассеянностью назвали вы это? Скажу вам, что мне не надобен возлюбленный, который предается подобным рассеяностям. Я никогда не изучала философию Аверроэса, и я настолько материальна в своем естестве, что не могу постичь, как это сердце моего возлюбленного может оставаться неповинным, если мне не верны его чувства.

— Простите мне последний раз, — взмолился, рыдая, Бирибинкер.

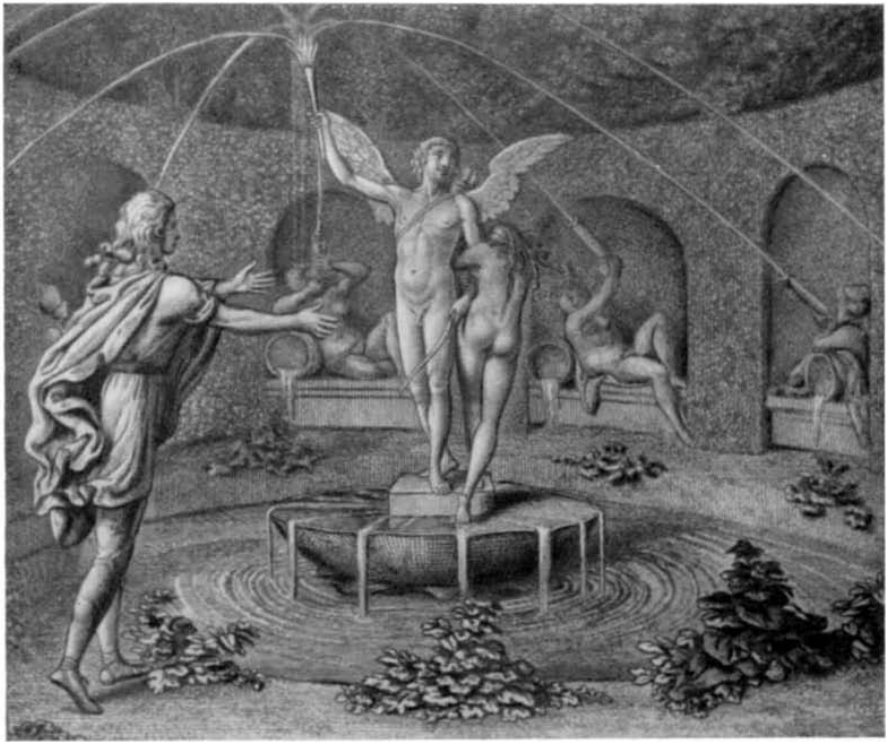
— Вас простить? — перебила его прекрасная Галактина, — а чего ради должна я вас прощать? Посмотрите на меня, разве в моем лице вы найдете что-либо, что принудило бы меня даровать вам прощение? Или вы возомнили, будто я, чтобы заполучить любовника (если я захочу его иметь), должна быть столь терпеливою, какою вы бы меня пожелали видеть? Поверьте, что только от меня одной зависит избрать среди десятков других того, кто способен достойно оценить сердце, коим вы столь дерзко пренебрегли.

Эти слова, хотя они и сопровождались взором, который по крайней мере наполовину смягчал их строгость, повергли бедного Бирибинкера в полнейшее отчаяние.

— О, что я слышу! — воскликнул он, — жестокая! Вы желаете моей смерти! Разве вас не могут умягчить мои слезы? Нет, клянусь всеми богами! Прежде чем я допущу, чтобы кто-либо другой, кроме Бирибинкера...

— О, ненавистнейшее среди всех чудовищ, — вскричала разъяренная Галактина, — не понуждай меня еще раз услышать это гнусное имя, которое уже дважды пронзало мое сердце! Удались навеки от очей моих или ожидай самого наихудшего от неугасимой ненависти, в коей поклялась я к тебе и твоему невыносимому имени!

Бирибинкер задрожал всеми фибрами, узрев снова свою красавицу, впавшую в столь неистовую ярость. В безмерной скорби проклинал он имя Бирибинкера и тех, кто его им наградил; и, как знать (ибо я не могу за то поручиться), может быть, стал бы биться головою о ближайший дуб, когда бы не увидел в тот миг шестерых дикарей, которые стремительно выскочили из лесу и на его глазах схватили прекрасную охотницу. Эти дикари были выше человеческого роста, вокруг головы и чресел обвязаны дубовыми ветками, а с левого плеча свисали стальные булавы; и они показались Бирибинкеру столь страшными, что, невзирая на прирожденную храбрость, он потерял всякое присутствие духа и не отважился спасти возлюбленную из их рук. В столь страшной беде вспом-





нил он о павлиньем яйце, которое дала ему Мирабелла, разбил его трепещущими руками и, как легко себе представить, изумился больше чем когда-либо, увидев, что из него вылезло множество крошечных нимф, тритонов и дельфинов, которые во мгновение ока приняли натуральную величину, извергнув из своих кувшинов и ноздрей столько воды, что за несколько минут вокруг него образовалось целое море, заполнившее все пространство до самого горизонта. Он сам очутился на спине дельфина, который плыл с ним столь бережно, что принц не ощущал никакого движения, а нимфы и тритоны, плескаясь возле него, извлекали из рожков чудесную музыку и забавляли его своенравными играми. Но Бирибинкер смотрел лишь туда, где принужден был оставить в добычу дикарям возлюбленную свою Галактину. И так как он, куда бы не бросал острый взор, не видел ничего, кроме окружавших его вод, то столь огорчился, что порывался броситься в море. Он, нет сомнения, так бы и поступил, ежели бы не опасался, что попадет в объятия одной из нимф, которая плыла неподалеку от него, восседая на дельфине, что могло (как он мудро рассудил) ввергнуть его в искушение и тем подвергнуть опасности верность, в коей он поклялся своей красавице. На сей раз он простер предосторожность столь далеко, что завязал себе глаза шелковым носовым платком, ибо опасался, что будет слишком пленен прелестями, которые открывались его очам в бесчисленных соблазнительных движениях.

Итак плыл он без малейших неприятных происшествий уже несколько часов, покуда, наконец, отважился приоткрыть платок, чтобы посмотреть, где он находится. К своему великому успокоению он нашел, что нимфы исчезли; меж тем он завидел вдали нечто, выступавшее из волн наподобие склона большой горы, и заметил, что море пришло в немалое волнение, а вскоре поднялась ужасающая буря с таким сильным ливнем, что не иначе, как если бы весь океан низвергся с неба.

Возбудителем сей непогоды был некий кит, однако такой, какого не всегда встретишь, и даже те, которых промысляют у берегов Гренландии, по сравнению с ним были не крупнее тех мелких тварей, каких наблюдают через увеличительное стекло в капле воды, где они копошатся во множестве. При каждом вдохе, случавшемся обыкновенно раз в несколько часов, вокруг сего кита подымался небольшой вихрь, и потоки воды, которые он низвергал из ноздрей, вызывали проливной дождь и грозовые тучи на пятьдесят миль в окружности.

Волнение на море было столь сильно, что Бирибинкер не мог долее удержаться на дельфине и был принужден отдаться на волю волн, которые его бросали всюду, как мяч, покуда, наконец, его не подхватил вихрь, произведенный дыханием кита, и не втянул через одну из ноздрей вовнутрь. Он падал несколько минут, однако в столь глубоком обмороке, что не заметил, как все это произошло, покуда, наконец, не увидел, что находится посреди великих вод, коими было наполнено чрево сего чудовища. Это было небольшое озерко, примерно в пять или шесть немецких

миль в окружности, и, вероятно, Бирибинкер нашел бы тут конец всем своим приключениям, ежели бы, по счастью, не приметил там остров или полуостров, до которого оставалось переплыть не более двухсот шагов, чтобы выбраться на сушу.

Нужда, изобретательница всех искусств, на сей раз научила его плавать, хотя это случилось первый раз в его жизни. Он благополучно выбрался на берег и, присев на выступ скалы, которая хотя, как и все прочие скалы, была каменной, однако же столь мягка, как подушка, и в то время как его платье сушилось на солнце, наслаждался, вдыхая приятнейшие ароматы, которые доносил до него прохладный ветерок из рощи коричневых деревьев. Но так как он был обуреваем желанием осмотреть эту страну и узнать, обитаема ли она и кем населена, то, прохладившись немного, сошел со скалы и углубился в лес на полчаса пути, покуда не вышел к большому увеселительному саду, где в приятнейшем беспорядке произрастали всевозможные деревья, кустарники, растения, цветы и травы, собранные со всего света. Искусство в расположении этого сада было скрыто с таким умением, что все казалось простою игрою природы.

Здесь и там видел он нимф ослепительной красоты, возлежавших среди кустарников или в гротах; из урн, которые они держали в руках, изливались небольшие ручьи, разбегавшиеся по саду и то бившие фонтанами из различных фигур, то низвергавшиеся каскадами или собиравшиеся в мраморных чашах. Эти источники кишели всякого рода рыбами, которые против обыкновения, свойственного тварям их вида, пели столь приятно, что Бирибинкер был совершенно очарован. Особенно его подивил некий карп, обладавший самым что ни на есть лучшим дискантом и задававший трели, которые бы сделали честь любому кастрату.¹³ Принц с превеликим удовольствием послушал его некоторое время, но так как все эти диковины еще сильнее распалили его желание узнать, кому же принадлежит этот очарованный остров и в самом ли деле он попал, как ему мнилось, в Подземный мир, принялся задавать упомянутой рыбине вопросы, ибо полагал, что ежели она так приятно поет, то может и речь вести. Однако рыба продолжала петь, не отвечая ему или не обращая внимания на его слова.

Наконец, он перестал ее расспрашивать и пошел дальше, покуда не забрел в превеликий огород, где в беспорядочном изобилии и, по-видимому, без всякого присмотра произрастали отменные овощи всякого рода, салаты, коренья, стручки и выходящие растения. Продираясь через эти заросли, Бирибинкер запнулся правой ногой за большой баклажан,¹⁴ напоминавший брюхо китайского мандарина, сперва не примеченный за широкими листьями.

— Господин Бирибинкер, — окликнул его баклажан, — пожалуйста, впредь смотрите получше под ноги, прежде чем наступите на пупок честному Саклажану.

— Прошу прощения, господин Баклажан, — сказал Бирибинкер, — право, я сие учинил непреднамеренно и, конечно, лучше бы огляделся, ежели бы мог предположить, что баклажаны на сем острове столь важные персоны, как теперь вижу. Меж тем весьма рад, что случай доставил мне удовольствие свести с вами знакомство, ибо, надеюсь, вы не откажете мне в одолжении и объясните, где я нахожусь и что надлежит думать обо всем, что я тут вижу и слышу.

— Принц Бирибинкер, — отвечал баклажан, — ваше присутствие здесь мне слишком приятно, чтобы я не испытал величайшего удовольствия при мысли о том, что, быть может, мне удастся доставить вам некоторые ничтожнейшие услуги, какие только от меня зависят. Вы находитесь во чреве кита, и сей остров. . .

— Во чреве кита! — воскликнул Бирибинкер, перебивая его, — это превосходит все, с чем мне довелось повстречаться! Клянусь вам, господин Баклажан, что я до конца жизни ничему больше не буду удивляться. Поистине! Ежели в брюхе одного кита могут уместиться воздух и вода, острова и увеселительные сады, и, как я еще заметил, солнце, луна и звезды, ежели скалы в нем мягки как пуховики, рыбы поют, а баклажаны разговаривают. . .

— Что касается до сего последнего пункта, — перебил его в свою очередь баклажан, — то, позвольте заметить, что я тут располагаю неким преимуществом перед всеми прочими баклажанами, огурцами и дынями, произрастающими в здешнем огороде. Вы могли бы их всех попирать ногами, и никто из них не подал бы голоса.

— Еще раз прошу прощения, — опять заговорил принц.

— В том нет никакой нужды, — сказал баклажан. — Уверю вас, что для меня было бы весьма прискорбно, ежели бы мы не повстречались; я тут уже давненько дожидаюсь вашего прибытия и под конец время стало тянуться так долго, что я начал отчаиваться, представится ли мне когда-либо столь счастливый случай. Поверьте, тому, кто не рожден баклажаном, весьма досадно пребывать сто лет в таком положении, особливо же, если он любит хорошее обхождение и привык к обществу. Однако пришло время, когда вы отомстите за меня проклятому Падманабе.

— Вы упомянули Падманабу? — вскричал Бирибинкер. — Не тот ли это волшебник, который превратил в ночной горшок прекрасную Кристаллину, а еще более прекрасную Мирабеллу осудил всякий раз превращаться в крокодила, едва только она захочет испытать свою добродетель?

— Ваш вопрос, — ответил баклажан, — вселяет в меня уверенность, что я не обманулся, признав вас принцем Бирибинкером. Посему заключаю, что чары старого хрыча уже наполовину разрушены, и пробил час моего избавления.

— Так, значит, и вам он досадил? — воскликнул Бирибинкер.

— Не прогневайтесь, — отвечал баклажан, — если такой вопрос рассмешит меня! — И в самом деле он захохотал столь громко, что по причине одышки, нажитой им вместе с брюхом, ему пришлось некоторое время откашливаться и отдуваться, прежде чем он заговорил снова.

— Неужто вы не замечаете, — продолжал он, — что я представляю собой нечто лучшее, нежели мой теперешний облик? Разве Мирабелла не рассказала вам о некоем саламандре, которому при известных обстоятельствах однажды выпало счастье быть застигнутым врасплох старым Падманабою?

— Разумеется, — подтвердил Бирибинкер, — она поведала мне о некоем спиритуальном любовнике, услаждавшем ее душу тайными откровениями философии Аверроэса, дабы она не вполне могла заметить те небольшие эксперименты, которые он тем временем учинял. . .

— Потише! Потише! — вскричал баклажан, — я вижу, что вы больше обо мне знаете, чем надлежало бы. Я тот самый саламандр, тот Флокс, который (как я сказал, и как вы знали наперед) был столь счастлив, что мог возместить Мирабелле холодные ночи, которые она была принуждена проводить со старым волшебником. Помянутая сцена, во время которой он оказался настолько глуп, что созвал множество непрошенных свидетелей, повергла его в род отчаяния, не исцелив, однако, от любовного недуга, коим он был одержим столь смешным образом. Его дворец да и любое другое место, которое он мог бы избрать для пребывания в любой стихии, были ему ненавистны. Он не доверял больше ни смертным, ни бессмертным, ему были равно подозрительны гномы и сильфы, тритоны и саламандры; он нигде ни в чем не был уверен, как только оставаясь в совершенно неприступном одиночестве. После многочисленных проектов, которые он тотчас же отвергал, едва они у него появлялись, возшло ему на ум уединиться во чреве кита, где, как ему мнилось, его никто не станет искать. Он повелел бесчисленному множеству саламандров воздвигнуть там дворец, а чтобы они не могли выдать его тайну, превратил их вместе со мною в баклажаны, с условием пребывать в сем состоянии до тех пор, покуда принц Бирибинкер не возвратит им их прежний облик. Я был единственным из всех, кому он оставил разум и дар речи, причем первый (как он полагал) не принесет мне ни малейшей пользы, а только будет терзать меня воспоминанием об утраченном блаженстве, а второй ни к чему иному не пригоден, как только для того, чтобы испускать тщетные охи и ахи или вести беседы, в коих мне предстоит труд давать самому себе ответы. Но в сем пункте мудрый волшебник малость ошибся в расчетах, ибо хотя фигура и телосложение баклажана и не благоприятствуют наблюдениям, однако же весьма способствуют трансцендентальным размышлениям,¹⁵ и со всем тем за сто лет малопомалу можно построить разные основательные гипотезы, которые и наведут на след чего-либо нового. Словом, в различных делах и обстоятельствах я не остался столь несведущ, как, верно, предполагал господин

Падманаба, и надеюсь преподать вам наставления, которые дадут вам возможность ниспровергнуть всю его предусмотрительность.

— Я был бы вам весьма обязан, — ответил принц. — Но, право, не знаю, что это за странное призвание, которое, как я чувствую, побуждает меня вытворять различные штуки над старым Падманабой. Вероятно, к сему определила меня конstellация светил, ибо мне неизвестно, чтобы он когда-либо чем-нибудь оскорбил меня лично.

— А разве не довольно оскорбительно, — сказал баклажан, — что именно он послужил причиной того, что великий Карамуссал, который живет на вершине Атласа, нарек вас Бирибинкером? Дал имя, которое уже дважды фатальным образом отторгнуло от вас любимую вами мо-лошницу?

— Так, стало быть, старый Падманаба тому виною, что меня назвали Бирибинкером? — спросил принц с немалым изумлением. — Растолкуйте мне малость, какая тут связь между всеми этими делами, ибо, признаюсь, частенько ломал голову, сиясь проникнуть в тайну моего имени, которому, по-видимому, обязан благодарностью за все странные мои приключения. В особенности желал бы я знать, каким это образом всякий, с кем мне доведется повстречаться, даже баклажаны, тотчас же называют меня по имени и вдобавок столь хорошо осведомлены обо всех обстоятельствах, связанных с моей историей, как будто бы они написаны у меня на лбу!

— Мне еще не дозволено удовлетворить ваше любопытство в этом пункте, — ответил баклажан. — Довольно, что только от вас зависит, быть может, уже сегодня вечером привести все в полнейшую ясность. Самое большое затруднение наконец-то преодолено! Падманаба никогда не подумал бы, что вы сыщете его во чреве кита.

— Скажу чистосердечно, — перебил его Бирибинкер, — что я еще меньше подозревал обо всем этом, да и вы должны будете признать, что он по меньшей мере сделал все, что только было возможно, дабы избежать своей участи. Но вы упомянули о дворце, который старый волшебник повелел саламандрам построить на этом острове. Полагаю, мы находимся в саду, принадлежащем дворцу, однако же я его нигде не вижу.

— Причина тому весьма естественна, — ответил баклажан, — вы бы непременно его увидели, ежели бы он не был невидимым.

— Невидимым? — воскликнул Бирибинкер, — но по крайней мере хоть не столь же неосязаемым?

— Разумеется, нет! — ответил Флокс, — но коль скоро он воздвигнут из твердого пламени. . .

— Вы говорите о диковинном дворце, — снова перебил его Бирибинкер, — если он воздвигнут из пламени, то каким образом он может быть невидимым?

— В том-то и заключено все чудо, — ответил баклажан, — возможно это или невозможно, однако это так! Вы не можете увидеть дворца, по крайней мере в том месте, где теперь находитесь; но пройдите шагов

двести, и жар, который вы почувствуете, довольно убедит вас, что я сказал правду.

Всевозможные чудеса, на которые уже посмотрелся Бирибинкер во чреве кита (а что иное еще можно увидеть во чреве кита, как не чудеса?), должны были бы по справедливости склонить его к тому, чтобы принимать на веру все, что ему скажут, однако на сей раз он был столь упрям, что пожелал сам в том удостовериться. Он прямо пошел к невидимому дворцу, но едва сделал сто шагов, как уже почувствовал приметную степень жара вместе с невидимым блеском, слепящим глаза. Жар и блеск все увеличивались, покуда он шел, и наконец стали столь нестерпимыми, что он не мог выдержать. Принц пошел назад, чтобы разыскать своего друга баклажана, который, едва слышав, что он возвращается, крикнул:

— Ну, вот, принц Бирибинкер, будете вы мне впредь верить, ежели я вам что-нибудь скажу? Надеюсь, вы по крайней мере теперь постигли, что нет ничего более естественного, чем построенный из твердого пламени дворец, который нестерпимый жар делает недоступным, а чистейший блеск и сияние невидимым?

— Я и в самом деле понимаю это гораздо лучше, — ответил Бирибинкер, — чем то, каким образом туда войти, ибо, должен признаться, чувствую в себе непреодолимое желание проникнуть во внутрь дворца; даже если бы это стоило самой жизни, я все же мог бы. . .

— Столь дорого вам это не будет стоить, — перебил его баклажан, — ежели вам будет угодно сделать то, что я вам посоветую, дворец станет для вас видимым и вы сможете войти в него с такою же уверенностью, как если бы то была соломенная хижина. Вам нужно употребить для того совсем легкое средство, и оно вам обойдется в один-единственный прыжок!

— Не томите меня загадками, господин Баклажан, — сказал Бирибинкер, — что тут надобно сделать? Легко ли это будет или трудно, я готов отважиться на все, чтобы проникнуть в замок, где мне, если не обманывает предчувствие, предстоит наиприятнейшее из всех моих приключений.

— Шагах в шестидесяти за тем гранатовым деревом, — сказал баклажан, — вы найдете посреди лабиринта из жасминов и роз бассейн, который отличается от всех прочих ничем иным, как только тем, что вместо воды наполнен пламенем. Ступайте туда, принц, выкупайтесь и примерно через четверть часа возвращайтесь и скажите, пришлось ли вам по душе это купанье.

— Только и всего — сказал принц, скорее раздосадованно, чем с насмешкой, — мне кажется, что вы не в своем уме, господин Баклажан! Я должен выкупаться в огненном бассейне, а потом прийти к вам и рассказать, пришлось ли мне по душе такое купанье? Слыхано ли что-либо более нелепое?

— Не гневайтесь только, — возразил баклажан. — В вашей полной воле, пойдете ли вы в невидимый дворец или нет. И когда бы вы не объявили мне с такою решимостию о своем намерении, как это вы только что сделали, то мне, право, не взошло бы на ум вам это посоветовать.

— Баклажан! Друг мой добрый! — возразил Бирибинкер, — я примечаю, вы хотите малость подшутить надо мною, но должен вам объявить, что сейчас у меня нет охоты вникать в шутки. Я не желаю вступить во дворец, разлучив душу с телом.

— В том нет нужды, — сказал баклажан, — купанье в пламени, которое я вам предлагаю, не столь уж опасно, как мы вообразили. Падманаба сам прибегает к нему раз в трие суток, а не то бы и он не мог прожигать во дворце, построеном из твердого пламени, равно, как и вы. Ибо он хотя и величайший волшебник на свете (за исключением великого Карамуссала, того, что пребывает на вершине Атласа), однако ж принадлежит к той же земной природе и того же происхождения, что и вы. И он если бы не пользовался этим бассейном (что составляет самую сокровенную тайну его искусства), то ни разу не был бы способен прийти даже к малейшему благополучию, когда наслаждается, — или уверяет себя, что наслаждается, — с прекрасною саламандрою, которую держит в заточении в своем дворце; если, впрочем, то употребление, которое Титон¹⁶ способен сделать из своей Авроры, заслуживает, чтобы его считали наслаждением.

— Так значит с ним прекрасная саламандра? — спросил Бирибинкер.

— Отчего бы и нет? — ответил баклажан, — или вы полагаете, что во чреве кита уединяются понапрасну и просто так?

— А она очень хороша? — продолжал расспрашивать Бирибинкер.

— Вы, должно быть, никогда не видали саламандр, — сказал баклажан, — ежели задаете такие вопросы? Разве вы не знаете, что самая прекрасная из смертных в сравнении с самой ничтожной из наших красавиц покажется не лучше обезьяны? Правда, я знаю одну ундину, которая, пожалуй, может поспорить с достоинствами самой красивой саламандры, однако среди всех прочих ундин — она одна единственная Мирабелла. . .

— О, что касается до сего пункта, — перебил его Бирибинкер, — и ежели саламандра старого Падманабы не прекраснее Мирабеллы, то вам не надобно было бы столь унижать смертных красавиц. Признаюсь вам, что она восхитительная, но я знаю некую молошницу. . .

— В которую вы так влюблены, — насмешливо перебил его баклажан, — что при первом же взгляде на Мирабеллу поклялись, что и знать не знали никаких молошниц. Действие всего лучше обнаруживает причину, и когда вашу страсть рассмотреть согласно этому правилу. . .

— О! Поистине! — нетерпеливо воскликнул Бирибинкер, — я, полагаю, пришел сюда затем только, чтобы слушать, как философствует баклажан. Скажите лучше, как мне проникнуть в невидимый дворец, а не то

я умру от нетерпеливой досады. Разве нет никакого другого средства, кроме этой проклятой огненной купели, в которой вы с большою охотою превратили бы меня в жаркое?

— Вы поистине, с позволения сказать, престранный человек, — заметил баклажан, — я ведь уже сказал вам, что мне самому до крайности необходимо, чтобы вы вошли в незримый дворец, где, судя по всему, вас ожидает необычайное приключение. Неужели вы полагаете, что я стал баклажаном шутки ради и что не хочу чем скорее, тем лучше, избавиться от этого проклятого несносного брюха, которое менее всего преличествует столь умозрительному духу, как я? Скажу вам еще раз, что если вы не хотите погибнуть от жара, то не располагаете иным средством проникнуть во дворец, кроме огненного купания, которое я вам предлагаю. Прежде чем умереть от нетерпения, как вы сказали, испытайте две-три минуты это средство, а ежели вы от него погибнете (хотя я и ручаюсь, что так не случится), то это будет смерть, как все другие, и в конце концов все едино.

— Ну, ладно, — сказал Бирибинкер, — поглядим, что тут выйдет! Быть может, мне не следовало бы столь полагаться на вас, однако веление судьбы сильнее моего разума. Я пойду, и ежели в течение четверти часа вы ничего обо мне не услышите, то запаситесь терпением, оставаясь баклажаном, покада Падманаба сам собою перестанет влюбляться или ревновать.

С такими словами принц откланялся и пошел к лабиринту, где должен был находиться огненный бассейн. Он нашел круглую чашу, сложенную из больших плоских алмазов и наполненную пламенем, которое, не будучи питаемо никакой видимою материею, полыхало, взвиваясь змеевидными молниями, лизавшими свисавшие над ним розы, не повреждая густых кустов, на которых они росли. Диковинное пламя с приятнейшей переменчивостью переливалось бесчисленным множеством цветов, а вместо дыма незримо разливались кругом благоухающие испарения.

Бирибинкер некоторое время наблюдал сие чудо с нерешительностью, которая мало делает чести герою в повести о феях, и, быть может, все еще стоял бы возле бассейна, если бы некая незримая сила не вторгла его в самую середину пламени. Он так перепугался, что со страху даже не мог закричать, но когда почувствовал, что пламя не опалило на нем ни единого волоса и вместо того, чтобы причинить хотя бы самонаименшую боль, преисполнило все его существо сладострастной теплотою, то скоро ободрился, а через короткое время почувствовал себя так пригодно, что стал плескаться в огненных волнах, словно рыба в проточной воде. Быть может, он провел бы в столь приятном купанье больше времени, чем было назначено, если бы возрастающая жара под конец не выгнала его наружу. Итак, он выскочил из бассейна и немало изумился не только тому, что почувствовал себя легким и бесплотным, как будто летел над землею подобно зефиру, но и тому, что внезапно увидел дво-

рец, блеск и великолепие которого превосходило все, что когда-либо представлялось человеческим очам!

Он долго стоял вне себя от изумления и когда опамятовался, то первая же мысль, которая его посетила, была о красавице, заточенной в этом прекрасном дворце; ибо ежели алмазы и рубины казались ему простыми булыжниками по сравнению с теми материалами, из коих был сооружен замок, то он не сомневался, что прекрасная саламандра должна по меньшей мере так же относиться ко всем красавицам, которых он знал раньше, как этот дворец к обыкновенным чертогам фей, построенным, как думалось, с достоюльным великолепием, если стены их были сложены из алмазов или смарагдов, кровля покрыта рубинами, а полы выложены жемчугом и всем прочим тому подобным, что все в сравнении с огненным дворцом казалось не богаче, чем самая жалкая хижина.

В сих мыслях он неприметно приблизился к дворцу и уже прошел в первый двор, сверкающие ворота которого сами собою растворились, но тут ему вошло на ум, что баклажан строго-настрого ему наказывал воротиться к нему после купанья в огненном бассейне.

— Стало быть, — подумал он, — баклажан был намерен сообщить мне нечто, без чего опасно отважиться на посещение подобного замка, и так как доселе все его наставления шли мне на пользу, то было бы неблагоприятно и неблагодарно вообразить, что теперь в них больше нет нужды. Мало ли какие бывают чудеса! Кто бы подумал, что баклажан станет советником у принца!

Бирибинкер не без опасения, что будет замечен, прокрался назад к баклажану.

— Ого! — закричал ему навстречу баклажан, когда принц приблизился шагов на двадцать, — вижу, купанье необычайно пошло вам на пользу! Вы поистине стали обворожительны! Клянусь добродетелью моей возлюбленной Мирабеллы, что, увидев вас таким, ни одна саламандра и на миг не устоит против вас! Но что станет тогда с вашей верностью молошнице?

— Господин Баклажан, — сказал Бирибинкер, — разрешите при всем том почтении, каким я вам, впрочем, обязан, заметить, что вы поступили бы не в пример лучше, ежели бы избавили меня от столь несвоевременных напоминаний в тех обстоятельствах, в какие поставило меня ваше купанье. . .

— Прошу прощенья, — ответил баклажан, — я хотел лишь напомнить. . .

— Ладно, ладно, — прервал его принц, — я знаю наперед, что вы намеревались сказать, и отвечу, что безо всяких ваших предостережений, заключающих в себе оскорбительное недоверие к моей стойкости, уже одно напоминание о моей божественной молошнице способно столь укрепить меня, что я почитаю себя в совершенной безопасности против

совокупных прелестей всех ваших красавиц, как если бы находился среди наискареднейших гномид.

— Поживем — увидим, — сказал баклажан, — сумеете ли вы утвердиться в столь благородном образе мыслей. У меня сложилось о вас наилучшее мнение, какое только возможно после всего того, что случилось в одном известном замке; но при всем том не стану утверждать, что ваша верность не будет подвергнута великой опасности, когда вы войдете во дворец. Ваше дело, отважитесь ли вы на это или нет; подумайте хорошенько, прежде чем. . .

— Любезный господин Баклажан, — перебил его Бирибинкер, — я примечаю, что вас обуревают такая же неистовая страсть к рассуждениям, как и добродетельную и жеманную Мирабеллу, вашу возлюбленную. Чего ради вы домогались, чтобы я искупался в огненной купели, если я не посмею войти в замок? Повторяю вам, дорогой друг, не печальтесь о моей верности, а скажите лучше, как надлежит мне поступать, когда я войду во дворец?

— Вам для этого не надобно моих наставлений, — ответил баклажан, — ибо вы нигде не встретите препятствий; все двери распахнутся перед вами сами собою, и ежели вам следует чего-либо опасаться, то только (как я уже сказал, а вы с таким неудовольствием выслушали) вашего собственного сердца. . .

— Какие еще козни, полагаете вы, может соорудить мне старый Падманаба?

— Насколько я примечаю по течению светил, — ответил баклажан, — настала полночь, а в это время старик по обыкновению покоится в глубоком сне. Положим, он пробудится, но вам и тогда нечего опасаться его гнева; все его могущество не способно противостоять волшебной силе вашего имени, и судя по всем преимуществам, уже полученным вами над ним, вы, конечно, можете надеяться не менее счастливо одолеть его и теперь.

— Чтобы там ни было, — возразил Бирибинкер, — я полон решимости испытать приключение в невидимом замке, ибо иначе не вижу никакой разумной причины, чего ради я попал во чрево кита. Спокойной ночи, господин Баклажан, покуда мы снова не свидимся.

— Желаю успеха, храбрый и достолюбезный Бирибинкер, — закричал вдогонку словоохотливый баклажан, — счастливого пути, о ты, цвет и украшение всех рыцарей царства фей! И да возымеет желанный конец приключение, коему ты столь отважно идешь навстречу, небывалое ни в одной сказке, с тех пор как на свете появились феи и нянюшки! Гряди, мудрый королевич, куда ведет тебя судьба! Только, прошу тебя, не пренебрегай увещаниями баклажана, который тебе верный друг и, быть может, глубже проникает взором в будущее, нежели какой-либо сочинитель календарей в христианском мире!

Баклажан не заметил, что, покуда он держал эту прощальную речь и еще не успел ее закончить, принц уже прошел первый двор замка. Бирибинкер был весь поглощен мыслью о предстоящем приключении, и вся сила его воображения, получившая особенный полет после огненного купания, представляла ему прекрасную саламандру, которую он предполагал скоро увидеть, наделял ее такой неотразимой прелестью, что не мог удержаться от желания один-единственный раз нарушить верность своей молодшице. Посреди таких мыслей прошел он через второй двор в парадные сени, где навстречу ему доносился нестройный шум. Прислушавшись, он различил множество сиплых женских голосов, как будто бы столкнувшихся в жестокой перебранке. Принц, любопытный с пеленок, не мог удержаться, чтобы не поглядеть, от кого исходят столь приятные голоса. Он открыл дверь в большую великолепную залу и немало ужаснулся, когда увидел, что она наполнена отвратительными карликами, каких было способно породить причудливое воображение Калло¹⁷ или Хогарта.¹⁸

Глядя на это сборище, бедный Бирибинкер сперва подумал, что попал на шабаш ведьм, и беспрерывно упал бы в обморок от одного отвращения, если бы при виде столь потешных фигур его тотчас же не разобрал смех, так что можно было живот надорвать. Сии прекрасные нимфы, которые были на самом деле никто иные, как молодые гномиды, а из них самой младшей было лет под восемьдесят, едва его завидели, кинулись к нему с такой поспешностью, какую только позволяли им кривые ноги.

— Вы пришли кстати, принц Бирибинкер, — закричала одна из самых безобразных, — чтобы разрешить спор, из-за чего мы тут едва не вцепились друг другу в волосы.

— Надеюсь, вы не спорили, кто из вас всех прекрасней? — спросил Бирибинкер.

— Отчего же не так? — возразила гномида, — вы сразу угадали. Вообразите только, прекрасный принц, когда я уже почти довела дело до того, что все остальные уступили мне преимущество, вот эта образина, эта мизерная мартышка осмеливается оспаривать у меня золотое яблоко!

— О! любезный мой юный принц, — завопила обвиняемая, ущипнув его за ляжку, что, вероятно, у нее должно было означать ласку, — смело полагаюсь на ваш суд! Взгляните только на нас обеих, рассмотрите хорошенько по очереди одну статью за другой и вынесите приговор по совести, — я, пожалуй, слишком бы себе польстила если бы сказала: «По велению сердца».

— Видите, принц Бирибинкер, — вмешалась первая, — сколь далеко может простираться бесстыдство? Во-первых, она и на палец не меньше меня ростом, и вы вполне признаете, что сие обстоятельство не составляет различия. А что до ее горба, то, надеюсь, мой может с ним поспорить, а мои ноги, как вы видите, столь же широки, как у нее, да еще на

два полных вершка длиннее. Знаю, она весьма кичится полнотою и чернотою своих грудей, но вы должны признать, — продолжала она, откинув косынку, — что мои если и не столь же полны, то во всяком случае несравненно более отвислые и куда чернее.

— Пусть так! — вскричала другая, — могу признать за тобою столь мелкое преимущество. Вы смеетесь, любезный принц Бирибинкер! И в самом деле нельзя найти ничего смешнее, чем тщеславие этой мартышки. Мне стыдно, что я принуждена хвалить самое себя; но взгляните только, насколько мои ноги толще и кривее, нежели у нее. Нужно быть вовсе слепым, чтобы отрицать, что глаза у меня меньше и тусклее, щеки одуловатее, а нижняя губа отвисла ниже, чем у нее? Не говорю уже о несравнимой длине моих ушей, и что у меня по крайней мере на пять или шесть бородавок больше на лице, а волосы на нем куда гуще, но оставим все сие, чтобы потолковать о носах. Поистине, ее носище можно признать одним из самых больших, какой только видывали, так что можно впасть в искушение и назвать его самым красивым, если притом не видеть моего. Однако, полагаю, вам не понадобится линейка, чтобы убедиться, что мой по меньшей мере на четверть ладони дальше свисает надо ртом. Скромность не позволяет мне, — добавила она, бросая нежные взоры — сказать о тех прелестях, которые откроются только счастливому любовнику, однако могу вас уверить, что и в сем пункте могу похвастать щедростию природы и, я надеюсь. . .

— Mademoiselle! — вскричал Бирибинкер, едва отдышавшись от смеха, — я не осмеливаюсь выдавать себя за знатока. Но, в самом деле, ваша приятельница, должно быть, завела с вами спор о красоте не всерьез. Преимущества, которыми вы обладаете в этом отношении, очевидны, и совершенно невозможно, чтобы добрый вкус господ гномов не воздал вам в этом полную справедливость.

Первая гномида, казалось, была немало оскроблена таким решением; однако Бирибинкер, пылавший нетерпением поскорее увидеть прекрасную саламандру, мало печалился о словах, которые она пробормотала сквозь длинные зубы, и поспешил назад, пожелав всему прельстительному сборищу доброй ночи. Вместо ответа они зычно захохотали ему вслед, чему он также не придавал значения, так как перед ним предстал дворец во всем своем непостижимом великолепии, поглотив все его внимание. С изумлением, насмотревшись на все диковины, Бирибинкер заметил, что обе половины парадных дверей сами собой растворились. Он не мог это истолковать иначе, как добрый знак, что его предприятие увенчается успехом. Итак, преисполненный надежд, он смело вошел и, поднявшись по лестнице, очутился в большой аванзале, открывавшей анфиладу, блеск которой едва не ослепил его, невзирая даже на перемену, вызванную в его природе огненным купанием.

Однако, сколь ни разнообразны и необычайны были великолепные предметы, со всех сторон блиставшие ему в очи, он позабыл обо всем

перед портретами несравненно прекрасной саламандры, наполнявшими все покои. Он не сомневался, что на них изображена возлюбленная старого Падманабы; и эти картины, на которых она была представлена во всех мыслимых позах, нарядах и ракурсах то бодрствующая, то спящая, то в образе Дианы, то Венеры, Гебы, Флоры и других богинь, предлагали его воображению такую идею подлинника, что он при одном ожидании предстоящего благополучия таял от восхищения и блаженства.

В особенности не мог он насытиться созерцанием большого полотна, где она была изображена во время купанья в огненном бассейне посреди служащих ей купидонов, которые, казалось, были вне себя от восхищения, созерцая ее неземную красоту. Бирибинкер не знал, чему он должен больше всего удивиться, красоте самого предмета или искусству живописи, и должен был признаться самому себе, что Корреджо¹⁹ и Тициан против этого саламандровского живописца были сущими пачкунами. Впечатление, произведенное на него картиной, было столь живо, что он с крайнею нетерпеливостью желал увидеть ту, чьи безжизненные копии уже воспламеняли в нем неудержимые желания. И так он пробежал множество покоев и нигде никого не сыскал, перешарил весь дворец сверху до низу, но не услышал и не увидел ни одной души.

Его изумление и нетерпеливость достигли величайшей степени, когда наконец он приметил приоткрытую дверь, которая вела в наидиковиннейший сад, который когда-либо доводилось ему видеть. Все деревья, растения, цветы, шпалерники, беседки и фонтаны были из чистейшего пламени; каждый поlyphал естественным пламенем с приятнейшим всепроникающим сиянием, так что впечатление от всего вместе превосходило своим великолепием все, что только могло себе представить самое сильное воображение.

Бирибинкер бросил лишь беглый взор на это царственное зрелище, ибо завидел в конце сада павильон, где надеялся найти прекрасную саламандру. Он полетел туда, и двери второй раз открылись сами собой, чтобы пропустить его через большую залу в небольшой кабинет, где он не увидел никого, кроме старца величественного вида с длинною белоснежною бородою, возлежавшего на софе и, по-видимому, погруженного в глубокий сон. Принц не сомневался, что перед ним старый Падманаба, и, хотя тотчас же уверился, что ему не следует опасаться от него никакого насилия, все же не мог пересилить легкой дрожи, увидев себя, — при тех намерениях, которые у него были, — в такой близости к этому волшебнику и в таком месте, где все было ему подвластно. Однако мысль, что он избран судьбою разрушить чары старого волшебника, сопряженная с желанием увидеть прекрасную саламандру, в несколько мгновений возвратила ему все его мужество.

Принц собирался уже приблизиться к софе, чтобы завладеть саблею, лежавшей возле старика на подушке, как приметил, что задел ногою нечто твердое, хотя и не видел, что бы это могло быть. Он опешил и

призвал на помощь руки, но почувствовал, что осязает прелестную ступню, откинувшуюся на пуховике. Столь нечаянное открытие возбудило в нем любопытство узнать всю ногу, которой принадлежала такая изящная ступня; ибо Бирибинкер пришел к заключению, к какому в подобном же случае пришел бы и Дурандус а сан Порциано,²⁰ а именно, что там, где найдена ступня, там, согласно общему течению природы, следует ожидать и всю ногу. Итак он продолжил свои наблюдения, переходя от одной прелести незримого тела ко все новым, пока не убедился, что перед ним распростерта молодая женщина, казалось погруженная в глубокий сон, и, судя по свидетельству единственного чувства, которое открыло ему ее присутствие, обладала столь совершенною красотою, что это могла быть по крайней мере богиня любви или даже сама саламандра. Но в ту самую минуту, когда он сделал сие открытие, зазвучала некая бравурная симфония на всех мыслимых инструментах, однако их нигде не было видно, как и самих музыкантов.

Бирибинкер испугался и отпрянул от прекрасной невидимки, ибо тотчас подумал, что шум должен пробудить спящего волшебника, но ужаснулся еще более, когда заметил, что Падманаба исчез.

Волшебник был довольно стар, чтобы обрести благоразумие. Он давно знал, сколь опасен будет ему Бирибинкер, и страх перед принцем, рожденным для того чтобы разрушить его чары, и был главною причиною, побудившею его перенести свою резиденцию во чрево кита. Однако и в этом убежище не почитал в полнейшей безопасности он ни себя, ни прекрасную саламандру, которая была единственным предметом его попечений, и так как тайное предчувствие предсказало ему наперед, что Бирибинкер будет его преследовать даже во чреве кита, то никакие предосторожности не казались ему достаточными, чтобы отвратить несчастье, которое ему угрожало с появлением столь страшного противника. С этой целью он и снабдил возлюбленную таинственным талисманом, имевшим двоякую силу: делать ее невидимою для всех прочих глаз, кроме своих, и коль скоро кто к нему прикоснется, вызывать волшебную музыку.

И если Бирибинкер, так полагал старый Падманаба, невзирая на все препятствия, проникнет во чрево кита и даже в незримый дворец, то прекрасная саламандра все же останется для него невидимой, а ежели он все же ее откроет, то едва коснется талисмана, как его присутствие выдаст музыкальный трезвон, который и предупредит нежелательные последствия сего открытия. Такая предосторожность была тем более необходима, что добрый старик уже с давних пор одержим был такою сонливостью, которая понуждала его спать по крайней мере шестнадцать часов в сутки. Весьма малое доверие ко всему женскому роду, которое оставили ему его прочие возлюбленные, побудило его погружать и ее на все то время, когда он дремал, в волшебный сон, от коего пробудить ее мог только он сам. Один только Бирибинкер при некоторых обстоятельствах и условиях мог получить такую же силу, а Падманаба (так опреде-

лила судьба!) в тот же миг вовсе лишиться своей, по крайней мере в отношении прекрасной саламандры; и так как это легче могло случиться в то время, когда старый волшебник спал, то он поместил талисман, который должен был его разбудить, столь мудро, что Бирибинкер, даже если его обуревало бы только посредственное любопытство, непременно должен был бы его найти. . . ²¹

Едва Бирибинкер в тот самый миг, когда открыл, что прекрасная ножка, которая и подала повод к сему приключению, принадлежит столь прекрасной юной женщине, коснулся рокового талисмана, то раздалась (как о том уже сообщалось) музыка, и Падманаба проснулся. Он взглянул на принца, как легко можно догадаться, не особо приятно, но коль скоро не мог ничего с ним поделаться силою, то ему не оставалось ничего иного, как стать самому невидимым и со всею возможною поспешностью помышлять о том, как бы воспрепятствовать Бирибинкеру осуществить предприятие, которое можно было от него ожидать, даже и не будучи слишком подозрительным.

Меж тем принц, который при случае не испытывал недостатка в мужестве, оправился от обуявшей его оторопи, когда послышался невидимый концерт и Падманаба исчез. Сколь ни опасно, казалось ему, проявлять в подобном месте излишнее любопытство, все же он хотел дознаться, что же такое стряслось со старым волшебником. Он стал искать его в саду, а затем во всех покоях и закоулках замка, вооружась из предосторожности оставленною чародем саблею, на которой с обеих сторон были выгравированы различные кабалистические фигуры, так что с этим оружием он не побоялся бы выступить и против самого волшебника Мерлина.²² Но так как он не мог сыскать ни старика, ни кого-либо иного, то более не сомневался, что Падманаба бежал, оставив ему в добычу свой дворец и свою красавицу.

Посреди таких мыслей он торжественно возвратился назад, положил саблю рядом с софой, а сам повергся к стопам восхитительной незнакомки, которую, к неописуемой радости, обрел все еще спящей, невзирая на беспрестанную музыку потревоженного талисмана, раздававшуюся с приятнейшею переменою аллегро и анданте. Неизвестно, было ли то волшебное влияние анданте, которое и в самом деле нельзя было представить себе нежнее, даже если бы оно исходило от самого Жомелли,²³ или принца посетило сомнение (какое обыкновенно случается), следует ли ему положиться на свидетельство единственного своего чувства? И не была ли несравненная красавица, которую, как ему мнилось, он нашел спящей на софе, всего лишь обманчивым миражем, как то нередко случается в таких очарованных дворцах? Неизвестно, какой из названных причин следует приписать то, что Бирибинкер с помощью новых наблюдений принялся уверять себя в истинности сего чрезвычайного явления.

Вскоре он присоединил к ним и другие попытки, так что все они вместе с жарчайшими симптомами страсти, мгновенно возросшей до крайней сте-

пени любовного восторга и упоения, под конец не оставили в нем и малейшего сомнения в том, что он действительно заключил в объятия прекрасную саламандру, чей видимый образ, запечатленный на полотнах в покоях дворца, столь восхитил его. Эта мысль, а также тот чарующий колорит, что придавала всему его память, восполняя несовершенство пятого чувства, которым он должен был довольствоваться, ввергли его в такое неистовство, что в эти мгновения он не мог вспомнить ни свою возлюбленную молошницу, ни предостережения баклажана. Словом, он становился все смелее, а возраставшая темнота, которая, казалось, ободряла его предприятие, вместе с музыкою, исходившей от талисмана и звучащей все нежнее, и в самом деле были неспособны умерить его восторги...

Тут снова встречаем мы небольшой пробел в подлиннике сей достопримечательной истории, восполнить который представляем Бентлеям²⁴ и Бурманам²⁵ нашего времени, не задерживаясь на догадках об его содержании. Бирибинкер, — гласит продолжение повести, — едва очнулся от забвения, которое кажется адептам некоторых учений в Индии столь приятным, что они видят в непрестанном продлении его высшую степень блаженства, как приметил, что прекрасная невидимка отвечает на его ласки с необычайною живостью. Посему он заключил, что она, должно быть, пробудилась, а посему не приминул, в самых напыщенных выражениях, к каким был приучен в улье феи Мелисоты, наказать ей все те же нежные комплименты, которые уже слышали от него в подобных обстоятельствах Кристаллина и Мирабелла. На все эти излияния, похвалы, восклицания и клятвы невидимка отвечала вздохами, уничтожением своих прелестей и сомнениями в его постоянстве, что любовник, менее восхищенный, чем Бирибинкер, почел бы несвоевременным, а в устах столь прелестной особы и неестественным. Однако он довольствовался тем, чтобы рассеять ее сомнения, удвоив доказательства своей нежности. Она удела ему все внимание, какого он только мог пожелать, не став от того более убежденной.

— Не любили ли вы, — обратилась она к нему, — столь же горячо Мирабеллу и Кристаллину? Не наговорили вы каждой столько же нежностей, не надавали столько же клятв и доказательств, но разве та или другая, как бы восхитительны ни казались они вам в первом опьянении ваших чувств, смогли хоть на один день превозмочь некую молошницу, которую вы вбили себе в голову? Ах, Бирибинкер! Судьба моих предшественниц предвещает мне слишком явственно и мою собственную. И как можете вы домогаться, чтобы я, в печальной уверенности, что лишусь вас через несколько часов, была к тому равнодушна?

Бирибинкер ответил на ее слова живейшими и торжественными клятвами в любви, столь же вечной и беспредельной, как и ее прелести. Он утверждал, что она оскорбляет самое себя, сравнивая с двумя феями, которые никогда не были столь достойны любви, а лишь способны вну-

шить ветреное увлечение, и он призывал в свидетели всех богов любви, что с того мгновенья, когда ему выпало счастье увидеть в большой зале ее изображение, даже его молошница уже не владела больше его сердцем, как и всякая другая молошница на свете!

Уверения эти в весьма малой степени успокоили прекрасную невидимку, и Бирибинкеру пришлось исчерпать все риторические фигуры, чтобы преодолеть все упорство ее недоверчивости.

— О прекрасная невидимка, — воскликнул он, — отчего не могу я созвать сюда разом весь круг земной и все четыре стихии со всеми их обитателями, дабы они стали свидетелями той клятвы в непоколебимой верности, которую я приношу вам! —

— Мы все здесь свидетели! — оглушительно загредел хор мужских и женских голосов, принадлежавших целой толпе, обступившей его.

Бирибинкер, который вовсе не ожидал, что его так скоро поймают на слове, подскочил, дико озираясь вокруг, чтобы узнать, откуда идут эти голоса. Но — о небо! — какой язык способен изъяснить ужас, обуявший его при виде того, что представилось его очам во внезапно залитом светом покое. Он увидел — о диво! о небывалое приключение! о мерзкое зрелище! — что находится в том же самом кабинете, который уже дважды был свидетелем его вероломного непостоянства, — вместо прекрасной саламандры запутался в объятиях уродливой гномиды, которой он за несколько часов до того присудил пальму первенства; и что особенно могло смертельно уязвить и устыдить его — он увидел вокруг себя всех тех, кого он менее всего желал бы заполучить в свидетели! И они были столь жестоки, что в ту самую минуту, когда он с ужасом и омерзением пытался высвободиться из лап обвинившей его отвратительной карлицы, разразились столь зычным хохотом, так что он гулким эхом отозвался по всему дворцу. Справа от софы увидел он (и как хотел бы в тот миг стать слепым и незримым!) фею Кристаллину, державшую за руку крошку Григри, слева прекрасную Мирабеллу с ее возлюбленным Флоксом, который в качестве саламандра и впрямь был куда пригляднее, нежели в облике баклажана; но что свыше всякой меры умножило муки несчастного Бирибинкера, так это присутствие феи Капрозины рядом с прелестной молошницею и старого Падманабы, также державшего за руки несравненную саламандру, а восседали они по обеим сторонам златоцветного облака, поддерживаемого крошечными сильфами, и с насмешливыми улыбками взирали на Бирибинкера.

— Будьте счастливы, принц Бирибинкер! — сказала фея Кристаллина. — Ну, тепер я вправду прощаю вам то нетерпение, с каким вы покинули меня. Кто спешит к такому сокровищу, не может мешкать!

— Вы, верно, помните, — взял слово Григри, — что у меня не было особых причин считать себя вам обязанным; окажись я на вашем месте, то уж предпочел бы навеки остаться трутнем, но было бы слишком жестоко насмехаться над вами в тех обстоятельствах, в каких вы сейчас

находитесь. Почтите же сие наказанием, которое вы заслужили по многим причинам.

— Хотя красавица, с которой мы вас нечаянно застали, и недостойна вас по всем статьям, — продолжала Мирабелла со злою миною, — но по крайней мере вы обладаете тем преимуществом, что она не из жеманниц!

— А что до меня, — промолвил бывший баклажан, — то хотя я и мог бы сожалеть, что обязан благодарностию вашему несчастью, возвратившему мне прежний облик и обладание прекрасною Мирабеллой, однако после того, как я, в бытность баклажаном, проявил довольно великодушия, предостерегая вас от последствий новой неверности, вы не поставите мне в вину, ежели я, вновь став саламандром, радуюсь, что вы презрели мои увещания.

— Зри, несчастный, но по делам наказанный Бирибинкер, — проблеяла фея Капрозина, — сколь ненадежно защищал тебя Карамуссал от моего гнева. Взгляни на достолюбезную принцессу Галактину, которую ты полюбил как молошницу! Слишком милостивая судьба, невзирая на всю мою ненависть, определила, чтобы ты обладал ею, когда б ты только сам не сделался недостойным ее троекратною неверностию.

— Но если тут может пособить сожаление, — вымолвила прекрасная молошница, — то, хотя ты его и не заслуживаешь, ты был бы менее несчастлив! Ведь я вижу, что нынешнее наказание жесточе самого преступления и что в твоём несчастии феи и волшебники по крайней мере столько же виноваты, как и ты сам.

Тут наименее несчастнейший Бирибинкер бросил на любезную свою молошницу взор, исполненный неопишущей муки, и испустил вздох, в который, казалось, вложил всю душу; и снова потупил очи, не в силах вымолвить ни единого слова.

— Запомни! — вскричал Падманаба с другого конца облака, — запомни, достойный удивления Бирибинкер, редчайший образец мудрости и постоянства, что старый Падманаба еще не столь стар, чтобы оставить без наказания твою дерзость! И пусть твоя история, беспрестанно передаваемая из уст в уста всеми нянюшками, послужит на все будущие времена примером, сколь опасно вопрошать о своей судьбе великого Карамуссала и, не достигнув осьмнадцати лет, взирать на юных молошниц!

Едва Падманаба сомкнул уста, как прогремел ужасающий гром, поднялась буря и засверкали молнии, так что весь дворец поколебался, словно при землетрясении, а все собравшееся общество, за исключением впавшего в отчаяние Бирибинкера, было повергнуто в страх и ужас. Ибо сам Падманаба приметил, что такая непогода вызвана силою, способной его превозмочь.

Во мгновение ока взлетел потолок кабинета, да и вся крыша дворца, и все узрели великого Карамуссала, восседающего на гиппогрифе,²⁶ снисшедшего среди грома и молний на облако и занявшего место между феей Капрозиною и старым Падманабой.

— Принц Бирибинкер довольно наказан, — изрек повелительным голосом Карамуссал. — Судьба исполнилась, и я беру его под свое покровительство. Сгинь, мерзкий оборотень, — продолжал он, коснувшись железом гномиды, — а вы, принц Бирибинкер, изберите себе в жены одну из сих четырех красавиц — саламандру, сильфиду, ундину или смертную, какая вам больше по сердцу и может исцелить вас от того непостоянства, которое, надо признать, было вашей слабостью.

Падманаба, с досады на столь неожиданный оборот дела, наверное, скрежетал бы зубами, если бы они у него только были. Что же касается красавиц, то все они обратили на принца взоры, исполненные ожидания, особенно же юная саламандра, которая до сего времени еще не сказала ни слова, хотя несомненно предпочла бы, вместо того чтоб старый Падманаба подсунул на ее место гномиду, дозволил ей заступить свое собственное.

Но Бирибинкер, который в этот миг был вознесен из безмерного стыда и отчаяния на высшую ступень благополучия, нимало не сомневался, кого ему теперь избрать. И хотя стихийные дамы далеко превосходили красотой его молошницу, все их прелести не смогли снискать даже его беглого взгляда в присутствии возлюбленной его Галактины. Он бросился к ее ногам, моля о прощении, и выражал такое искреннее раскаяние и такую истинную любовь, что она не могла оказаться столь жестокосердной, чтобы по крайней мере не подать ему надежду, что ее удастся умилостивить.

Карамуссал, перед которым он также пал на колени, поднял его, взял за руку и подвел к принцессе Галактине.

— Примите, достойная любви принцесса, из рук моих принца Какамбелло! Ибо таково будет отныне его имя, когда цель, ради которой я велел дать ему другое, достигнута. Нет больше Бирибинкера и Молошницы! — И после того, как они оба исполнили своенравное предназначение светила и отдали дань феям, мне ничего не остается, как возратить принца Какамбелло его царственным родителям и сочетать его вечным союзом с принцессою Галактиною.

— А у вас, прекрасные феи, — продолжал Карамуссал, обратившись к Кристаллине и Мирабелле, — как я надеюсь, немало причин быть мною довольными, ибо моим рачением вы сами и ваши любовники обрели прежний облик. Но так как было бы несправедливо, чтобы я один ушел отсюда с пустыми руками, то освобождаю старого Падманабу от всех его забот и беру от него в вознаграждение за свои труды прекрасную саламандру, которой у него нечего было делать, как только спать и быть невидимкою.

С такими словами великий Карамуссал трижды взмахнул железом по воздуху и в тот же миг очутился вместе с принцем и принцессою в кабинете толстобрюхого короля, который немало обрадовался, увидев своего сына и наследника столь взрослым и красивым, со столь же прелестной принцессой, да еще получившим такое красивое имя. Вскоре с большою

торжественностью и великолепием было совершено бракосочетание. Новая чета вкушала плоды любви столь долго, как это только было возможно, народив немало сыновей и дочерей. И когда, наконец, король Толстобрюх переселился в двенадцатый свет,²⁷ новый король Какамьелло стал править вместо него столь мудро, что подданные не почувствовали никакой перемены. Своего друга Флокса в вознаграждение за те большие услуги, которые тот оказал ему в качестве баклажана, он назначил первым визирем, а прекрасная Мирабелла и фея Кристаллина непременно являлись ко двору всякий раз, когда королева лежала в родах. Они всегда приводили с собою крошку Гри-гри, который, невзирая на свое безобразие, пользовался благоволением у большей части придворных дам, что оставляло далеко не равнодушным их любовников.

— Должно признаться, — уверяли в один голос дамы, — что Гри-гри, при всем своем безобразии, наизабавнейший кавалер на свете!

И здесь оканчивается правдивая история принца Бирибинкера, столь же поучительная, сколь и истинная.²⁸

ПРИМЕЧАНИЯ НА ПРЕДЫДУЩУЮ ИСТОРИЮ

— Если у вас было такое намерение, дон Габриель, — сказала Гиацинта, — то весьма сожалею, что вы столь мало в нем преуспели, как только было можно. Сказать по правде, я полагаю, что нельзя наказать больше диковин и нелепид. Дон Сильвио должен быть слишком уж легковерным, если давно не понял, что ваше намерение в том и состояло, чтобы лишить у него фей всякого кредита.

— Вы судите слишком строго, — возразил дон Евгенио, — правда, во всей этой истории сначала до конца природа извращена, характеры столь же банальны, как неправдоподобны происшествия, и если те и другие разобрать по правилам разума, вероятности и нравственности, то трудно измыслить что-либо более отвратительное. Однако было бы несправедливо судить о климате Сибири по погоде в Валенсии, а об учтивости китайцев по нашим обычаям. Царство фей расположено за пределами естественной природы и управляется по своим собственным законам или вернее сказать ни по каким законам (как некоторые республики, кои я не хочу называть). Надо судить о волшебной сказке по другим сказкам о феях, и с этой точки зрения я нахожу историю Бирибинкера не только правдоподобной и назидательной, но и во всех отношениях более интересной, чем все остальные сказки на свете (быть может, за исключением четырех факардинов).¹

— Все же хотела бы я знать, что вы нашли назидательного в этой сказке, — спросила Гиацинта.

— Моралисты по профессии, — ответил дон Евгению, — которые способны вывести из единой элегии Тибулла² целую систему нравственного учения, нет сомнения, ответили бы на такой вопрос искуснее, чем я. Однако, чтобы не оставить моего положения вовсе без доказательства, скажу: разве не осуждаются в этой повести на каждом шагу порок и распутство? Разве не вознаграждается в конце невинность в лице молошницы? И разве вся повесть в целом не служит подтверждением морального правила, что суетное любопытство в отношении нашей будущей судьбы с целью избежать ее неразумно и опасно? Если бы король с величественным брюхом не посылал вопрошать великого Карамуссала, то никогда бы не узнал, сколь опасно смотреть на молошницу, не достигнув осьмнадцати лет, и принц никогда не получил бы имени Бирибинкера. Он, как и другие принцы, возрастал бы при дворе, и когда пришло бы время ему сочетаться браком, то сватать принцессу Галактину отправили бы особое посольство, и все шло бы естественным чередом. Суемудрие короля и роковое предвещание великого Карамуссала одни только повинны во всех бедах. Средства, с помощью которых хотели отвлечь его от молошницы, не послужили ни к чему иному, как только к тому, чтобы скорее свести их вместе, а имя Бирибинкер, хотя и помогло ему счастливо выйти из всех приключений, вовсе не было ему нужно, ибо принц не был бы в них впутан, если бы его так не назвали.

— В этом вы совершенно правы, — заметила донна Фелиция, — однако тут-то и заключено самое веселое обстоятельство всей комедии, или, вернее, если бы его устранить, то вся история принца Бирибинкера, вместо того чтобы стать забавнейшей сказкой о феях, превратилась бы в обыденное происшествие, которого, самое большее, хватило бы на то, чтобы наполнить статейку в газете или календаре на текущий год. И какая бы это была жалость! Короче говоря, нелепа или нет повесть, я беру принца под защиту, и когда бы мне выпала честь носить шляпу и шпагу, то стала бы наперекор всем и каждому утверждать, что любовь принца Бирибинкера, добродетель госпожи Кристаллины, деликатность прекрасной Мирабеллы, ее одежда из сухой воды и ее рассеянность, великан Каракулиамборикс, ковырявший в зубах колом с огорода, павлинье яйцо, наполненное нимфами и тритонами, кит, озера, острова и заколдованные замки, которые он заключает в своем чреве, дворец из твердого пламени и говорящий баклажан, который толкует течение светил, а также все прочие диковинные и неожиданные вещи, чем только не кишит эта сказочка, — все так мило перемешано, чтобы произвести наизабавнейшую чепуху, какую доводилось мне когда-либо слышать за всю жизнь.

— Вы позабыли о карпе, который поет прелестные оперные арии, — подхватила Гиацинта, — собачку, танцевавшую на канате, и пламенные взоры, с которыми Бирибинкер расплавил в стекло камни возле ручья, где сидела его молошница.

Позвольте мне к сему присовокупить, — вмешался дон Габриель, — что трудно найти сказку, где бы расточали столько драгоценных материалов. Я совершенно уверен, что ни в одном кабинете редкостей во всей Европе не сыщешь подойник, выточенный из рубина. И я не слыхивал ни об одном очарованном саде, где бы бассейны были выложены алмазными плитами.³

Дон Сильвио, казалось, до сего времени весьма внимательно прислушивался к тому, что говорили, но когда все объявили свое мнение и он заметил, что все ожидают его решения, то сказал с большой серьезностью:

— Должен признаться, что я бы хотел, чтобы принц Бирибинкер либо соблюдала большую верность своей молоднице (которая и в самом деле весьма милая особа), либо строже был наказан за свое распутство. Однако, исключая это единственное обстоятельство, а также характер и поведение некоторых других особ, что вряд ли кто-либо одобрит, я не вижу ничего нелепого во всей истории принца, тем менее — неестественного или невозможного.

— Как? Дон Сильвио, — вскричала Гиацинта, — вы находите, что все эти диковины, великан, который ковыряет в зубах огородным колом, кит, который на пятьдесят миль вокруг извергает из ноздрей целые ливни, мягкие скалы, поющие рыбы и говорящие баклажаны естественны и возможны?

— Без сомнения, прекрасная Гиацинта, — ответил дон Сильвио, — если только мы не захотим ту бесконечно малую часть природы, которая находится у нас перед глазами или с которой мы встречаемся повседневно, сделать мерою того, что в ней возможно. То правда, Каракулиамборикс по сравнению с нашими обыкновенными людьми представляется чудовищем, однако он сам покажется пигмеем, если его сравнить с обитателями Сатурна, чей рост, по уверениям одного великого звездочета,⁴ измеряется миллионами. Так отчего же не может народиться кит, который был бы довольно велик, чтобы вместить озера и острова, — ведь водятся же в морях такие твари, по сравнению с которыми гренландский кит по крайней мере столь же велик, как тот против него?

— Что касается кита, — перебил его дон Габриель, — то возможность его существования не подлежит спорам, ибо, согласно всем обстоятельствам, он как раз тот самый, кого с большой обстоятельностью описывает в своих правдивых историях Лукиан. Он ведь сам открыл в его чреве превеликую страну, населенную в то время пятью или шестью различными народами, что вели между собою непрестанную войну, и, как можно предположить, к тому времени, когда Падманаба повелел построить во чреве этого кита дворец, уже истребили друг друга. Единственно, в чем можно тут усомниться, это то, что Бирибинкер увидел там солнце, месяц и звезды.

— Я не верю, — сказал дон Сильвио, — будто солнце и доподлинные звезды и впрямь совершали свое течение во чреве кита, а только что

так показалось принцу и что Падманаба с легкостью мог произвести своим искусством. К примеру, эти звезды и солнце, может статься, были саламандрами, которых Падманаба заставил в некотором удалении светить и вращаться по кругу; и по многим обстоятельствам предполагаю, что так оно и было на самом деле.

— Желала бы я знать, — заметила Гиацинта, — что дон Сильвио называет невозможным? Ибо если таким образом распространять пределы возможного, как это он делает, то, думается мне, станет возможным все, что только представится воображению в горячешном бреде. Если существует застывший пламень и сухая вода, то отчего же не быть свинцовому золоту и четвероугольному кругу?

— Извините меня, Гиацинта, — возразил дон Сильвио, — это не столь хорошо можно умозаключить, как вы, кажется, полагаете. Округлость принадлежит к сущности круга, и, следовательно, само собой разумеется, что нельзя вообразить четвероугольный круг; но из чего можно вывести доказательство, что текучесть является существенной особенностью воды и огня? Разве не видим мы зимой лед, который не что иное, как твердая или застывшая вода? Отчего же сила или искусство стихийных духов не могут произвести сухую воду или затвердевший пламень? Думается мне (продолжал он), что истинный источник ваших ложных суждений, которые обычно простираются на все, что называют чудесными происшествиями, происходит от неверного представления, будто бы невозможно все то, что нельзя объяснить из телесных и доступных нашим чувствам причин; как если бы силы духа, для которого телесные вещи всего лишь мертвые и грубые орудия, не должны с необходимостью бесконечно превосходить механические и заимствованные силы этих самых орудий. Рассуждая таким образом, я твердо полагаю, что возможны тьмы вещей, которые мы почитаем невозможными не по иной какой причине, кроме той, что они представляются невозможными нашему незнанию, и в коих мы разумеем примерно столько же, сколько и дикарь, считающий невозможной волшебную модуляцию, которую извлекает мастер из флейт-треверза,⁵ потому лишь, что сам способен вымучить из своей камышовой дудки только сиплые и однотонные звуки. Итак, я не нахожу ничего невозможного в истории принца Бирибинкера и (заранее предполагая достоверность свидетельства ее сочинителя) не вижу, отчего бы ей не быть столь же истинной и столь же заслуживающей доверия, как и всякая другая история.

— Вот теперь вы на верном пути, — сказал дон Габриель, — все дело в достоверности свидетельств. Ибо, хотя мы и можем распространить допустимую возможность разом на все чудеса, которыми наполняют свет сочинители историй и поэты, или хотя бы на часть их, тем не менее они останутся пустыми химерами, пока мы не сможем убедить наш разум доказательствами, что они действительно существуют или существовали. И тут я должен признаться, что с исторической достоверностью рассказов

о феях и духах дело обстоит весьма худо, если у них нет лучшей поруки за их истинность, чем повесть о Бирибинкере.

— Почему же так? — спросил дон Сильвио.

— А потому, что вся эта история собственная моя выдумка, — ответил дон Габриель.

— Ваша выдумка? — вскричал, несколько опешив, дон Сильвио. — О дон Габриель! Разрешите вам не поверить! Да ведь вы же сами ссылались на историка, у которого она почерпнута!

— Простите меня, дон Сильвио — возразил дон Габриель, — но все обстоит именно так, как я вам сказал. Я лишь хотел испытать, сколь далеко может простираться ваше доверчивое пристрастие к царству фей, и я (не поставьте мне это в вину) напрягал все свои способности к сумасбродству, чтобы придумать самую нелепую и нескладную волшебную историю, какую когда-либо слыхивали, и так возник принц Бирибинкер. Однако должен признать, что мне не по силам было измыслить нечто более нелепое, чем то, что было уже во всех подобных волшебных сказках, и я должен был заранее предположить, что эта аналогия введет вас в заблуждение. Поверьте мне, дон Сильвио, что сочинители сказок о феях и большинства чудесных историй столь же мало, как и я, помышляли о том, чтобы наставить умных людей. Их намерение состояло в том, чтобы увеселять воображение. И я признаюсь вам, что сам большой охотник до сказок, нежели до метафизических систем. Я знаю в древние и новые времена людей больших способностей и достойных уважения, которые употребляют праздные часы на сочинение сказок, и многих мужей более важных, чем я, и обладающих большею твердостью характера, чем я когда-либо мог себе пожелать, которые, однако, предпочитают такие безделки всем другим произведениям острого ума. Кому, например, не люб «Орландо» Ариосто,⁶ который ведь представляет собой не что иное, как сплетение волшебных сказок? Я бы мог еще многое сказать в их пользу, нежели б только потребовалось произнести им похвальное слово! Но при всем том сказка всегда будет сказкой, и какое бы ни доставили нам удовольствие под пером искусного мастера все эти саламандры и сильфиды, феи и волшебники-каббалисты, они тем не менее останутся химерами, действительное бытие которых покоится не на лучшем основании, чем то, какое я вывел из моего Бирибинкера.

— Вы, кажется, и не подумали о том, — возразил дон Сильвио, — что нельзя отрицать фей и стихийных духов, равно как и Каббалу и герметическую философию, дающую мудрецам власть подчинять себе этих духов, и в то же время не опровергнуть основание всякой исторической истины, и разве свидетельства, проходящие через всю историю и соглашающиеся между собой, не говорят в их пользу?

— Вы, вероятно, читали сочинение графа Габалиса,⁷ — возразил дон Габриель, — где этот аргумент доведен до высшей степени убедительности, какая только возможна. Но все, что тут можно доказать, это лишь то,

что история смешана с баснями и неправдой, отчего происходит великий вред, в чем повинно слабое разумение, или злая воля, или по меньшей мере тщеславие историков, и что, по моему мнению, служит истинным источником столько постыдных заблуждений, которым подвержены различные общества людей. Поверите ли вы, к примеру, что повесть о Бирибинкере станет на четверть грана достовернее, если ее слово в слово перескажет историк Палефат? ⁸ Почему можем мы знать, в самом ли деле автор, который жил три тысячи лет тому назад и чья жизнь и характер нам совершенно неведомы, хотел поведать нам правду? Положим, он этого хотел, но разве не мог он сам оказаться легковерным? Разве не мог он почерпнуть сведения из нечистых источников? И разве не могли сбить его с толку предвзятые мнения и ложные известия? Положим, все сие не имело места; но разве не могла его история на протяжении двух или трех тысяч лет претерпеть изменения в руках переписчиков, подвергнуться подделкам и разрастись от вписанных в нее посторонних прибавлений? До тех пор пока мы не в состоянии по поводу каждого отдельного приключения Бирибинкера, так сказать, строка за строкой, представить доказательства, что ни одно из всех этих обстоятельств не имело места, то и сам Ливий ⁹ не мог бы судить о правдивости этой вымышленной истории. Признаюсь, что свидетельство Ксенофонта, ¹⁰ или Тацита, ¹¹ или такого скептика, как Секст Эмпирик, ¹² было бы весьма кстати, чтобы подтвердить существование стихийных духов и всяких прочих вещей, находящихся за пределами известного человеческого опыта; однако, к несчастью для всего чудесного, никто не может похвалиться, что он располагает таким полновесным свидетельством.

Положим, что среди неисчислимого множества чудес такого рода, о которых рассказывают с испокон веков у всех народов на земле, чему отчасти и верили, нашлись бы немногие, не вызывающие ни малейшего сомнения, но и они не придали бы большей достоверности всем остальным, равно как и не лишили бы силы всеобщий принцип, который гласит:

— Все и каждое в отдельности, что не согласуется с естественным течением природы, коль скоро она подлежит нашим чувствам, или с тем, что большая часть человеческого рода узнает из повседневного опыта, тем самым получает сильнейшую и в некотором смысле даже бесконечную презумпцию ложности; это положение оправдывается всеобщим чувством, свойственным человеческому роду, хотя оно разом отвергает существование царства фей со всеми его атрибутами.

Дамы удалились, как только увидели, что беседа принимает ученый оборот. Дон Сильвио не сдавался столь легко, как того ожидал его противник. Он воспользовался всеми преимуществами, которые предоставляло ему кажущееся родство этой материи с другими, где дон Габриель мог сражаться, лишь совершая набеги по гусарскому образцу. Когда же он увидел, что искусство противника его одолевает и выбило из всех нор, то ему под конец ничего не оставалось, как апеллировать к опыту, с помощью

которого его пытался одолеть противник. Однако он скоро заметил, что такого философа, как дон Габриель, трудно сразить его же собственным оружием; ему было доказано, что особливый и чрезвычайный опыт всегда подозрителен, коль скоро он противоречит аналогии со всеобщим опытом; и что эвиденции,¹³ коей должен уступить рассудок, потребуется столь острое доказательство, что и среди десяти тысяч сверхъестественных явлений, познанных опытом, едва сыщется одно, которое бы при точном исследовании сохранило бы столько достоверности, как того требует сильная презумпция. Для пояснения своего тезиса он привел в пример видения сестры Марии Агредской¹⁴ и неприметно пустился в столь отвлеченные рассуждения, которые переводчик почел слишком глубокомысленными для большинства читателей этой книги и опустил их тем охотнее, когда из предуведомления, приложенного к испанскому манускрипту, выяснил, что достопочтенный доминиканец, коему была поручена цензура рукописи, как раз в этом дискурсе и нашел невинный повод запретить к печати все сочинение.

Как бы там ни было, но дон Евгенио и сам рассудил за благо прервать продолжение этих слишком метафизических исследований.


— Я не думаю, — сказал он, — что для доказательства того, как легко можем мы в подобных случаях поддаться предвзятости мнению или влиянию слишком живой фантазии, вряд ли не достаточно будет сослаться на собственный опыт нашего юного друга. Бьюсь об заклад на что угодно, дон Сильвио, что, вступив в этот сад и увидев этот павильон, вы подумали, будто попали в резиденцию фей, а меж тем нет ничего несомненнее того, что вы находитесь в том самом поместье Лириас, за которое дед мой Жиль Блас де Сантильяна¹⁵ был обязан благодарному великодушию дона Альфонсо де Лейва и которое потом было расширено и украшено частью моим дедом, а частью отцом доном Феликсом де Лириас. Вы, казалось, еще мало тогда извелили действительный мир, так что сходство, которое вы нашли между садами и строениями Лириаса и тем, что наполняло ваше воображение и было вам известно по сказкам, могло легко ввести вас в заблуждение, так что вы почли бы обыкновенное творение рук человеческих созданием духов в царстве фей. Признайтесь, дон Сильвио, что, увидев мою сестру, вы бы ни на один миг не поколебались признать в ней фею, однако наш приходский священник может с помощью крестильных записей доказать вам, что она обыкновенная смертная и происходит от добропорядочных старых христиан,¹⁶ которые никогда не были заподозрены в магии, внучка достопочтенной Доротеи де Ютеллы: судьба определила ее стать утешением моего деда после того, как он потерял свою возлюбленную Антонию, на которую она и в самом деле так похожа, что их портреты можно принять один за другой.

Этот единственный аргумент *ad hominem*¹⁷ подействовал сильнее, нежели все тончайшие умозаключения дона Габриеля. Дон Сильвио, кроме одного комплимента, который он по сему поводу сделал престелям донны

Фелиции, столь мало мог привести в ответ что-либо основательное, что постепенно умолк и, по-видимому, погрузился в мысли, которые приметно омрачали его чело. К счастью, пришло время смотреть комедию, которую дон Евгению пригласил сыграть труппу странствующих актеров.

Приятное времяпрепровождение и присутствие донны Фелиции мало-помалу вернуло нашему герою доброе расположение духа. Ободряющая приветливость, или, если можно сказать, нежность во всем обхождении с ним донны Фелиции, скоро оживила его, сделала словоохотливым, возбудила желание ей понравиться, а жизнерадостная шутовость, царившая за ужином, задавала тон и под конец оказала на него такое действие, что он неприметно для себя позабыл о той роли, которую на себя принял, и стал вместе со всеми потешаться над принцем Бирибинкером и всеми феями, словно он никогда и не верил ни в каких фей и не был влюблен ни в какую очаровательную бабочку.¹⁸





ЛЮДВИГ ТИК

ДОСТОПАМЯТНОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
АБРАГАМА ТОНЕЛЛИ

В ТРЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

1

Здесь, в нашем уединении, посреди дел государственных, дошло до моего слуха (ибо я всегда благоволил к литературе), что в любезном моем отечестве Германии весьма привержены к различным диковинным происшествиям. Господин фон Гроссе и граф Варгас¹ вытворяют удивительные шутки, а все прочие читают с превеликим изумлением, но куда еще ни один король или монарх не изложили письменно свои *Memories* или же *Confession*, так что мнится мне добропорядочно предоставить себе быть первым в сем роде. Итак, пишу истинную историю собственной своей жизни для печати и потомства, ибо подобные достопамятные дела нередко побуждают к полезному подражанию, через что стезя добродетели и подлинного величия становится все более проторенной и проходимой. При всем том повесть моя исполнена такой прелести, изобилует такими чудесами и призраками, что вместе с тем может представить чрезвычайно приятное и усладительное отдохновение. Могу думать, что она доставит удовольствие немалое, а посему почитаю за благо тотчас же приступить к повествованию.

2

Сам я роду незнатного и воспитания незавидного. Родители мои жили неподалеку от Вены; это были бедные ремесленники, определившие меня в учение к городскому портному. При крещении дали мне имя Абрагам Антон, а мастер и подмастерья обыкновенно звали Тонерль.

Город Вена — большой город и расположен на реке Дунае; уж это я видел воочию и смело могу на том постоять. В мое время называли ее и резиденцией; верно, была она столицей всей Австрии.

В скорости я почувствовал, что рожден на великие дела, ибо не приметил в себе никакой особенной склонности к простой работе. Меня всегда брала охота обучиться волшебству либо стать королем, и я, частенько углубившись в сокровенные свои мысли, смаковал такие деликатные кушочки, что надобно было хорошенько огреть меня аршином, чтобы я, посреди таких грез, вовсе не уснул.

А доведись мне услышать о диковинных колдовских проделках, о привидениях и зарытых в землю кладах, так я порою не мог во весь день сомкнуть глаз; зато тем слаще спалось мне ночью. Иногда желал всего лишь стать невидимкою, или уметь летать, или заполучить скатерть-самобранку, на которой в миг появлялись бы всякие яства — жаркое, пирожное и вино; — но все было напрасно!

3

Меж тем, упражняя помянутым образом свою фантазию в подобных идеалах, немалые успехи оказывал и в портняжном искусстве. Возмечтав ребяческим своим разумом, что обрету золотое дно, которое таит в себе всякое ремесло, и совсем было собрался пристать к берегу и бросить якорь, когда попались мне однажды под руки золотые позументы, — ежели бы тут меня, по счастью, не изловил мастер и не возвратил на стезю добродетели, и притом за волосы.

4

Чем старше становился, тем больше чувствовал охоту к чудесной перемене жизни.

Был недоволен, что дни проходят один, как другой, и только редко-редко перепадет на водку.

Правда, старался что было сил извлечь из своего звания, сколько было возможно, и заводил разговор со всяким, как только приносили заказ; но это мне не всегда удавалось и меня часто бранили; но скоро к тому привык.

Еще досаждало, что люди насмеялись над моим ремеслом; доведись пойти в трактир, куда меня влекла ветчина и прочая лакомая снедь, так все, кто б там ни собрался, проезжались на мой счет и так допекали, что мне не удавалось распробовать самый смак, а приходилось впопыхах глотать все без разбору. Что мне весьма досаждало.

Пожаловался мастеру на свою беду, а он мне присоветовал не принимать близко к сердцу, ибо это у них в заводе; люди-то не больно охочи

хоть малость отступить от религии и своих исконных обычаев. Евреев не так еще преследовали; часто говорит в людях одна простая зависть; мне лишь надобно побойчей отгрызаться.

5

Окончив годы учения, возомнил, что стал малым хоть куда; ан нет, тут только и начались мои муки от прочих подмастерьев. Не было ни одного, кто бы не захотел поглумиться над новичком и выказать на мне свой ум; порой они даже затевали драку. Всякий раз норовил спастись, в чем мне всегда была удача. Мастер пенял мне за робость, сказав не очень-то ласково: «Шелудивый пес! (Nota bene! Принужден тому посмеяться, помыслив, что я теперь как-никак император). Итак: Шелудивый пес! Да где у тебя смекалка! Или ум твой ветром выдуло, что ты дозволяешь всем садиться себе на шею?».

И вот воротился в трактир, приняв твердое намерение на сей раз изречь что-либо дельное и острое. Едва вошел, как снова поднялась кутерьма: особенно разошлись двое ткацких подмастерьев. И вот, поразмыслив некоторое время над своим афоризмом (ибо никогда не следует говорить наобум, даже если небо дарует нам столь большую мудрость) и по надлежащем размышлении, срезал их такими словами: «Ах вы, олухи безмозглые! Дерзаете насмеяться над портным, а сами-то всего-навсего ткачи полотняные?».

6

Все завсегдатаи засмеялись на мою выдумку так зычно, что можно было услышать через улицу: я про себя был доволен, что хорошо отплатил им, и держался в тени, не похваляясь победою, хотя мне тотчас же пришлось солоно, ведь первый раз в жизни случилось со мною, что дал волю остроумию, — ну, и не чаял, что малая толика природной моей остроты найдет столь благосклонный и ободрительный прием; однако же там были и другие ткачи, которые неожиданно принялись меня дубасить. Ибо ни на что другое ума им не доставало, что меня опечалило, и я поспешил улизнуть, после чего пошел к мастеру и сказал: «Моя острота обошлась мне еще дороже, так что принужден был удрать, даже не пригубив пивца. Тут нездоровое лихое место, пушусь-ка я в странствие; как знать, не посчастливится ли мне в других палестинах?».

Мастер был доволен моим решением; я простился с родителями — и вот с легким сердцем отправился странствовать.

7

Вот и для меня настала пора странствования, о которой так много слышался. Как-то вышло, что мне пришлось все время ставить одну ногу впереди другой, а той не хотелось оставаться позади, ежели первая забе-

гает вперед. Из этого соперничества и состояло странствование. Поначалу мне это упражнение показалось весьма забавным, и даже полагал, что за ближайшим холмом передо мною откроется совсем неведомая диковинная страна. Тогда не было у меня еще никакого опыта, а посему воображал, с какой легкостью удастся мне в скорости приобрести величие и знатность. Да, любезный читатель, немало надо употребить искусство, прежде чем сделаешься всего лишь графом либо герцогом; в этом ты убедишься, следуя за моими приключениями.

Скоро истощились все мои припасы; деньги, взятые на дорогу, поиздержались, и надобно было приняться за искусство, в коем странствующие подмастерья обыкновенно мастаки. В чем и преуспел. Однако ж, по минованию нескольких дней пути, очутился в ужасающей пустыне, где было так безлюдно, что не повстречал ни одного человека.

8

Всегда разумел под пустынею нечто совсем несхожее с тем, что оказалось у меня под носом; ибо это было нимало не лучше, чем дремучий лес. Никак не мог выбраться на большую дорогу; а притом ни людей, ни домов, ни деревень. Поначалу думал, что все это относится к путешествию; но когда голод стал чересчур морить меня, заметил свою ошибку. Как раз заблудился и метался то влево, то вправо, причем коленки у меня дрожали от страху; звал на помощь, но все было напрасно. По сей день еще дивлюсь, отчего это люди строили свои дома и города так далеко от этой пустыни; разве что питали к ней такое же отвращение, как я сам, и с тою же охотою встречались с голодом.

Все это еще куда ни шло, но тут вдруг настала темная ночь. Был этим повергнут в большой страх и уразумел, что ночь взаправду никому не друг. Ибо не прошло много времени, как вокруг завозились волки, медведи и другие подобные им твари, словно было у них какое важное дело. Но все это был один лишь предлог, так как им просто хотелось меня сожрать. Самому нечего куснуть и пожевать, а тут такие предположения! Какое злополучие!

В сих обстоятельствах пришлось лезть на дерево, чего прежде мне никогда не приводилось, но львы беспрестанно сражались и шумели вокруг, так что принужден был на то решиться; они же не отступили, а всем скопищем, ворча и скаля зубы, ходили вокруг дерева. Хотел бы уж лучше, чтобы надо мной снова насмехались в трактире, и многое бы за то отдал.

9

Всю ночь провел взаправду не на отменной постели. Утренняя заря принесла мне немало радости, ибо все непрошенные гости убрались во свояси. Слез с дерева и был принужден отзавтракать различными гру-

быми кореньями, которые не очень-то пришились мне по вкусу. Кидался во все стороны, но не сыскал ничего лучшего и на обед. Был бы сконфужен, ежели бы хоть один человек увидел, как я поедаю грубые коренья, но при таких обстоятельствах не мог поступить иначе. Часто проклинал свое странствие и свою гордыню, что вознамерился стать в сем свете чем-то особенным. Но было уже поздно!

10

Так провел еще два дня, все время странствуя по пустыне. Сдается мне, что я по три, а то и по четыре раза выходил на одно и то же место; ибо, как сказано, там нельзя было напасть на дорогу, а всякие заросли до того были схожи, что я ничего не мог взять в толк. На третью ночь светила ясная луна, я же снова ретировался на самую высокую елку. Еще сокрушался о своем злополучии, как из самой чащи вышли два молодца с двумя заряженными ружьями, и стали в меня целиться. О, сколь любезней были мне теперь львы, чем эти нечестивые смертоубийцы! Однако же не сробел, а стал безжалостно вопить, да сжалются они надо мною и т. д.; я-де забрел в эту дичь не своею волею, а ненароком; я-де бродячий портняжный подмастерье и т. д.; пусть только они войдут в мое положение и, бога ради, оставят эту милую потеху; не стою я тех трудов, которые они на меня положат, и все такое прочее.

А так как они не оставляли намерение к смертоубийству, то мои умиленные речи нимало их не тронули, и они продолжали брать меня на мушку. Один из них заметил, что ежели сокровища при мне, то надобно их выдать добром, ибо они-то и есть разбойники с большой дороги, которые охотнее всего таятся в подобных диких местностях; а не то снимут меня с елки пулею, как птичку, а потом завладеют всем силою.

Возразил, что хоть мне и стыдно, но располагаю не более как двумя грошами, которые и составляют все мое имение, когда могу ими услужить, то с охотою их пожалую. Но я знаю, неподалеку от Польши зарыт клад, который я им и покажу, ежели они только соизволят даровать мне жизнь. Я, собственно, по этой причине и выступил в поход из Вены, чтобы заполучить этот клад, который мне открыла некая ведунья. Уж лучше я его передам им, если они мне в награду оставят всего только жизнь.

11

Все это, высокочтимый читатель, было не правдою, а лишь моей чертовски искусной выдумкой; то был плод моих умственных трудов, коим я предавался по ночам, сидючи на елке. От одной дрожи я едва не свалился прямо к ногам смертоубийц, когда б, по счастью, провидение не уготовило мне лучший жребий.

Смертоубийцы поверили моим словам и сказали: «Пусть уж я слезу да покажу им дорогу». Сим удовольствован, дал согласие, в случае ежели они меня выведут из пустыни. Они со своей стороны пообещали, а я и на самом деле слез.

В жизни не приводилось встречать людей, которые были бы столь жадны до кладов, как эти смертоубийцы. Не было конца их расспросам, и всякий раз умел сочинить что-нибудь новое. Когда мы прошли малость вперед, я уже с ними порядком познакомился и сталкивался: они прикидывались дружелюбными, и мне бы никогда не взошло на ум подозревать их в чем-либо, когда бы перед тем они с таким коварством не целились в меня из ружей. Единственное сие обстоятельство мешало нашей дружбе.

Они допытывались у меня, как и каким образом можно будет заполнить клад. Я наказывал им обо всем весьма обстоятельно, и какие тут еще могут повстречаться всякие опасности; ибо тут дело не шуточное — добыть из-под земли клад, ведь у призраков, которые их стерегут, бывают диковинные причуды. Молодчики верили всему. Далее сказал, что ничего железного не должно быть вблизи клада, а не то он уйдет в землю на тысячу сажень. В том и состояла главная моя уловка, а глупые добросердечные смертоубийцы побросали свои ружья, сабли и страшные длинные ножи. От такого зрелища меня мороз по коже подрал, но все же был рад, что довел их до того, что они меня послушали.

Посреди такой искусной лжи мы и впрямь вышли из пустыни. У меня отлегло от сердца. Перед нами расположилась деревенька, и я помыслил: пришло время отделаться от злодеев. Сказал им: «Мужайтесь, неподалеку от деревни и закопан клад».

Они поспешили к деревне с еще большей горячностью, нежели я сам, но когда подошли совсем близко, я принялся кричать во всю глотку и звать на помощь: «Пожар! грабят! режут!» — все вперемешку. Тотчас же сбежались люди, ибо им хотелось поглядеть, кто это так вопит: смертоубийцы тоже были не дураки и сразу приметили, какая хитрая им досталась птица, что все это был один подвох; они убежали и еще были радешеньки, что спасли шкуру.

В остальном был первым человеком, которого разбойники принуждены были вывести из пустыни.

12

Перенесши смертельную опасность, не преминул славно закусить в трактире. После долгого путешествия жратва показалась мне превосходной, да вдобавок никто мне не чинил помехи.

Несносная мысль! Видел себя принужденным продолжать путешествие. Я никогда не принимал в расчет пустыню, львов, смертоубийц и голода; также не мог знать, всегда ли будет выручать меня ум, ибо, как

говорится, не всяк день праздник. С бьющимся сердцем продолжал путь свой.

То было взаправду плачевное время, ибо голод еще частенько давал о себе знать. Наконец достиг Польши.

Но от этого мало было проку; ни один мастер не хотел дать мне работу. Под конец прослышал об одном польском дворянине, о котором мне добрые люди сказали, что он желает взять в услужение искусного портного. Тотчас же побежал к нему, и он спросил, умею ли я шить платья по самоновейшей моде. В чем я незамедлительно поклялся. Да так оно и было. На пробу должен был я изготовить собственную свою ливрею: что мне очень пришлось по сердцу, ибо мой камзол совсем прохудился.

13

Сшитым мною платьям барон не мог сделать ни малейшего укора, так что я скоро своим искусством совершенно пленил его сердце; я мог потребовать у него все, что только пожелаю. Это был добрый, невзрачный господин, который много значения придавал платью.

Он частенько посылал меня за какой-нибудь надобностью по соседству, ибо к подобным поручениям я чувствовал в себе особую пригодность. Однажды, воротившись домой, хотел дать ответ хозяину, но когда открыл дверь, то в господских покоях, в господском кресле сидел не он, а преогромная обезьяна.

Сперва готов был рассмеяться, но по размышлении впал в боязнь. Опрометью сбегал по лестнице и стал кликать господина. Слуги спросили, в уме ли я, господин-де у себя в покоях. Кидаюсь назад и вижу, барон в самом деле там. Я был совсем озадачен, однако ж не хотел говорить ему в глаза, что в его кресле сидела обезьяна, ибо не мог в подтверждение тому привести свидетелей. Но меня взяли подозрения.

14

В другой раз свершив для барона кое-какие покупки, с пакетом в руках вошел в его покои, — по ним расхаживал большой свирепый лев. Недолго размышляя, помчался я с ужасным воплем вниз и сказал, что наверху в кабинете разгуливает большущий лев. Слуг смех разобрал, а один сказал: — Кто знает, что тебе, дураку, там привиделось!

Ну, со мной шутки коротки, я не больно до них охоч, а потому сказал с немалой досадой: «Черт подери! (Быть может, я сказал и «Пес подери!», ибо мне не очень-то хотелось поминать черта в столь неладных обстоятельствах). Доведись мне встретиться еще с одним львом, так мне не поздоровится! Они уже однажды собирались меня пожрать, кто-кто, а я-то знаю этих тварей и не смешаю их с человеком!». Слуги уступили мне, так как я был в чрезвычайном гневе; повар из сострадания вызвался

проводить меня наверх, ибо они думали, что я под конец совсем рехнусь. Повар должен был идти вперед с тем, что если одному из нас предстоит быть пожранну, то ему этот жребий назначен самой судьбой. Но все обошлось лучше, нежели я думал. Наверху не было никого, кроме барона, который расхаживал взад и вперед по кабинету; никаких львов не было и в помине.

Мне было это вроде как и любо, а в то же время совсем и не любо. Я отлично приметил, что эти превращения устраивает господин; но мне оттого мало было покоя. Ежели мне не удастся в чем-либо ему потрафить, то он мог, чего доброго, обратиться во взаправдашного дьявола, чтобы наиучтивейшим образом свернуть мне шею, чего потом на него никто и не взведет.

15

С того времени в обхождении с моим господином я стал выказывать особливую бережность и проворство, ибо знал, что в нем таится такое множество диких зверей, которые при первой возможности могут из него вылупиться. Барон становился тем приветливее. Службу свою я выполнял весьма исправно, а не то пришлось бы мне худо.

В один прекрасный день господин велел позвать меня к себе и сказал: «Любезный швец! в моем доме ты всегда отличался отменным поведением, а посему я полюбил тебя, словно родного брата».

Поблагодарил с великой учтивостью и отпустил изрядный комплимент, так что от моей приветливости бароново сердце совсем растаяло. Приметив, попытался достичь большего, и бухнулся на пол, растянувшись во весь рост. Барон принял меня в объятия и сказал, прослезившись: — Возлюбленный швец! Сушая правда, что я могу превращаться в неразумных тварей, к чему у меня есть охота и расположение. Все сие производит этот маленький корешок; стоит только мне его понюхать и произнести имя какого-либо зверя, как я тотчас же в него превращусь. Ежели будешь служить мне верою и правдою и тебе по душе подобные кунштштуки, то со временем получишь от меня в презент кусочек этого корня!

У меня была к тому превеликая охота, и с того дня служил ревностнее прежнего.

16

Вскоре барон и взаправду подарил мне корешок, и я едва мог дожидаться часу, когда испытаю его силу. Итак, отправился в лес и, понюхав корень, в тот же миг превратился в премилого старого ослика. То был мой первый опыт в искусстве, которому предался, и потому не мог довольно удивиться своей сноровке.

В уединении отведал травы и колючек, которые там росли, и нашел, что они на вкус превосходны. С таким корешком в кармане мне были ни-

почем все будущие пустыни и всякий голод. Это было все равно, что хороший пенсион или академическое кресло.

Оттого и случилось, что более часа я не испытывал никакой охоты снова стать порядочным человеком. «Есть ли что прекраснее на свете, чем наесться до отвалу? — говорил я мысленно самому себе, — чего ради, Тонерль, тебя так и подмывает задирать нос? Неужто не можешь ты хоть раз удовольствоваться своим положением?» — и все жрал и жрал отменные колючки.

17

Как сказано, я никак не мог расстаться с обретенным счастьем. Наконец, приневолил себя, понюхал корешок и снова сделался человеком. Но когда я снова стал человеком, то все колючки, которые я поедал с таким аппетитом, вонзились мне в кишки. Произошло оттого, что я прежде еще никогда этого не испытывал, ибо на всякое дело надобно уменье.

Так как колики не прекращались, то я сказал: «Тонерль, ну, не сущий ли ты олух? Куда подевались твой ум и твоя острога? Стал для виду и шутики ради ослом, и давай жрать до чрезвычайности всамделишние колючки! Да разве можно жрать что ни попало? Ужели ты не можешь созерцать красоты природы бескорыстными очами? Это ли то самое счастье, за которым ты гнался всю жизнь, — стать ослом! В том ли все волшебство?».

Устыдился себя самого; и, чтобы рассеяться и оправиться, в миг обратился в кошку и помчался домой, но поостерегся ловить мышей, ежели они попадутся на дороге. Хотя, по правде, меня разбирало сильное желание.

18

С тех пор изо дня в день упражнялся в том, что представлял самолично различных зверей согласно жизни и правде, в чем достиг поразительного совершенства; однако должен признать, что лучше всего давались мне четвероногие, посему был в недоумении: крылась ли причина в корешке или во мне самом. Когда я хотел на скорую руку превратиться, то это обыкновенно оказывалась мышь или другое какое домашнее животное, зато мне всегда надо было немного собраться с мыслями, когда желал сделаться орлом или львом, словом, каким-нибудь хищником.

Однажды господин послал меня по делам, а я по причине проклятого пьянства в тот день опоздал. С невинною душою прихожу домой и на глазах у моего господина превращаюсь в собачонку, чтобы доставить ему невиннейшее удовольствие. Барон, разгневанный моей отлучкой, обратился в свирепого элѳанта² и принялся так бушевать и неистовствовать, что все пошло ходуном; да как зачал бить меня хоботом и бросать об стену, так что я даже подумал, не началось ли тем часом светопреставление. Принял немедленное решение и убежал совсем из дому.

19

Все бежал без передышки и наконец уперся в самое море, где остановился в намерении дожидаться короля и переправиться в какую ни на есть другую страну или государство и там попытать счастья.

Снова обратился в человека, чтобы рассудительнейшим образом уговориться с корабельщиками, однако, побыв собакою все еще испытывал сильную усталость в ногах. Все еще пребывал в ожидании, как на меня наскочила целая ватага слуг, посланных моим прежним господином, коим надлежало меня настичь или, лучше сказать, безотлагательно учинить надо мной экзекуцию. Я заметил их умысел и тотчас же обернулся мухою, для чего стоило мне только сказать слово да разок понюхать корень. Итак, я был уже в воздухе, летал над дурнями и слышал, как они собирались меня укокошить, буде им удастся меня изловить.

Едва я снова становился портняжкой, как они мигом бросались на меня, а я столь же прворно опять оборачивался мухой и только остерегался ласточек и воробьев, чтобы посреди таких куншттюков они меня часом не склевали.

Слуги прямо не знали, что им и подумать; то я вдруг появлюсь, то меня след простыл; смех разбирал, как они меня завидят и за мной погонятся, а я возьму да исчезну однако ж, будучи мухой, не мог смеяться, так что у меня только сводило челюсти.

Вот и пришлось слугам воротиться домой не солоно хлебавши, ибо словить меня не удалось, не то что учинить экзекуцию. Тому радовался от всего сердца.

20

Как я был теперь в безопасности, то снова сделался добропорядочным портным, ибо так, о чем уже сказано, меньше подвергался нападению воробьев; затем снова пошел на берег моря. Вдруг увидел: парит над морем ужаснейшая птица с преогромными когтями; с ней-то и случилась у меня славная историйка.

Я, собственно, начал побаиваться ее когтей, хотя уже опять стал большим портным; я тотчас же схоронился и перемаскировался в маленькую невзрачную мышь, чтобы не попасться на немилостивые очи. Но тут не помогло никакое приватное положение, никакое уничтожение; крылатое чудовище схватило меня (мышь) в свои когти и стало уносить все дальше и дальше над бурным пустынным морем в поднебесье.

Теперь уже мне не было нужды ожидать корабля, это верно; но в воздушном океане от головокружения со мной приключилась морская болезнь. Но, по-видимому, ему втемяшилось лететь да лететь, ибо этому не было конца.

21

Наконец прибыли мы к высокому замку со множеством зубцов; там высокий незнакомец опустил меня на самый высокий выступ и снова пустился в полет, даже не спросив на водку.

Я еще некоторое время побыл мышью и проворно спустился по всему замку вниз до самой земли; ибо рассудил как мышшь, что человек тут беспрерывно свернул бы шею. Ну, вот и спустился на замковый двор, где находились люди; по их платью я заметил, что это персы; ибо у моего прежнего портняжного мастера висели на стене гравюры и с их изображениями.

Они, конечно, удивились, откуда я взялся; прибежал сам король, ибо ему уже рассказали, что на дворе внезапно объявился чужестранец в неизвестном платье. Король спросил, кто я таков, — а я шаркал ногой и кланялся; и не мог закрыть рот, ибо все мое чистосердечие перешло на язык; я нес невесть что, то шепелявя, то мяукая, — получился чистейший персидский язык. Я не понял ни словечушка из того, что лопотал, и — гляди-кось — все прочие персы отлично уразумели и весьма тому обрадовались. Диковинный дар, который мне нечаянно ниспослало небо! Я говорил целый день, но и посейчас не знаю, что намолол.

22

Первым делом постарался как-нибудь уразуметь свой собственный персидский язык, ибо был весьма озабочен, что могу в конце концов потерять рассудок, ежели изо дня в день буду нести такую околесину. В таковых обстоятельствах не преминул упражняться в языке, хотя с явным ущербом для философии. Испытывал также некоторое любопытство узнать, о чем это я могу день-деньской так хорошо болтать безумолку, ибо язык мой и вправду ни на миг не останавливался. И так изо всех сил учился туземному персидскому языку, каждый день уделял ему по несколько часов.

Скоро достиг того, что мог говорить с понятием, и при случае частенько дивился собственной своей находчивости, что впоследствии со мной бывало нередко.

Король давным-давно знал (без моего ведома), какие в моей власти кунштштюки; посему содержали меня с чрезвычайной пышностью. Меня холили, мне подавали к столу тончайшие деликатесы и благороднейшие вина. А сверх того, деньги и почет! Словом, провождал жизнь свою, как в раю; и при всем том не имел иного дела, как иногда малость попревращаться. Итак, все же достиг своего намерения, принятого еще в младости.

О смертные! Не покладайте рук до времени и пребывайте стойкими на середине пути, и вы преуспеете в начинаниях ваших; добродетель всегда превозмогает!

23

Король персидский души не чаял в птицах, к чему я со своей стороны прилагал крайнее рачение и часто представлял их своей особой. Однажды повелел он мне репрезентовать большую персидскую птицу, какой мне до сих пор и видывать-то никогда не доводилось; меж тем мне это не стоило почти никакого труда; я превратился и стал несказанно красив. Король потом спросил меня: «Как эту птицу прозывают в моем отечестве?». На что я ответил: «Да это никто иной, как щелкун или ореховка». Чем он был премного доволен.

24

Сей король свыше всякой меры любил художества; он собрал при своем дворе всех искусных людей; но такого диковинного человека, каков был я, еще не видывал. Поэтому умел ценить и награждать меня по достоинству, да и я в придворной моей службе так взрачно растолстел, что даже простые лакеи возымели ко мне респект. Всегда желал достичь подобной корпулентности и, когда был еще подмастерьем, больше всего досадовал на худобу; ну, вот теперь стал авантажной знатной особой.

Король возымел намерение пригласить в гости соседнего императора и написал ему, что заполучил к своему двору такого диковинного человека и художника, который сумеет доставить ему несчетную потеху. Я же тем временем позаботился, чтоб мне припасли большую жестяную кружку, с которой всегда расхаживал, когда покажу какой-нибудь кунштштюк. Ожидал прибытия турецкого императора с большим удовольствием.

25

Император турецкий и впрямь прибыл, и король вознамерился оказать ему чрезвычайные почести. Полагался при этом преимущественно на мое искусство.

По всемилостивейшему повелению моего короля навстречу императору выступили трубачи и литаврщики, и как только он приблизился, загремела янычарская музыка в самом полном составе. Потом выпалили сразу все пушки, и король, едва услышал их пальбу, обратился ко мне: «Ну, Тонерль, выручай, бога ради!». Я хорошо запомнил эти слова, и мне не надо было долго чиниться с приготовлениями.

26

Император прибыл, и мой король взял его под руку, чтобы немедля отвести в столовую палату. Едва император отворил дверь, как на самом пороге уже лежал я, приняв облик ужасающего дракона; и плюнул ему

в лицо, — однако ж с изысканною учтивостию, — немножко пламенем. Император отступил, помертвев от испугу, а моему королю было весьма приятно, что он мог втайне уготовить ему такую радость, и он сказал: «Соизвольте, ваше императорское величество, только смелей идти вперед, сей дракон не причиняет зла тем, от кого ему хоть малость перепадает на водку».

Император с нетерпеливым страхом вытащил кошелек; я тотчас же учтиво стал на задние лапы и с изящнейшим реверансом протянул кружку; он и впрямь бросил в нее кошелек, вследствие чего я испытал большую радость; полагаю, что он сделал это со страху, ибо рассчитывал лишь на несколько золотых.

Их величества сели за стол, а я в облике дракона остался лежать у порога. Был задан великолепный пир, ибо при столь торжественных обстоятельствах персидский король не взирал ни на какие издержки; также не хотелось ему, чтобы при турецком дворе распускали слухи об его скупости. Я в облике дракона часто облизывался, по причине различных лакомых деликатесов, которыми обносили стол, на что их величества соизволили неотступно смеяться. Я ж думал: «Смейтесь надо мной, смейтесь! Вы мне славно заплатите за все ваши смехи!».

27

За столом сказал турок: «Однако ж, Ваше Величество, вы мне писали о некоем преудивительном редкостном человеке, обретающемся при вашем дворе, где сей?».

На что король со смехом указал на меня: «Вот он лежит у дверей, услужая вам как дракон».

Услыхав таковые слова, тотчас же обратился в человека и поцеловал императору руку. В чем и преуспел, ибо тотчас же был усажен за стол с лакомыми явствами и поусердствовал над ними на славу. Турок прямо не мог очнуться от удивления. Когда же король ему сказал, что этот кунштшюк с драконом вовсе не мой единственный, а я умею превращаться в любое животное, так он даже всплеснул руками над тюрбаном, носить которые у турок в обыкновении. Тотчас же обратился в волка, потом опять в себя самого, потом в прекрасную птицу, чьи перья сверкали на солнце, как золото и драгоценные самоцветы. Сел на стол и спел прелестную песню для отдохновительного изумления всех присутствующих.

28

В это время мне пришлось порядком утрудить себя, напрягая все свои художнические таланты, так что к вечеру я сильно умаялся, ибо с животным царством было у меня много хлопот. Их величества стояли предо мною и читали из естественной истории описание какого-нибудь зверя,

причем я должен был тотчас же представить им живой экземпляр. Мое ничтожество так полюбилось их величеству турку, что он пожелал купить меня у короля за несчетное число турецких драгоценностей, но тот сказал: «Мой высокочтимый брат, сей редкостный человек единственная моя утеха в тягостные часы досуга; также и не принадлежит он мне, а сам себе полный господин; он внезапно сошел с неба, так что я должен благодарить всевышнего, если ему еще долго будет угодно довольствоваться моим скромным двором».

Такою мерою мне до сих пор еще никто не льстил; в мыслях своих полагал, что я наиглавнейший и знаменитейший искусник во всем свете. Напустил на себя важность и сказал: мне куда нравятся при этом дворе, и я еще тут повременю; на что король пожал мне руку, а у турка выступили на глазах слезы: так я ему полюбился. Вскоре после того он отъехал, оставив мне внушительный подарок.

29

Я все еще был на вершине славы, как при дворе объявился иноземный искусник. Он уверял, что прибыл из Аравии и обладает драгоценным арабским камнем, с помощью коего способен укрощать всевозможных диких зверей, так что они не могут и с места двинуться.

Мне было совсем некстати, что кто-нибудь при дворе станет мне попереk дороги, но я только посмеялся над тем и помыслил, что другой virtuoso³ не возымеет надо мной власти, так как я превращался только в зверей. Но, к несчастью, в скорости убедился в противном. Ибо король был вне себя от радости, что при его дворе объявился искусник совсем иного разбора, и повелел нам тотчас же произвести пробу нашему искусству. Для пушей уверенности обратился в польского быка в намерении поднять на рога непрошеного искусника и поносить его по комнате, посрамляя тем его искусство. Он же просунулся вперед со своим камнем и тотчас пригвоздил меня к полу, да так, что я с той минуты не мог шелохнуться.

30

Был весьма рассержен, что какой-то никудышный камень надо мною такую возымел силу. Наконец король крикнул: «Чародеи, по местам!». Тотчас же волшебник отнял свой колдовской камень, и я снова стал владеть всеми членами.

Я строил королю довольно кислые мины и охотно бы свернул шею чужеземцу, ибо заметил, что король к нему уже более благоволит, нежели ко мне. Король сказал: «Чародеи! Я рассудил обоих вас удержать при своем дворе, положив вам одинаковое жалованье, однако ж пусть ни один из вас не строит другому козней, а вам обоим надлежит смотреть,

как мне получше скоротать время. В том ваша главная забота, а посему оставьте всякую зависть и несогласие, ибо сие мне непереносно».

Мы обещали это королю и в самом деле увеселяли его неустанно.

31

Однажды король затеял большое и великолепное празднество, на которое были приглашены все министры, а также иноземные посланники. Нам обоим заранее было наказано, чтобы мы наилучшим образом забавляли чужестранцев, если только они явятся. Мы старались изо всех сил, и по окончании пира все отправились в превосходный дворцовый сад. Там я тоже превращался в различных зверей, и меня укрощали; также оборачивался красавцем пуделем, на котором ездил верхом волшебник. Все присутствующие должны были признать, что ничего подобного они никогда не видывали.

Среди прочих достопамятных деяний обратился в орла и, сняв у верховного министра государства с головы парик, с искусным изяществом играл им в воздухе, даже напяливал на свою орлиную голову и так летал взад и вперед, чем произвел всеобщий громкий смех, так что король, равно как и прочие, получил изрядное отдохновение от забот государственных.

32

В тот день я извлек из своего искусства немалую прибыль, ибо весьма усердно обходил господ с кружкой, что возбудило у волшебника ревность и зависть; я же не тотчас это заметил.

Продолжая увеселять двор, с душевной невинностью обратился в дикого кабана; завистливый маг как всегда тотчас заворожил меня, но тут еще вдобавок взял здоровенную дубину и так меня отлупил, что я лишился почти всех чувств.

Еще лежа в беспмятстве слышал, как весь двор надо мною смеется. Правда мне дороже всего, а не то я бы о подобных приключениях уж лучше умалчивал. Король в особенности надрывался от смеха; одним словом, не сыскалось ни одного, кого бы не веселило мое несчастье.

Увидев, что пришелец снискал себе этим еще большее благоволение и, будучи приведен тем, а также понесенными побоями в ярость, превратился в муху и отлетел к турецкому двору, где император выказал такую охоту разделить мое общество.

33

Услыхав, что я хочу остаться при его дворе, турок преисполнился такою радостью, которую и описать невозможно. Он упал мне на грудь и стал осенять себя крестным знаменем от чистого восторга. Мне было любо, что он так высоко ставит мою особу.

Он тотчас же подарил мне экипаж, дабы я мог неотлучно находиться при его особе, не слишком утруждая беготней ноги. Коли уж дело зашло столь далеко, то должен был в своей карете сопровождать императора во всех вояжах, прогулках и на охоту, чтобы иметь возможность непромедлительно его позабавить, как только ему сие взойдет на ум. Всеми этими установлениями был весьма доволен.

По прошествии некоторого времени было решено устроить охоту, на которую был приглашен и я. Дорогою с большим остроумием подшучивал над слугами, переодеваясь то птицей, то диким зверем, чем их весьма пугал.

На самой охоте мне не выпало особой удачи, по той причине, что я все время стрелял мимо, вследствие чего должен был перенести немало колкостей от слуг, что меня до чрезвычайности уязвило, ибо в вопросах чести был издавна весьма щепетилен. Император потребовал, чтобы я убрался с глаз долой в человеческом виде, и уж лучше бы явился диким зверем, в каком облике я ему любезнее. Мигом оказал послушание и стал бегать по лесу медведем вместе с другими зверями.

Мое усердие едва не обернулось большим несчастьем; ибо один из слуг, который был не очень-то ко мне расположен, прицелился в меня, и я услышал, как пуля прожужжала над самым моим ухом. То-то был страх!

Ну, и я не дал маху, а тотчас же в собственном обличье отправился к монарху и принес жалобу на такую низость. Он пришел в ужасное негодование; слуга утверждал, что у него и в мыслях не было в меня стрелять; все стряслось по неведению; он полагал, что это взаправдашний медведь. Принужден был удовольствоваться столь пустой отговоркой, так как ничего не мог привести в доказательство.

С тех пор стал немного побаиваться менять свой облик. Император, однако ж, повелел, чтоб никто из слуг не смел стрелять; он оставил это право себе одному; также никто из слуг не должен отваживаться иметь при себе заряженное ружье. После чего я немного собрался с мужеством.

34

Обернулся волком и прогуливался в лесной чаще. Стояла вправду славная погода, а я сызмалу был чувствителен к красотам природы. Однако ж помышлял также и о том, чтобы не только бродить в праздности, а и соблюдать пользу; сгонял всех вспугнутых зверей навстречу своему всемиловивейшему монарху, чтобы тем сподручнее было ему в них стрелять. Моя предупредительность была благосклонно замечена; и так прошел целый день.

На обратном пути снова дразнил слуг, принимая различные обличья,

чем почти всех их порядком против себя озлобил. Но человек моих достоинств никогда не принимает во внимание, что думает о нем простая челядь.

35

Таково уж определение судьбы, что наивысшее благополучие человека никогда не длится слишком долго; увы! сие случилось и со мною. Так славно растолстел и так скоро опять пришлось сойти с тела.

Император задал большой пир всем слугам, к которым на сей раз и я дозволил себя причислить. Вино и всякая снедь были там в превеликом изобилии. Мы все оказали им честь, особливо же я, который почитал себя в этом обществе самым именитым. В скорости я почитаю что захмелел и так запанибратствовал с этой недостойной челядью, что стал с помощью своего корешка вытворять перед ними всякие кунштютюки. Могло бы к тому времени уже наскучить.

Негодяи заметили корешок, и когда я заснул мертвецким сном (у меня едва хватило памяти, чтобы снова обратиться в человека), то один из этих ракалий тайно похитил у меня корешок и бросил в речку. После чего разбежались до дома, оставив меня досыпать в трактире.

36

Пробудился лишь на следующее утро и был в испуге, что уже поздно, а я столь долго не видел моего императора. Тотчас же отправился ко двору.

Все сидели за столом, и монарх уже изъявлял желание видеть мое искусство и по этой причине был разгневан, что я так поздно явился. Мне надлежало тотчас же превратиться в лошадь, и я был рад и готов это исполнить, но, сколько ни силился, ничего не помогало, я все оставался человеком. Сперва я оглядел самого себя, полагая, что мне это мерещится спяну, но так как отчетливо видел на своих ногах пряжки, то уже не приходилось сомневаться.

Пошарил в кармане и тут только заметил пропажу корешка. О как принялся я вопить и кричать! Император сперва подумал, что это все мои художества, и сказал, что то-де славно, но все же я не должен мешкать и превратиться в лошадь. На что я открыл ему свое бедственное положение, что у меня похитили корешок, и принялся снова вопить. Тут он испугался и вознегодовал. Я не знал, куда подевалась моя голова, ибо никак не мог стать скотиной.

Один из придворных, давнишний мой завистник, сказал: все мое искусство было лишь суетное обольщение, а корешок — это лишь пустая отговорка. Время мое миновало, и потому я ничего и не могу совершить.

Император поверил всему, что наговорил этот осел, и распалился на меня ужасным гневом, что я до сих пор осмеливался напускать ему туман

в очи, тогда как на самом деле тут ничего не крылось. Он сказал мне без обиняков, чтобы я проваливался из его замка и никогда больше не попадался ему на глаза.

Челядинцы со смехом выставили меня за дверь. Привратник схватил кнут и огрел меня на прощанье; и так я, злосчастный, оставил Турцию и не хотел бы больше ее видеть ни одним глазом.

Конец первого отделения

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ

1

Так пошло прахом мое превеликое счастье, и все было потеряно. Я долго не мог опамятоваться, когда столь неожиданно был изгнан из Турции. Часто размышлял над учением о душе, из опыта почерпнутом, полагал, что все эти сверхъестественные вещи были всего навсего естественным сном, и уж, разумеется, натура изобилует такими таинствами, которые находят совершенно естественное объяснение, однако же разум наблюдателя останавливается перед ними в недоумении. Я размышлял по всякому и о корешке, и его диковинная сила и свойство порой казались мне преуморительной химерой. Часто впадал в идеализм, представляя себе, что вся действительность одно лишь дурацкое мое воображение; ибо с тех пор довелось мне читать в книгах, что и впрямь есть люди, которые совершенно особливо существуют в свете только для самих себя, и все остальное равным образом вращается вокруг них только в их фантазии.⁴ Ударился в сие пагубное лжеучение, и полагал, что могу, часом, принадлежать к этой удивительной секте. Когда же я вновь взирал на обступившие меня со всех сторон деревья и давал себя знать мой голодный желудок, то видел, что не прав.

2

Снова странствовал на удачу и потерял всякую охоту к работе. Так легко может статься со всяким, особливо ежели кто, вроде меня, был избалован художнической жизнью; я же донельзя пристрастился к искусству, так что мое ремесло казалось мне чем-то низменным. Дошло до того, что был принужден нищенствовать, дабы снискать пропитание. В сих обстоятельствах не малые претерпел неудобства.

Так дошел до самой Сибири, где жестокая стужа. Там мне опостылело просить милостыню. Снова сунулся к портным в намерении продолжать свое ремесло; но никто не помышлял дать мне работу. При том узнал

(и увидел воочию), что в этих местах носят меха, которые я не умел шить. Все это из-за стужи. Так впадал во все большую нужду. А вдобавок в это время по случаю войны набирали множество солдат, так что опасался попасть в рекруты, перед чем с самой колыбели испытывал большой страх. В сих обстоятельствах не знал куда и податься.

3

Так все дальше и дальше углублялся в Сибирь и под конец решил предаться отчаянию. Однако, малость одумался и рассудил, что то будет последнее мое прибежище. Несчетное число раз выдергивал я различные корешки и пробовал, не смогу ли в кого-нибудь превратиться: но все тщетно.

Однажды вечером добрал до постоянного двора и был так утомлен, что не мог и шагу ступить далее. Я обратился к хозяину, но, быть может, внешность моя представилась ему не совсем казистой, ибо он не хотел меня пустить, сказывая, что все уже занято постояльцами. Я тоже слышал, как они веселились и стучали кружками, что побудило во мне удвоенное желание сюда завернуть. Хозяин по началу вовсе не хотел добром поговорить со мною, так что даже дошел до того, что захлопнул дверь перед самым моим носом, а это меня весьма ожесточило, и я стал еще настойчивее в своих просьбах.

Наконец, он умягчился и посулил место на лежанке, где я мог и переночевать. Мне его предложение как нельзя пришлось по душе, и я последовал за ним в горницу, где ублажил себя водкой и пивом такою мерою, что приступил к хозяину с прилежными просьбами все же отвести мне постель, ибо за свое странствование долго был принужден обходиться без подобных удобств. Обозвал меня ослом и невежей, который никогда ничем не доволен; и при всей такой грубости некоторым образом был прав. Тут я завел совсем иной дискурс и ввернул в беседе, что мне уже однажды привелось быть фаворитом короля и императора, чем привел хозяина в такое изумление, что он с необычайной жадностью стал внимать моим рассказам.

Тут он запел по-иному и признался, что у него есть в запасе еще постель, но не смеет предложить ее ни одному добропорядочному человеку, ибо комнату, где она стоит, посещает призрак в облике кошки. На что сказал, ежели он только предоставит мне постель, то готов свести знакомство и с этим призраком; самому частенько приводилось быть кошкою и уж знаю, какое тут слово надлежит молвить, так что мне нечего страшиться. Кошка, мол, полезное домашнее животное, и приводил тому подобные забавные и остроумные доводы; ибо думал, что хозяин наговаривал все для того только, чтобы меня напугать. Так как хозяин уверился в моей необычайной отваге, то и отвел меня в эту сумнительную комнату.

4

Выказал такую смелость, ибо был твердо убежден, что все это дело с призраком не взаправду; а вообще-то я страсть как боялся привидений, но полагал, что он просто не хотел пустить меня на эту постель.

И вот остался я один и раздумался о словах хозяина, и так как вид у комнаты был не жилой и запущенный, а давно уже наступила ночь и никого кроме меня не было, то начал порядком раскaiваться в своих смелых речах. Но потом рассудил, что теперь настало просвещение — призраки упразднены и тому подобное. Что только в средние века насаждали суеверия, чтобы управлять грубыми простодушными людьми; наше время давно с этим покончило. Вот и теперь в своем государстве поставил особых людей, которые обязаны каждодневно обличать суеверия и печатать о том книги (преутомительное дело!); дабы любезные мои подданные не совсем закоснели в природной своей глупости.

Но тогда мне пришлось довольно солоно.

5

Все еще находился один в комнате и не было ни слышать, ни видеть никаких призраков, а тем паче кошек. От этого мне становилось все боязней, и я, наконец, решил лечь в постель. Исполнил сие намерение, истово помолившись и спев псалом. Скоро и в самом деле заснул и спал весьма славно. Кроме разве того, что по прошествии некоторого времени вновь пробудился, заслышав подле дверей какой-то шум, как если бы кто гремел цепями. По-началу думал, уж и впрямь не помянутая ли кошка; однако ж успокоил себя снова, представив, что хозяин или служанка, нет сомнения, 'вознамерились меня напугать. Успокоил тем себя и заснул снова, ибо я, как уже о том сказано, никак не верил в привидения.

Заснул это я снова и вдруг слышу совершенно явственно, что отворяется дверь ко мне в комнату; конечно, я пробуждаюсь, чтобы поглядеть, кто бы это мог быть. Ну, ладно! Но там никого не было; я это мог видеть несомнительно и с полной отчетливостью, ибо той ночью ярко светил месяц. Тут меня снова обуял страх, и я подумал, что подобные обстоятельства могут всякому показаться весьма сумнительными, а особливо ежели перед тем наслушаться разных разностей о привидениях. Меж тем и в самом деле, покуда я так размышлял, явилась большая черная кошка и, странно выгибая спину, принялась шнырять по комнате; но, впрочем, ничего знаменательного не совершала.

Я не больно-то был склонен долго тревожить себя подобными церемониями, ибо ужась как хотел спать, к тому же всякие привидения были мне до чрезвычайности несносны, и я все еще полагал, это не что иное как самая бесподдельная натуральная кошка. Того ради не стал особо чиниться, а не говоря худого слова, схватил палку и бросился на кошку. Ибо думал, что хозяин пустил ее ко мне в комнату потехи ради.

Только хотел хорошенько благословить эту кошку вдоль спины, как она неожиданным образом поднялась на задние лапы и вскарабкалась лю гладкой отвесной стене. Мне это ни мало не попритчилось, хотя бы и сам, будучи кошкою, мог выкинуть подобный кунштштюк; ибо при тех когтях, что у кошки в лапах, нечто подобное вовсе не кажется сверхъестественным. Но то, что произошло потом, я бы никак не смог учинить. Вдруг, без дальних околичностей, с превеликим треском разверзся потолок, и кошка с ужасающим фырканием проскочила на чердак.

Я сразу встал и долго не знал, что мне и подумать; но так как комната приняла прежний вид, то снова лег на боковую и безмятежно заснул.

6

Однако мне уж было суждено еще раз в эту ночь пробудиться; не прошло и часу, как тот же самый шум послышался снова. Я тотчас же собрался с духом и, глядите, опять объявилась никто иная, как та самая преждепомянутая черная кошка. Озлился, что мне все время такая во сне помеха; но тут не могли помочь кислые мины, ибо кошка нимало о том не справлялась, а, напротив, подняла такую ужасающую возню и кутерьму, что можно было подумать, всему свету пришел конец.

Когда я таким образом лежал, трепеща от страха, кошка молвила внятным голосом: «Не бойся, друг!». Услышав, что эта самая кошка да еще заговорила по-человечески, я от страха заполз под одеяло и что есть мочи зажмурился и заткнул уши. Но кошка сказала в другой раз: «Не бойся, высокочтимый друг!». На это я тотчас же ответил: «Тут уж пусть сам черт не боится! Уходи, дел с тобой не хочу иметь!».

Крепился и втайне думал, быть может, за кошкой скрывается какой-нибудь искусник, который подобно мне обладает чудодейственным корешком, и, значит, спросил без обиняков: «Ежели вы, высокочтимый господин друг, искусник, то непромедлительно о том объявите, ибо я тоже некогда снискивал себе пропитание искусством; товарищи не должны причинять друг другу зла; напротив, хотел бы уж лучше утрудить вас просьбою: уступите мне кусочек вашего корешка, чтобы я снова был в состоянии продолжать старое ремесло, ибо до сего дня у меня не было недостатка в добром намерении приняться за работу, а я был лишен необходимого орудия моего ремесла, каковое было мною однажды потеряно, когда я съвше всякой меры напился».

Кошка только глаза выпучила от удивления, когда я завел такие речи. «Что ты там сочиняешь, — воскликнула она, — о каком таком корешке? Я вовсе не искусник, а, напротив, злополучный призрак, тоскующий об избавлении от своей участи, чего могу достичь не иначе, как только с твоею помощью. Ежели ты к тому же еще искусник, то тем лучше для тебя: счастлив человек, — теперь я это знаю по опыту, — которому не пришлось побывать в кошачьей шкуре».

Всегда замечал, что ни один человек не бывает вполне доволен своей участью, и это наблюдение подтвердилось и здесь. Вообще искони стремился во время путешествий приумножать свое познание людей, и когда так путешествуют, то путешествия бывают весьма полезны для юношества.

А что касается до избавления, то не хотел быть к этому причастен, о чем не обинуясь и сказал кошке, что это, мол, не моя должность, что не хочу соваться не в свое дело и еще много другого. Я де человек, который от самой юности не приучен к таким делам и по незнанию чего доброго могу еще только умножить беду.

Кошка, услышав, что я напрямик отказал в ее просьбе, прикинулась такой горемычной, так визжала и мяукала, что могла бы и камень склонить к сожалению, точно так же и я, конечно, растрогался и стал уверять, что рад служить ей во всем, в чем только могу. На это кошка сказала, лишь бы только я ей доверился, а она-то уж сделает меня счастливым; она как раз хочет мне открыть клад. Со всевозможной учтивостью поблагодарил за расположение и, сняв ночной колпак и свершив обязательный поклон, молвил при этом таковые слова: «Доверься черт вашему отродью, я-то уж знаю, чем это пахнет — искать клады. Первым делом, частенько там ровно ничего нет, и я могу порассказать славные истории о плутнях кладоискателей; а во-вторых, ваш брат готов перервать глотку, даже когда клад и на самом деле есть; уж я-то знаю, это прямо ваша страсть; в-третьих, я вас, досточтимая кошка, едва не огрел дубиной, ибо не знал вашего звания, как призрака, и потому свершил тяжелый проступок против этикета и добрых правил приличия, за что вы, нет сомнения, вознамерились мне отплатить. Итак, мне очень прискорбно, что не смогу иметь чести открыть клад и тем способствовать вашему избавлению».

Тут кошка, приметив, что ей придется уйти не солоно хлебавши, начала прежалостным образом визжать и умильно меня просить. Уверяла, что она честный до мозга костей призрак и никакого за ней коварства или злых козней не водится; также и перерывать глотку ей прямо ни к чему, а вовсе, напротив, не желает ничего иного, как быть мне полезной, также давно простила мне побои и хочет только, бедная душа, найти успокоение в могиле и т. п.; ибо стезя заблуждений ей ненавистна, всегда была привержена к тихой простой домашней жизни и хотя надеялась на загробную жизнь, но только не в облике кошки. И еще немалое употребила красноречие, чтобы склонить меня.

Я все еще не доверял ей, ибо знал, что кошки — коварные твари, в чем ее и упрекнул. Но она была скоро на ответ и просила неотступно, пусть не смущает меня ее внешность; это дело не значащее, ибо по истинной своей сути и происхождению она всего лишь злополучная человеческая душа, что заклата вместе с кладом и только тогда обретет покой, когда это роковое сокровище будет мною откопано. Должен положиться на ее слово, со мною ничего дурного не приключится.

Принял намерение провести время в болтовне до тех пор, покуда по близости не прокричит петух или, наконец, не забрезжит утро, ибо тогда буду в совершенной безопасности от призрака. Ну, и попросил ее поведать мне свою историю, как это в обычае, и открыть, как это так случается, что нельзя найти покой после смерти, и тому подобное. Но кошка, верно, хорошо заметила лукавый мой умысел и принялась неутешно плакать и заклинать меня снова, положив лапу на сердце, в уверении своей невинности, одним словом, приняла вид столь горестный, что я проникся к сему призраку большим доверием.

Стало быть, потребовал, чтобы она выдала мне вексель, где бы черным по белому было прописано, что она не причинит мне никакого ущерба и что при открытии сокровища не будут замешаны никакие адские сонмища; я хлопочу не о самом себе, мне кажется необходимым запастись подобным ручательством только ради любезной моей шкуры.

На что кошка вся выгорбилась и сказала озлившись: уж не вздумал ли я ее дурачить; ежели хочешь избавлять, так избавляй, тем более, что и дело то плёвое, а не то она презентует это огромное сокровище кому другому. Тут в комнате нет ни бумаги, ни пера, ни чернил, да и вообще все эти околичности еще чего доброго пробудят хозяина. Дает же она мне, oprичь всего, свое слово, что мне ничего не приключится; видно, мне еще мало доводилось иметь дело с призраками или я нарывался на сущих висельников, ежели я так несправедлив ко всей их братии; довольно и того, что люди мошенники, вовсе нет нужды относить это и к привидениям; сатана со всем своим сонмищем не имеет к ней никакого касательства, она живет приватно, и по сути дела блаженная душа, а что по части призраков, так это не в счет. Вот ее лапа, что мне ничего не приключится. А поведать повесть свою ей, право, недосуг.

Подав ей руку, а сам все время думал, не начнет ли сия злополучная особа еще царапаться, однако она вобрала когти; после чего поспешно оделся и в самом деле пошел с нею.

7

Мы пошли двором, кошка впереди, ибо я не знал дороги к тому месту, где был клад. Позади конюшки должен был взять топор и вырубить порожек. Скоро от беспрестанных ударов посыпались искры, и дело закипело.

По прошествии некоторого времени показалась большая глиняная кубышка, полнехонька славными блестящими дукатами. Кошка сказала, что отныне она избавлена от чар и вручила мне цидулку, наказав ее не разворачивать, а не то все мое счастье разом минется. После чего, забрав клад, удалился, а позади меня раздался столь ужасающий удар грома, что я со страху упал наземь; при том однако ж не выпускал кубышку, крепко обхватив ее обеими руками. Благополучно воротился в свою ком-

нату, после чего допoлнa набил карманы дукатами, а кубышку схоронил в постели. Поутру расплатился за попойку и покинул то место.

8

Тут я зажил в роскоши, ибо богатство мое простиралось не на одну тысячу ефимков, так что отныне был избавлен от всякой нужды, а также не имел надобности снова вспоминать свое ремесло. Был, значит, всегда весел и ублажал утробу на славу. Ведь мне вообще издавна было не по сердцу в чем-либо терпеть недостачу, ибо, что там не говори, а своя рубашка ближе к телу.

Теперь меня ничто больше не мучило, кроме любопытства, что же это такое могло быть вложено в цидулку. На ощупь было там что-то твердое. Однако ж не имел мужества посмотреть, ибо предостережение призрака все еще не сходило с памяти, так что был принужден искать рассеяния в яствах и напитках. При всех превратностях бытия всегда находил надежное утешение в различных съестных припасах и дивился неизреченной благости и премудрости вышнего. Сколь непреложно, что некое доброе существо властвует над нами и уготовляет нам блаженство на стезях наших, как бы чудно они порою ни вилися.

Любопытство — большой порок. Однажды после полудня, когда я шел приветливой местностью, заложив (как это у меня в обыкновении) руки в карманы, вдруг, неприметно для самого себя, развернул эту таинственную цидулку. Тут в облаках поднялся такой гром, шум и треск, словно все небо было готово на меня обрушиться, и, глядите, от всех моих славных денежек не осталось и следа.

9

Правда, теперь я знал, что находилось в цидулке, но в том малое было для меня утешение, ибо в руке у меня остался всего лишь маленький блестящий камешек. Оглядывал его со всех сторон и заливался горячими слезами.

Вот я опять сделался беден, как только когда либо был, и никаких видов на новое благополучие! Однако ж не утратил оттого мужества, а возложил все упование на провидение, ибо был убежден, что оно снова другим и наилучшим образом обо мне позаботится.

10

Был, как уже сказано, весьма расстроен и совсем не знал, что предпринять, так что почти утратил всякую надежду, а порой собирался повеситься. А иногда, конечно, помышлял, что все должно пойти по-иному и к лучшему; но меж тем не мог о том знать наверняка.

Итак снова был принужден сносить голод и нищету, ибо у кого нет денег, тот всеми покинут, а нужда чувствительнее тому, кто однажды вкусил от радостей благосостояния.

Частенько думал, что в оставшемся у меня камне, быть может, таится какая-нибудь чудесная сверхъестественная сила, ибо он все же достался мне от призрака, оттого не щадил усилий, чтобы открыть в нем какое либо свойство, которое позволяло бы мне снова с миром вкушать хлеб свой. Полагаю, что в тогдашних моих обстоятельствах не было почти ничего на свете, на что бы я не мог решиться, ибо чувствовал непоборимое желание вызволить себя из такого злополучия. Однако ж принужден был довольно долго еще коснеть в оном.

Тогда я до чрезвычайности предался занятиям естественной историей, особливо же налег на так называемую экспериментальную физику.⁵ Беспреданно производил опыты, на что же в самом деле мог сгодиться сей камень; то хотел с помощью его превратиться сам, то полагал, что он обладает силой превращать другие материалы в золото; но он взаправду ни к чему не обнаруживал годности, так что все мои штудии были пустым проваждением времени. Что меня часто весьма злило.

Тогда я уразумел, сколь доброе дело наука, тут тебе ни куснуть, ни пожевать, нет ничего ни на теле, ни в теле, ежели не считать души, кою я неутомимо упражнял. Дошло до того, что я снова стал нищенствовать, причем должен был изрядные плести небылицы, дабы склонить людей к состраданию, участию, человеколюбию и тому подобному. Часто выдавал себя за калеку или погорельца; также иногда прикидывался, будто не могу говорить, что мне легко давалось, ибо во многих местах и без того не владел языком. Так что у меня все время было много хлопот, как бы честно пробиться в сем мире.

С тех пор, однако, видеть не мог кошек, что, конечно, большой психологический феномен, ибо до приключения с призраком я был к ним обыкновенно весьма расположен. Но я внутренне был в большой досаде, что мои сокровища снова исчезли, хотя я сам был тому виной. Впрочем часто думал, что ежели бы сия тварь не всучила мне камень, то со мною не стряслось бы такое несчастье.

Не мало и того, что при всех моих злоключениях ни разу не впал в подлинное отчаяние. Но великий человек не должен быть игралищем судьбы, и от самого младенчества во мне были заложены семена и задатки моего теперешнего величия.

Пока принужден был довольствоваться помыслами и фантазией, когда порою чувствовал великий аппетит к различным утонченным яствам и напиткам.

Пришло наконец время изведать мне силу и добрые свойства камня; ибо случилось, что я попал в диковинную местность, а именно близ раз-

валин некоего замка; горы были пустынные и полны дикими скалами. Пришел в страх и робость, когда проходил этой местностью, подобно какой еще не видывал. Но каково мне было, когда на самой вершине горы я увидел различные странные существа в самых диковинных позах; они скакали и плясали с ужасающими ужимками. Не иначе, как эти персонажи представляли собою привидения, и когда я это уразумел, то пришел в совершенный ужас.

12

Будучи свергнут в такую робость, захотел испробовать на сих тварях действие моего камня, и, глядите, тут мне сверх ожидания посчастливилось. Призраки, поднявшие перед тем неимоверный шум, вдруг затихли и были заморожены так, что не могли шелохнуться. Я тотчас приметил, что этот кунштюк произвел камень, отчего преисполнился великой радостью и стал размышлять, как мне это обратить себе на пользу.

Все еще робел, однако ж стал не без труда взбираться на гору и по прошествии некоторого времени очутился наверху. После чего произвел самоличный осмотр всем привидениям и обнаружил фигуры всевозможных мастей. Испытывал не малую радость оттого, что ни один из сих злых духов не мог причинить мне вреда, а скорее все они предо мной трепетали и ужасались. Чего со мной доселе еще не случалось.

Приметив, что дела обстоят столь хорошо, я их снова освободил и дозволил им продолжать свои забавы и увеселения. После чего они поблагодарили за дозволенные вольности и вновь принялись за прерванные кадрили и английские танцы.

13

Справился, что означают эти празднества, и как это, будучи, как я отлично вижу, привидениями, они проводят свое время в прыжках и плясках.

Один из них, по-видимому, старейший и разумнейший, выступил вперед и сказал: «Сударь, вы, по-видимому, прибыли из дальних мест, и потому я хочу вас обо всем уведомить. Вы обладаете камнем, который нас неволит делать все, что вы нам повелите, и посему я принужден вам отвечать, что вовсе не в моем обычае. Мы все, с позволения сказать, стоим под началом известного всему свету сатаны, именуемого также дьяволом; сей изверг уже с давних пор в наказание заморозил нас на этой горе и только один день в году позволяет нам предаваться веселию. Как раз сегодня и настал этот *Mardi gras*,⁶ коли вам будет угодно, то примите участие в наших танцах».

Поблагодарил привидение за учтивость, но тут же сказал, что отродясь не был хорошим танцором и всегда обходился без подобных изъяс-

лений радости. На что все они выразили сожаление и уверяли, что ни один из них, кого я вызову, мне ни в чем не откажет.

Тут я почувствовал свою силу и таланты и сказал: теперь я надеюсь подчинить своей власти даже самого дьявола; на что тот, старший, отвечал, что с моим камнем в том ничего нет мудреного.

14

Ну я не стал долго мешкать, а принялся заклинать сатану, который тотчас же и явился передо мною в образе свирепого льва и так ужасно рычал, что эхо гремело в горах. Но мне было мало печали до его рыка. Спросил, значит, меня вышепомянутый дьявол, сверкая огненными глазами: вознамерился ли я заключить с ним договор и собственною своею кровью подписать на себя закладную. Принужден был рассмеяться, хотя это и был сам сатана, и спросил его своим чередом: неужто он думает, что я такой дурень, и осмеливается делать мне подобные предложения, когда он и без того уже в моей власти. Своим верховенством над духами я обязан некой, известной мне, кошке, которой оказал незначительную услугу, а она мне таким манером засвидетельствовала свою признательность.

15

Недолго думая велел, значит, самому сатане отвести меня к какому-нибудь кладу, что схоронен на дне обвалившегося колодца; означенный клад он должен был самолично достать и мне вручить. Преисполнился еще большей отвагой и указал ему (сатане), чтобы впредь, буде мне когда еще придет на ум его вызвать, он не утруждал себя, являясь ко мне в образе льва, а принимал бы облик порядочного рассудительного человека. В чем он должен был дать мне руку. Удалился в превеликой досаде, что я его так покорил.

16

Отправился в путь и с помощью служающих духов никогда не терпел недостатка в деньгах; ибо стоило мне того пожелать, как я выхожу, вызываю и приказываю достать клад. Зажил в довольстве и промыслом небес снова достиг того, что не надо было работать.

17

Завел экипаж, лошадей и лакеев и стал разъезжать по свету; повсюду принимали меня как знатного господина, ибо люди думали, что я граф, министр или еще какая-нибудь важная птица. Но этого ничего не было, однако ж мог убедиться, что в сей земной жизни самое главное деньги.

18

Как был я теперь человек имущественный и зажиточный, то завел себе также дурня или же так называемого шута. Сказанному человеку надлежало все время прикидываться глупцом, хотя он в сущности был умнее меня. Ему не приходилось ни о чем другом думать, как только о своих шутовских проделках, тогда как я предавался серьезным занятиям, чтобы потом искать рассеяния и отдохновения. Что было чрезвычайно необходимо, дабы под конец не впасть в меланхолию, к чему по своему темпераменту имел не малую склонность; но еще большую к флегме.

19

Принял другое имя и нарек себя Тунелли, ибо в юности все меня бывало звали Тонерль. Порядком растолстел и вошел в тело, чему, нет сомнения, немало способствовал беспечальный образ жизни, ибо охотно оказывал честь яствам и напиткам и по пяти-шести раз на дню обедал, что должно быть весьма хорошо для здоровья; однако ж никогда не переступал меры.

Увидав, что мне так повезло, стал производить все большие издержки. А как деньги израсходуются, велю лишь заложить лошадей. В лесу или в поле прикажу остановиться под тем предлогом, что расположен предаться созерцанию красот природы или насладиться видом местности и тому подобное. С такою отговоркою отойду в сторону и, не обинуясь, вызову дьявола, который непромедлительно явится в облике изящного и благородного кавалера и вручает мне алмазы и ювелирные изделия. Проворно рассовываю драгоценности по карманам, сажусь в карету и еду дальше.

20

По прошествии некоторого времени прибыл в большой и великолепный город, который, как я справился, назывался Монополис. Велел разведать о самой лучшей гостинице и остановился со всей челядью в «Золотом Драконе».

Хозяин, по-видимому, был человек разумный и просвещенный; тотчас же приказал ему приготовить обед из одних деликатесов и хорошенько смотреть, чтобы ни в чем не было упущения. Хозяин рассыпался в любезностях и всей душой уверял в полнейшей преданности и неусыпном рачении.

Пребывая в великолепных своих покоях, едва мог дожидаться, как поспеют с едой. Меж тем велел своему арлекину на скорую руку потешить меня различными дурачествами, что меня, — хотя малый и прилагал все старания, — на сей раз не особенно развлекало, ибо я был весьма голоден.

Наконец пришло время, был накрыт большой стол и уставлен отменными яствами. Тут сердце мое взыграло, и я снова сделался весел, так

что принялся изрядно шутить. Ибо всегда держался того мнения, что веселость и остроумие надлежит, собственно, приберегать для обеденного времени, а помимо него и то, и другое пропадет попусту. Пригласил, значит, хозяина, не чинясь, сесть за стол и откусать вместе со мною. Хозяин едва не лишился чувств со страху, что ему оказано столь благосклонное снисхождение, ибо почел меня за герцога или другое подобное существо. Не переставал понуждать его и объявил, что я всего только странствующий портняжка. На что хозяин даже перекрестился от радости, что я преисполнен такого доброго юмора, и засмеялся во всю глотку на мою острую выдумку, за какую почел мои слова. Под конец оставил его при том мнении, что я благородный кавалер, ибо люди привержены к подобным предрассудкам.

После неотступных просьб хозяин наконец сел рядом со мною, ибо я всегда охотней ем в обществе. Должен сказать, ел он с большим аппетитом. Дурень вытворял перед нами обоими дурацкие шутки, и я был не единственный, кто им смеялся, а также и хозяин, что мне было весьма по душе; ибо доказывало, что дурень и впрямь был изрядный и презрения не достоин.

За столом пустились в различные материи. Хозяин много рассказывал о свойствах той местности и жителей; о вкусе, который там господствует, о театре и тому подобном; я не очень-то вслушивался, ибо усердствовал над кушаньями. Однако ж мне было весьма приятно, что кто-то в моем обществе о чем-то там говорит, дабы и душа, которой ничего более существенного нельзя предложить, также получила бы некоторую пищу.

Так завел он речь и о короле той страны. Тут я стал слушать прилежнее, да в том и не было особого дива, был уже сытёхонек. Битых три часа просидели вместе. Мне взошла на ум дельная мысль. Справился, каков таков отечества отец, какой комплекции, любит ли поестъ и что предпочитает — мясо или рыбу, каков нравом, меланхолик или же доволен жизнью.

При сем заметил, что хозяин восторженный патриот; ибо на все лады выхвалял своего властелина, так что мог заключить, сколь благоденствуют подданные подобной страны. Спросил далее хозяина, не поставит ли король в немилость, ежели я завтра всепокорнейше попрошу его пожаловать в трактир к моему столу. Хозяин ответил: король вестимо почтет за честь, ибо до такой степени любим среди низших, что ему доставляет сущую радость всякая низость. Притом любит домовитость и охотно беседует с чужестранцами: также весьма бережлив, а значит, не преминет принять мое приглашение.

Чья радость могла превзойти мою! Тотчас же отрядил своего егеря и велел ему от имени венского кавалера Туннели просить Его Величество завтра к обеду.

Егерь воротился с ответом, что король столь прост в обхождении, что прибудет.

21

Сколь удивительна судьба! Намедни еще просил милостыню, а тут принимаю в гости знаменитого короля. Едва мог дожидаться, пока он придет.

Приказал приготовить обед, который не стыдно было бы предложить любому монарху на свете. Король прибыл в собственной карете, и я дозволил себе смелость самому вывести его из экипажа. Я все так устроил, что едва Его Величество вошли в залу, навстречу им уже дымились блюда, на что они соизволили милостиво улыбнуться и собственноручно похлопать в ладоши. Был тем чрезвычайно возбужден к еде, что и у короля вызвало двойной аппетит.

Должен был рассказать, в каких странах бывал, и потому говорил о Польше, Персии, Турции и Сибири. Однако ж мудро умолчал о своем звании и выпавших на мою долю приключениях, ибо это, чего доброго, могло мне повредить. Давно уже держался тонкой политики и умел применяться ко всякому званию, с каким доведется иметь дело.

Роспили также немало бутылок изрядного вина, после чего король пришел в отменное расположение духа. Однако ж, сказать по правде, и я не давал иссякнуть своему остроумию, дабы развеселить августейшего сотрапезника, что и было отмечено его благосклонным вниманием и неоднократным смехом. Сдается мне, что от почестей, радости и вина малость захмелел.

Рассказал королю о красивой горе, которую видел неподалеку от города и которая мне, в рассуждении окрестностей и открывающегося взору вида, до чрезвычайности понравилась. Король был того же мнения, сказав, что и он проехал немало земель, однако ж столь красивой горы нигде не встретил. Не уступит ли он ее мне куплю? Правитель пораздумал и сказал: жаль будет ему горы! Помыслил, что колеблется он из притворства, чтобы повыгоднее учинить сделку, как оно потом и оказалось. Ему любо уступить мне гору, сказал он, затем, чтобы я с его дозволения возвел на ней великолепный замок, но ему просто зарез — отдать ее меньше, чем за два миллиона; это самая последняя цена, он не скинет с нее ни пфеннига; притом еще оговаривает, что после моей смерти или, иными словами, кончины, гора снова отойдет к его королевству.

Что мне два миллиона? — И так, мы ударили по рукам, трактирщик прихлопнул сверху, и сделка состоялась.

Велел заложить карету и отправился вместе с королем обозревать свое имение. Когда протрезвился, то отлично приметил, что меня одурачили; ведь я получил гору всего лишь в пожизненное владение за мои-то славные два миллиона! Трактирщик тоже похотывал и качал головою.

Что ж тут поделать? Как-никак впервые вошел в сделку с королем. Решил впредь поступать осмотрительнее.

22

Возвел великолепный замок на самой вершине горы, издержав свыше миллиона, ибо не очень-то тряся над деньгами, полагаясь в случае нужды на черта. Итак, за короткое время израсходовал уйму денег.

Когда помянутый замок был готов, я назвал его Тунелленбург; себя же самого — граф Тунелли. Умолчу о празднествах, что были даны мною при освящении замка, не упомяну о речи, что плотник держал с крыши в мою честь, обойду стихи, что пели мне за здравие. Все это обнаружало бы с моей стороны слишком много тщеславия, ежели бы я пустился в пространное описание. Скажу лишь коротко, что прославился по всей стране, и меня почти боготворили. Да в том и не было дива, ибо давал всем почувствовать, что за мной водятся деньжата.

Впрочем, и сам ни в чем не терпел недостатка; также нередко обедал у вышеупомянутого трактирщика, ибо он был чрезвычайно искусный повар и, как сказано, человек весьма просвещенный. Теперь жизнь пошла совсем иначе, чем в те времена, когда был принужден ради хлеба насущного превращаться во всевозможных зверей, позволять, чтобы в меня стреляли, тащили через море хищные птицы, и тому подобные неприятности.

23

Король уже не раз меня спрашивал, отчего я не женюсь? Лучше ведь, нежели вести столь одинокую жизнь?

Меня самого тревожило, что я еще ни разу в жизни не был влюблен. Происходило, вероятно, оттого, что все время был слишком отвлечен заботами о пропитании.

Когда же мы вели о сем беседу, я как раз глядел из окна дворца. А мимо меж тем проходит весьма привлекательная девица, и едва я только ее увидел, как сердце мое вострепело (мы уже отобедали), чувства воспламенились, словом, я сделался влюблен. Показал королю на девицу в том мнении, что я бы всего охотнее избрал ее своею супругою. Король выразил свое одобрение и сказал, что и ему она весьма приглянулась. Послал он, значит, от моего имени камер-гусара пригласить ее ко двору, где некий кавалер желает с нею вести беседу.

Однако девица попалась с перцем, сказала, что делать ей во дворце нечего, она же уже знает господина короля и вовсе не таковская, и еще много подобных выражений; после чего пошла своей дорогой. Я страх как перепугался, что совсем потеряю ее из глаз, и так выл и причитал в окне от любви, что растрогал короля до слез. С плачем обнял он меня и старался успокоить, также немедленно послал двенадцать стражников, чтобы они силой привели во дворец строптивую девицу.

Она дрожала и трепетала и ничего доброго себе не чаяла, отчего стала в моих глазах привлекательнее. Меня всегда радовало, ежели люди передо

мною трепещут, а я потом их прошу и ничего им не сделаю. Так и моей возлюбленной мнилось, что во дворце придется ей расстаться с молодой жизнью, и оттого прямо упала с облаков, когда я в пламенных выражениях открыл ей свою любовь и преклонение перед ее красотой. Она совсем остолбенела. А мы с королем так радовались, что не могли удержаться от зычного смеха.

24

Девушка бросила на меня нежный взор, и я по многим приметам заключил, что она исполнилась ко мне истинной и неподдельною любовью, только не осмеливается ее открыть; ибо я был собою красавец, ослепительный и дородный; сверх того, с большой звездой на груди, орденom через плечо и брильянтовыми перстнями на пальцах; одним словом, она разом смекнула, что я важная птица, а также что за мною водятся немалые деньжата. Призналась мне, значит, в сердечной склонности, и еще в тот же день во дворце состоялось наше венчание и свадьба. Родители же моей супруги не должны были ни о чем знать, ибо я готовил им неожиданную радость.

Изрядно попировав и повеселившись, все отправились в великолепный Тунелленбург, где на скорую руку снова был задан банкет. Потом велел устроить великолепную охоту: однако, как и прежде, был незадачливым стрелком.

25

Прожил со своею супругою много недель в чрезвычайном довольстве и покое; она ела те же яства, какие мне самому больше всего были по нутру, и с тою же охотою; и мы жили, так сказать, душа в душу. Вкусал, значит, в полном блаженстве радости брачного состояния и только дивился, как это мне раньше не пришло в голову; теперь у меня всегда было с кем поболтать и не было нужды искать рассеяния за порогом дома.

Когда первый пыл любви прошел, я подумал об отце моей супруги, что он, верно, неутешен в потере дочери, ибо вовсе не знал, куда она подевалась; так как я строго настрого запретил о том ему объявлять по причине тайно уготованной радости.

Итак, приказал, наконец, этому купцу явиться в замок. Он меня вовсе не знал и дивился, зачем это я его призываю. Выглядел совсем больным, бедняга, когда пришел, и я принужден был рассмеяться от радости, подумав, как скоро его страх минуется. Он принес драгоценные камни, полагая, что я намерен купить себе подобные pretiosa и для того его и позвал. Он разложил их передо мною с великою покорностью и смиреннием; и ему было нисколько невдомек, что я его зять.

Осмотрев их должным образом, дал ему несколько своих алмазов, величиною с добрый кулак, и спросил, нет ли у него такого сорта. Он

пришел в испуг от столь великих камней и отвечал, что подобных алмазов ему доселе и видывать-то никогда не приходилось, не говоря уже о том, чтобы владеть. Других мне не надобно, а коли у него нет алмазов такого размера, то я ему дарю все те, что он как раз держит в руках.

Купец прямо не знал, на земле он или на небе; пялил на меня глаза и не мог взять в толк, что я за человек. Принужден был в душе рассмеяться и не мог сдержать себя от радости. Усадил его рядом с собою и велел принести из погреба несколько бутылок наилучшего вина.

При виде сего мой неведомый тайный тесть, казалось, немного поуспокоился и утешился. Он пил во всю, и я до тех пор потчевал его, покуда не приметил, что своим чувствам он уже не владыка. Тут, дабы его радость и счастье достигли величайшего апогея, должна была внезапно войти моя супруга.

Столь нечаянно увидев свою дочь, старик затрепетал от восторга; он хотел встать и обнять ее, как то и подобает отцу, но его так развезло, что он растянулся на полу во весь рост. Не припомню, чтобы я в жизни еще так радовался, как в тот вечер, когда вновь соединились любящие сердца.

Но никаким пером не описать и не изложить, какие дурачества стал вытворять старик, когда услышал, что его дочь стала моею супругою, а сам я его зятем. Восторгам не было конца: он ломал руки и скакал как козел. А я от смеха и радости все время держался за живот и бока.

Должен был с нами обедать, должен был с нами выехать на охоту, куда он еще менее годился, чем я сам; затем снова пить, смотреть на фейерверк, одним словом, вкусить все наслаждения земли.

Отчего под конец раздосадовал, сказав, мы должны его отпустить, ради его жены, которая не знает, куда он подевался; сперва я похитил у них дочь, а теперь его самого от жены, а она чай до смерти напугалась.

Он так долго ругался и чертыхался, что я, под конец, увидел его правоту и милостиво отпустил домой.

Заснул, представляя себе, как должна быть теперь счастлива вся семья.

26

Должен был показать супруге все свои сокровища, все алмазы, перстни и прочие драгоценности. Но больше всего благоволила она к наличным деньгам: следствие ее воспитания и купеческого происхождения.

Решил, значит, ее порадовать и сказал, что мне надобно на часок съездить за город, чтобы получить доходы с больших имений в Германии.

Вот, значит, поехал, вылез в лесу из кареты и вызвал дьявола. Он уже знал, за какой я к нему нуждой, и явился со множеством драгоценных камней. По обыкновению в человеческом облике, как ему было наказано. Я сказал, что ежели ему не в убыток, то на сей раз хотел бы

получить от него наличными в дукатах. Идет, ежели я согласен потерять три процента с цены камней. Принужден был пойти на эту сделку, ибо мне была надобна звонкая монета. Не прошло и четверти часа, как дьявол, обливаясь потом, приволок двадцать мешков дукатов. Отдал ему драгоценные камни, однако ж припрятал два самых лучших перстня, так что не потерпел на этой мене убытка.

Воротился в замок, где супруга две недели кряду тешила себя тем, что считала дукаты. Жили весьма спокойно и за столом были всегда веселы и довольны.

27

Около этого времени посетили нас родители моей супруги. Стояла прекрасная погода, и я был, как водится, в отменном расположении духа, отчего мне это посещение было весьма любезно и приятно. Но еще больше обрадовало меня то обстоятельство, что их сопровождало более двухсот особ из города, которые привели с собой музыкантов и подняли неимоверную кутерьму — и все это в честь меня и моей госпожи супруги. Утешно было внимать из окна музыке, отражаемой далеким эхом.

Днем задал большой и великолепный пир, который доставил мне большую честь. Все так уписывали, что даже у булыжника мог разгореться аппетит, не говоря уже обо мне. При том получил множество поздравлений и внимал слышавшимся отовсюду комплиентам. Также довольно показал свое благоволение; ибо, когда празднество окончилось и настал вечер, каждая из двухсот персон получила от меня драгоценный перстень с великолепным алмазом. Потом весь город досадовал, что упущен такой случай.

28

Счастье непостоянно. Прошло немного времени, как вдруг моей дорогой супруге приключился незначительный недуг. Нимало не мешкая, тотчас же послал к лейб-медику короля с посулом, что осыплю его деньгами, ежели он возьмется ее лечить. Услыхав про такое обещание, лейб-медик привел еще четверых приятелей, и все вместе составили Collegium medicorum⁸, много издержал денег, и не прошло двух недель, как моя обожаемая супруга скончалась.

Оплакивал, как то приличествует, и едва не впал в отчаяние, так что королю и многим сановникам было довольно хлопотно меня утешать.

29

Так как ничем уже нельзя было пособить, то склонил наконец слух свой к утешениям челядинцев; очень уж они на меня наседали. Позаботился лишь устроить бывшей моей супруге приличное погребение, дабы меня ни в чем нельзя было укорить. Было совершено со всюю

пышностью, ибо ее похоронили в городе в главном соборе с факельным шествием и в сопровождении множества людей, проливавших неисчислимые слезы.

Но тем не довольствовался, а воздвиг ей великолепный монумент из настоящего мрамора, к чему велел сделать приличествующую латинскую надпись. Все позолочено, стоило также не малых денег, но зато было самого возвышенного вкуса.

30

По совершению похорон устроил великолепные поминки, дабы супруге моей были оказаны все почести. Позаботился о самых отменных яствах, и все сошло к моему и всеобщему удовольствию. Также нисколько не жалел вин, что принесло мне чистосердечную радость.

31

С королем был по-прежнему в чувствительной дружбе. Часто вместе ели, и его величество неустанно утешал меня, превосходно все изъяснял о необходимости сопряжения вещей, о роке и тому подобном, из чего я, почитай, не понимал ни слова.

Также старался рассеять меня различными забавами и беседами, дабы отвратить меня от отчаяния. Так однажды рассказал он мне, что изловили множество воров и убийц, и он покуда еще не решил, повесить ли их или лучше помиловать. Я подивился столь дурному и чересчур человеколюбивому его воззрению. Сказал напрямик, что он никудышный король, ежели не находит надлежащего удовольствия в лишении жизни, и в будущем не сможет править с надлежащей твердостью. Видно по всему, что ему не привелось побывать в хорошей переделке с разбойниками; пусть только с ними познакомится, вот тогда увидит, что против этих исчадий нет надежного средства окромя виселицы. Самого однажды эти твари чуть не подстрелили на дереве, когда б по счастью не выручил сам себя удачной выдумкой.

Одним словом, урезонивал короля до тех пор, покуда он не издал милостивого соизволения, что все плуты будут повешены, дабы водворить в стране благостный мир. Также возымел желание поглядеть на этих бедняг и посетил их с королем. При сем случае они надеялись получить помилование, однако ж весьма в том обманулись: мы оба сказали им напрямик, что им назначено в сей жизни висеть на виселице; при этом и я ввернул несколько прекрасных изречений о необходимом сопряжении вещей. Плуты же оттого вовсе пришли в уныние.

Немало был изумлен, увидев среди них двух дюжих молодцов, что некогда хотели меня ограбить неподалеку от Польши. Не обинуясь, дал им себя признать и заметил, что им отныне придется оставить свое обыкновение снимать людей с деревьев выстрелами. Был несказанно

доволен, что мог хорошенько отомстить этим тварям, ибо натерпелся через них страху свыше всякой меры.

На следующий день всех их казнили, опричь тех двух моих знакомцев, ибо они нашли способ удрать из тюрьмы. Поглядел, как всех их вздернули, и отправился с веселым духом домой, ибо не знал, что предстоит мне ночью.

Верно, было около полуночи, когда я слышал какой-то треск, словно где случился пожар. Ан, и в самом деле был пожар, и я оттого пробудился. Все было объято пламенем, уже и обои занялись, я кинулся к одеже и едва спас штаны. Все остальное, а также и мой превосходный утешительный камешек, погорело. Сбежавшие ракальи и подложили огонь.

И вот стоял я в одной рубашке и штанах под окнами своего замка, меж тем как пламя спокойно пожирало все. Слуги с воплями метались вокруг и, так как я был совершенно безутешен, то тотчас же рассчитал их всех на месте. Сказал, что обнищал и погорел, остался без средств и, значит, не могу их дальше держать. Ушли, обливаясь слезами, и клялись правдой и честью, что во всю жизнь не приведется им больше увидеть столь прекрасных кушаний, не говоря уже о том, чтоб их отведать.

32

В сих обстоятельствах не мог принять иного решения, как только переселиться на день в ближайший лес, ибо не желал в своем нагом одеянии разгуливать по улицам резиденции.

Ботанизировал в сердечном сокрушении.

33

А когда стемнело, отправился в город к своему тестю, купцу. Сей полагал, что я верно рехнулся от тоски или скуки, ежели, будучи графом, прибежал к нему в таком одеянии. Скоро, однако, объяснил ему причину и поведал о камне и его свойствах, о дьяволе и прочем, одним словом, открыл ему все, и что теперь я всего лишь бедный погорелец; после чего недоумение его рассеялось, но зато он был изумлен до чрезвычайности.

34

Король, коего я письменно уведомил о случившемся со мной несчастье, засвидетельствовал мне свое соболезнование в собственными их высокими руками составленной грамоте, через что обрел некоторое успокоение.

Купец, бывший мой тесть, на свой большой достаток, который он приобрел большею частью от меня, снарядил два корабля, бывшие в ту

пору как раз на море. Прошло немного времени, и мы получили известие, что одно судно разбилось, а другое уведено морскими разбойниками.

35

Надо было только поглядеть, что случилось с купцом при подобных известиях, а по мне и тогда можно было заметить, что я большой философ, который уже привык сносить неисчислимые бедствия с примерным терпением. Однажды потерял корень своего счастья, а теперь у меня сгорел даже камешек.

Купец взвел на меня такую напраслину, будто я колдун и повинен в смерти его дочери, да и в кораблекрушении. Одним словом, с отчаяния не больно-то со мною церемонился, а вышвырнул за порог.

36

По его навету и король возымел те же подозрения насчет колдовства. Наслал, значит, на меня полицейского и велел спровадить за границу с коротким, однако ж, вразумительным наставлением, что в случае, ежели я осмелюсь снова ступить на его землю, он прикажет меня вздернуть на площади.

Духом омрачен, оставил сию страну.

Конец второго отделения

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

1

Узрел воочию, что в сем свете нельзя ни на что совершенно положиться и ничему довериться, коли нет у тебя твердого дохода. Посему принял намерение снова испытать счастья и как-нибудь да выбиться; однако ж не обыкновенным способом, как то до сих пор случалось, а лучше сразу постараться стать королем или императором, чтобы снедать хлеб в мире и спокойствии. «Ведь многим это удалось, — рассуждал я, — отчего же как раз мне будет в том неудача? Ежели только счастье всех королей и монархов, которые правили с сотворения мира, так поучится изрядная сумма; так почему бы мне, право, не сделаться одним из этого множества? А ведь среди них встречались такие твари, как блаженной памяти Навуходносор, который не устыдился разгуливать на четвереньках; как Нерон — гонитель христиан, или Калигула, поставивший своего коня первым бургомистром, не говоря уже о Сауле, соби-

равшемся умертвить Давида или Соломона, содержавшем несколько тысяч жен. Я до сей поры не учинил ни одного подобного злодейства, а, напротив, вел жизнь тихую и рассудительную. Не считая, что пришлось немножко полетать по воздуху в качестве мыши, когда меня несла в персидское царство ужасающая птица. Так чего мне было отчаиваться?».

2

Утешал себя сими и подобными мыслями, а меж тем нечего было пожевать. То было мне весьма огорчительно; я желал от всего сердца поскорее пережить межвременье до моего будущего величия. Но тут мало пособляло желание. Бродил от селения к селению, принявшись за старое ремесло — нищенство, что мне на первых порах, после графского-то состояния, показалось довольно солоно.

3

Продолжал блуждать и зашел в местность весьма пустынную. Также совсем не видел людей, не считая того, что спустя несколько дней повстречал двоих, выдававших себя за ткачей полотняных; они мне сказали, что странствуют в поисках счастья. Несказанно обрадовался, что есть еще на свете такие люди, как я сам; меж тем, приглядевшись к ним, признал, что эти двое когда-то собирались поколотить меня в Вене за мою едкую остроту. Мы порассказали друг другу все, приключившееся с нами, и когда я поведал свою историю, то оба подмастерья почли меня за изрядного вралю; ибо с ними подобных чудес еще не бывало.

Таков человек: чего он сам не испытал, то кажется ему невозможным.

4

Довольно долго странствовали вместе. Однажды под вечер стемнело не на шутку. Справились, где тут постоялый двор, и нам указали путь-дорогу. Когда пришли, хозяин объявил, что не может нас пустить, ибо все комнаты заняты постояльцами. Слезно умоляли его, но все было тщетно и напрасно. Наконец, он сказал, что располагает еще одним домом, который у него, однако, всегда пустует, ибо там водятся привидения; он мог бы нам его уступить, коли мы того желаем, но только, чтоб потом на него не пенять, ежели кому-нибудь из нас свернут шею, и тому подобные речи.

Мне тотчас вспомнилось мое приключение с кошкой, одному из моих товарищей оно тоже взошло на ум, и так как ему очень хотелось получить у черта камешек, то приступил к хозяину с неотступными просьбами, он бы только отвел нас туда, да снабдил свежим пивом и картами, а с привидениями мы уже управимся.

Хозяин, остерегая нас еще раз, исполнил нашу просьбу.

5

Весело проводили время, играли на те малые деньги, что были при нас, и потягивали пиво, меньше всего помышляя о привидениях. Под конец стали думать, что никто из них и не явится, как вдруг в полночь отворилась дверь нашей горенки и со множеством поклонов вошел благородный кавалер.

«Дражайшие господа, — сказал он с великой учтивостью, — меня радует, что вы посетили мой скромный дом. Я одинок и буду иметь честь насладиться столь приятным обществом. Выпьем вместе».

Но мы мало были к тому расположены, ибо давно сидели под столом и даже не выглядывали.

Увидев, что мы столь необщительны, господин снова исчез.

6

Опять подобрали карты и думали, что теперь нас больше не посетит ни один призрак. Стали пить еще веселее, чем прежде, ибо полагали, что уже претерпели все страхи.

7

Прошло немного времени, как из самого подполу вышли двое молодых, один со скрипкой, а другой с флейтой. Да как зачали играть и плясать по всей горнице, словно бешеные, так что столь безрассудных призраков я за всю жизнь не видывал. Они вытворяли множество всяких дурачеств и такие уморительные штуки, что мы, невзирая на их присутствие, хотя то и были призраки, принужденны были смеяться: после чего они столь же диковинным образом исчезли.

8

Теперь-то, думали мы, довольно будет с нас призраков, ан нет, ибо самое главное было впереди.

А именно: вдруг раздвинулся потолок, и господин, что приходил к нам сперва, сошел вниз в сопровождении большой свиты. Явились и слуги, которые тотчас же накрыли большой стол, уставив его золотую и серебряною посудю. Потом внесли отменные яства и превосходные вина, и все общество пировало и бражничало, так что, если бы то были порядочные люди, было б весело от одного погляденья. Мы сидели тихонечко в своем углу да думали: «Когда же это все минется?».

Председательствующий за столом крикнул слуге: «Поднеси-ка этот кубок господам в углу, пусть сии выпьют в нашу честь».

Слуга подошел к нам, как было ему приказано, но мы отнекивались с полной искренностью и говорили: премного обязаны, но мы уже вы-

пили пива, к чему вино плохо подходит, да и не в нашем обычае пить так поздно, и другие подобные слова. Но так как слуга не переставал упрямиться, то один из ткачей, которому и впрямь хотелось выпить, наконец схватил кубок, осушил его и упал бездыханным.

9

Через то взял нас обоих, оставшихся в живых, такой страх, что мы решили: этот бедняга, нечаянно упившийся до смерти, послужит нам примером. А посему, когда снова последовало приглашение, мы твердо стояли на том, что не желаем иметь к вину ни малейшего касательства. Однако ж посланный к нам слуга не отступал, и так как мы вовсе не были расположены к выпивке, то он силою раскрыл рот подмастерью и влил ему вино в глотку, после чего тот также незамедлительно скончался.

При виде подобных церемоний сердце мое зашло от страха. Посему искал спасения в бегстве. Но худо в том преуспел, ибо слуга ухватил меня за полу и крепко держал, в то же время неотступно презентуя мне кубок.

Нужда научит молиться! Тогда я отлично уразумел правдивость этой пословицы: ибо, находясь в жесточайшем страхе, искал в памяти самую что ни на есть крепкую молитву и воскликнул в отчаянии: «*Regeat, dyabolus, vivat, бог всевышний!*».⁹

Разом исчезли все привидения, однако ж впопыхах оставили в горнице великолепно накрытый стол.

10

Кому ж было радоваться, как не мне! Теперь только досадовал, что для изгнания адских духов избрал возглас невоздержанных студентов, ибо по правде собирался прочесть «Отче наш», да со страху малость спутался и через то изъявил свою преданность всевышнему чуть ли не кощунственным образом.

Явился дух во образе большой красивой птицы, я и посейчас думаю, что то, собственно, был ангел. Мы обменялись взаимными поклонами и выразили радость, что нам привелось познакомиться. При этом не преминул принести извинения за свою невежливую молитву, что произошло со страху, как аукнется, так и откликнется, чем больше пень, тем крепче клин, и другие подобные речи. Птица отвечала: есть о чем говорить, всякий спасается, как умеет, а со страху хорошее проклятие стоит посредственной молитвы, что я и узнал по себе. На это спросил птицу, а не могу ли я часом распорядиться по своей воле золотую посуду и забрать кое-что получше, дабы малость вознаградить себя за претерпелые страхи. Птица, или ангел, отсоветовала мне и сказала, что я должен все оставить хозяину, который доселе не мог пользоваться своим домом и таким образом понес изрядные убытки; я не должен ничего брать с со-

бою, кроме бокала, в который вделана чрезвычайно дорогая жемчужина. Жемчужина сия полезна тем свойством, что превращает в золото все, к чему бы ни прикоснулась, однако снова возвращает в прежнее состояние, когда того пожелают. «Кроме того, — продолжала птица, — за порогом стоит прекрасный оседланный осел, который тебя повезет, стоит только его немножко пнуть в бок».

Поблагодарив за высокую милость и славный подарок, сунул бокал за пазуху, да и за дверь! Осел и вправду стоял за порогом: я сел на него, и, как некогда птица, так теперь он, понес меня по воздуху. Держался крепко, ибо беспрестанно опасался, что свалюсь вниз.

Летим, значит, вдвоем и летим беспрестанно вперед, словно у осла повзросли крылья. Стояла темная ночь; но солнце взошло с утреннею зарею, а я все сидел на осле, которому еще не прискучило лететь.

Под конец завидели высокие и скалистые горы; там осел опустился вместе со мною и стал как вкопанный. Почел сие за деликатный намек и мигом слез.

11

Спустившись на землю, не преминул хорошенько осмотреться, ибо очень уж хотел знать, где же это я очутился. Однако ж, ничего не увидел, кроме крутых скал. Я спросил, где мы находимся, и поблагодарил своего доброхота осла, и уже совсем было собрался вынуть жемчужину и тихонько превратить его в золото, чтобы потом продать, как он, верно, приметив мое намерение, сам внезапно превратился в горячего коня.

Я изумился и сразу уразумел, что передо мною дух; стал оказывать ему с той минуты всяческие знаки уважения, каковы только в сих обстоятельствах приличны призраку. Все время держал шапку под мышкой, также довольно натерпелся страху и трепета, ибо полагал, что конь чего доброго пожрет меня в этих безлюдных горах.

Но конь со своей стороны был весьма вежлив, и хотя переменял состояние, однако ж еще сохранял очаровательные манеры осла, так что провели добрых полчаса во взаимных учтивостях. Конь все время шаркал ногою так, что из скал только искры летели.

Под конец я до того осмелел, что спросил: чего ради он сразу не стал конем, а сперва превратился в осла, — ведь это стоило ему двойного труда; на это конь с любезным ржанием, заменявшим ему смех, ответил: «Попридержи язык, Тонерль или Туннелли, и будь рад, что ушел целехонек из лап призраков. Проваливай-ка отсюда! Внизу расположен большой город. Там ты обретешь себе надежное и нерушимое счастье». «Где это?», — спросил я.

Конь стал на дыбы и сказал с досадою: «Да под самым твоим носом, бычиная ты голова!», — и вытянул переднюю ногу с копытом прямо перед собою. Глянул еще раз и впрямь увидел преогромнейший город. Не мог взять в толк, как же это я не заметил его сразу.

Конь все еще стоял вздыбившись, и я почел своим долгом взять в руку его переднюю ногу, нежно пожать, а затем запечатлеть свою благодарность горячим поцелуем в подкову.

Конь отвесил изящный поклон и исчез.

12

Стал тихонько спускаться с горы, причем к величайшему моему огорчению чувствовал голод. Чтобы несколько рассеяться, превратил большой камень в слиток золота, потом опять в камень и набил все карманы сучьями и камнями, которые превращал в золото, чтобы, придя в город, сразу было на что закусить. Теперь мне стало труднее идти по причине великой тяжести. При сем случае убедился, что подчас вдаюсь в глупость, ибо обладаю жемчужиною, а потому повыбросил все и превратил снова в сучья и камни.

«Все ж наконец обрету пристань благополучия, — рассуждал я сам с собою, ибо голод все сильнее томил меня, — отныне не буду ни от кого зависеть, не надобно будет превращаться ради хлеба насущного; также с божьей помощью не придется более водиться с дьяволом, которому все эти заклинания, вызовы и поиски кладов могли под конец и прискучить. Блажен человек, который всем обязан лишь самому себе, своим собственным силам и талантам!».

Посреди таких мыслей достиг городских ворот.

13

Второпях превратил несколько незначительных вещиц в золото, дабы с большей уверенностью завернуть на постоянный двор. Хозяин прибытием моим был весьма доволен, ибо ел я не скупю, так что ему давненько не приводилось видеть столь авантажного гостя.

Узнал от него, что город и страна прозываются Аромата, также имеют своего монарха. Местоположение, а равно съестные припасы мне до чрезвычайности понравились; словом, не прочь был бы со временем стать тамошним императором.

14

Дабы хорошенько поправиться, провалялся на постоялом дворе несколько недель безо всякого дела, после чего снова стал помышлять о полезной для человечества деятельности. Посему стал выходить на прогулку и наблюдать городские улицы.

Должен сказать, страна эта нравилась мне день ото дня все больше. Улицы широкие; посетил другие трактиры, тоже были презрения не достойны, однако нашел, что расположился в наилучшем.

Ознакомившись с обычаями страны, захотел произвести в дело некоторое намерение, а именно: не больше, не меньше, как вызвать в городе всеобщий переполох. Для чего всю главную улицу, что вела к императорскому дворцу, превратил в чистое золото.

Сперва люди совсем и не знали, что случилось: но тем сильнее было их удивление, когда, наконец, заметили. Сбежалась преогромная толпа, ювелиры брали пробы и находили, что золото бесподдельное и превосходное. Стоит ли говорить, какой шум и гам поднялся во всем городе!

15

Весть о том, разумеется, не преминула коснуться монаршего слуха. Император, будучи охотником до различных куриозов, повелел тотчас же заложить шестернею карету, сел в нее и поехал золотою улицею, чтобы самому обозреть это диковинное чудо. Не стану отрицать, тут было на что поглядеть, да и я, почитай того мнения, что ни один из высокочтимых моих читателей не видел своими очами ничего подобного, ежели только ему в самое то время не привелось побывать в Аромате.

16

Император, который учредил в своей стране фарфоровый завод,¹⁰ ввел шелководство¹¹ и ввел картофель, а также распространял календари для народа,¹² не мог остаться равнодушен к подобным триумфам науки. А посему, едва приметил, что золото чистое и бесподдельное, тотчас же приказал герольду проехать с большой трубой по всем улицам и возвестить, что тот превосходный и искусный муж, который произвел сей диковинный кунштштюк, должен немедленно явиться ко двору, ибо император вознамерился оказать ему изрядную честь.

Меж тем, замешавшись в толпу, я снова прокрался мимо домов и с помощью своей науки превратил их в обыкновенную улицу. Тут шум и удивление возросли еще более, а некоторые молодчики, старавшиеся по углам наскрести себе малую толику золота, увидя, что чаемая добыча внезапно исчезла, были столь несдержаны, что изрыгали престестокые проклятья.

17

Но кто меня больше всех забавлял, так это Их Императорское Величество. Достопочтенный высокопоставленный муж, а стоял, разинув рот, и пялил глаза от чистого изумления. Принужден был над Их Уморительностью громко рассмеяться и поспешил, дабы не свершить еще большей непристойности, объявиться при дворе тем самым искусником, который устраивает известные чудеса.

18

Тут, разумеется, прибежал сам император, чтобы хорошенько меня рассмотреть. Аудиенция была весьма благосклонна. Объявил напрямик, что умею производить подобные кунштютки. Монарх весьма тому обрадовался и сказал: я сделаю ему немалое одолжение, ежели соизволю остаться при его дворе. Согласился на некоторое время.

19

Их Величество просило меня произвести несколько изящных кунштютков в присутствии всего высшего министерства, ибо он как раз имел в мыслях устроить большой пир. Сказал о своей готовности служить и что он может располагать моим незначительным талантом по своему изволению.

Но чтобы доставить потеху и ему самому, тотчас же превратил его супругу в чистое червонное золото, так что он от изумления даже руками всплеснул. Однако просил меня снова превратить в жену. Свершено по его просьбе.

20

Тут с императрицей был учинен весьма интересный психологический опыт: что и как она чувствовала, думала и представляла, будучи золотом. Всем присутствующим было то чрезвычайно любопытно; но она сказала только, что вовсе ничего не чувствовала. Что было весьма примечательно.

Ну а мне она золотою показалась куда прелестнее, нежели в подлинном своем естестве.

21

Теперь все министры были в сборе, и император попросил меня что-нибудь показать в их присутствии. Стол был накрыт, кушанья дымилась, и высокое министерство уже пустило слюнки, как я взял да и превратил все яства в золото.

О, когда б я был в силах описать изумление, в которое они все поверглись; в самом деле было чему подивиться.

Чтобы загладить обиду, через короткое время снова обратил все в подлинные кушанья.

22

Еще когда мы сидели за столом, монарх получил письмо, из коего узнал, что один из присутствующих министров главный изменник. Он также признался в своем злодеянии и просил прощения.

Император изрек ему смертный приговор, так что его немедля должны были казнить. Но я вмешался и просил о помиловании, тотчас

же превратил его в золото и посоветовал императору сослать на монетный двор, где из него начеканят дукатов в назидание другим изменникам. Совершенно; один из слуг, который вздумал над ним поглумиться, также был на скорую руку превращен в золото.

23

Император несказанно благоволил ко мне. Вознамерившись устроить большую охоту, пригласил и меня принять в ней участие. Уверял его, что издавна был завзятым любителем охоты.

Опять никого не подстрелил, ибо, как сказано, не умел попадать.

Однако превращал львов и различных других зверей в золото, а потому они у меня оживали и разбегались. Императору за всю жизнь не приводилось так веселиться.

24

Также уверял меня помянутый император в своей неизменной протекции, и что я должен безотлучно пребывать при его дворе, чем был до чрезвычайности доволен, ибо можно было сладко поесть, а равно и ни в чем не терпеть недостачи.

25

Недолго пробыл при дворе, как разгорелась довольно значительная война, ибо соседние народы вторглись в империю, разоряли деревни и крепости, словом, причиняли большой вред.

Император в то время совсем растерялся.

26

Он собрал большой совет из самых сведущих и искусенных мужей, к коим был причислен и я. Ну, все ратовали за мир, ибо всем доставало мужества, я был единственным, кто стоял за войну, также обещал предводительствовать армией и вызвался наголову разбить врага.

27

Мне, было, сперва не хотели доверять, однако склонил их своими увещаниями к тому, что меня назначили фельдмаршалом.

Приметил, что солдаты исполнены отваги и не медля вступил в неприятельские пределы.

28

Скоро дело дошло до сражения, в котором неожиданным образом и к моей великой радости я и впрямь одержал победу, хотя доселе это

было всего одно мое обещание. Не поленились вступить на неприятельскую землю, завоевали крепости и города, оставили в них гарнизоны и, увенчанные славой и честью, возвратились в Аромату.

29

Жители выбегали навстречу с громоподобным «виват!». Император обнял меня; все глядели на нас и не могли наглядеться. В такой чести я еще никогда не был.

30

Пришло время и мне второй раз в жизни узнать любовь. А именно: сердце мое пленила прелестная дочь императора. Посему впал в меланхолию, повесил нос и даже порой был груб с самим монархом. Он сразу догадался, что мне чего-то недостает. Часто спрашивал о причине, однако я всегда отмалчивался, ибо весьма его страшился.

31

Наконец собрался с мужеством и признался ему в своей любви, заливаясь слезами восторга и скрежеща зубами. Император увидел, что со мной шутки плохи и обещал руку дочери, ежели я ему уступлю жемчужину.

32

Принужден был раскусить и сей горький орешек, ибо жемчужина была мне донельзя любя, да и прекрасную принцессу заполучить в супруги очень хотелось. В самый тот день, когда я выдал жемчужину, мне была вручена невеста и устроено столь великолепное свадебное торжество, что мои теперешние подданные и посейчас еще о нем вспоминают.

33

Тесть подарил мне также несколько отборных герцогств, в коих я мог без хлопот получать пропитание.

Зажил в свое удовольствие в приватном звании.

34

Мой увенчанный славою тесть заболел, через что я получил серьезные виды на корону в Аромате, ибо был ему ближайший наследник. Посему загодя приступил к изучению государственного искусства, а также своих подданных. Тут мне весьма кстати пришлось те штудии, коим я уже прежде предавался в трактирах.

35

Император опочил, и я в самом деле взошел на трон. Прямо потерял голову, когда в первый раз подписал «Божью милостию». С тех пор мне обеспечен кусок хлеба, а к тому же еще любовь и обожание верных подданных. Вот уже постарел и поседел, а все еще счастлив, пишу эту правдивую историю ради препровождения времени, ибо не знаю, что мне еще делать, а также дабы показать свету, что всякое основательное намерение в конце концов достигает осуществления. Это — истинно и непреложно. Слава богу, обладаю еще славным аппетитом и уповаю сохранить его до самой блаженной своей кончины. Идеальные грёзы моей юности исполнились. Это удел немногих.

36

Сим и заканчиваю свою историю.

Конец третьего и последнего отделения

Приложение

Э. Т. А. ГОФМАН

НОВЕЙШИЕ СУДЬБЫ ОДНОГО ДИКОВИННОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не столь давно в здешнюю гостиницу, именуемую «Hôtel de Brandenbourg»¹, завернул чужестранец, который по своей внешности и повадкам с полным правом мог быть назван немного странным. Мал-малехонек и притом еще из худых худой, коленки заметно вывернуты вовнутрь, а ходил он по улицам или, скорее, припрыгивал с курioзным и, можно сказать, неприятным проворством, одетый ни на кого не похоже и платье самого необычного цвета, к примеру лилового, чижиково-зеленого и т. п., которое, невзирая на его худобу, сшито было слишком узко, а в довершение всего малюсенькая круглая шляпа с блестящей стальной пряжкой сидела совсем криво, свисая на левое ухо. Причесывать и пудрить себя Малыш приказывал неизменно каждый день, и самым красивым манером, а его мягкая студенческая косичка девяностых годов была заплетена по моде, облачающей бурного гения (смотри у Лихтенберга о студенческих косицах и т. д.).² Далее, Малыш был чрезвычайный ла-

комка; он приказывал готовить ему самые вкусные блюда и ел и пил с непомерным аппетитом. А когда досыта наестся и напьется, то его рот превращался в подобие ветряной мельницы или фейерверочного колеса. Одним духом болтал он о натурфилософии, редкостных обезьянах, театре, магнетизме, новоизобретенных болванках для чепцов, поэзии, компрессорных машинах, политике и множестве различных других вещей, так что довольно скоро было примечено, сколь набит он был ученостью и мог бы довольно блистать на литературно-эстетических чаепитиях. Вообще чужеземец был чрезвычайно искусен во всем, что касалось светской беседы, и когда случалось ему пропустить лишний стаканчик муската (вино, которое он предпочитал всем прочим), то впадал в приятное расположение духа и обнаруживал на редкость откровенный немецкий нрав, хотя и уверял, что принужден кое-что скрывать, по причине Китая, где он прошлым летом увяз с одним дельцем, однако надеется ловко из него выпутаться. И хотя не желал сказать напрямик, какой он веры и кто по имени и званию, все же в благодущные минуты проскальзывали у него кое-какие важные признания, которые, впрочем, снова задавали новые неразрешимые загадки. Так, к примеру, он намекал, что еще будучи искусником в некоем художестве, доставлял себе роскошное пропитание, а потом таинственным образом достиг весьма высокого поста, который всякому доставлял куда больше, чем кусок хлеба насущного. При этом разводил руками, словно хотел снять с кого-либо мерку, каковую пантомиму он чрезвычайно любил и охотно повторял, а притом кивал с загадочной миной по направлению к Арапской улице, полагая, что, ежели пойти по ней вниз и так двигаться все вперед и вперед, то под конец выйдешь на обсаженную по обеим сторонам кустами ежевики небольшую проселочную дорогу, которая, оставив по левую руку Кохинхину,³ прямехонько выведет на большой луг, а, перейдя его, попадешь в превеликое и преизящное государство. И он то уж хорошо знает, кто там был в свое время прославленным императором и повелевал чеканить изрядные золотые монеты. А притом крошечный чужестранец побрякивал золотыми в кошельке и посматривал с эдакой хитрецой, что могло взойти на ум, уж не был ли помянутый император за лугом, чего доброго, не кто иной, как он сам.

И по правде, лицо его, обыкновенно сморщенное, как намокшая перчатка, порою разглаживалось, как солнце, так что у него во взоре появлялась некая благосклонность, которую высокие особы частенько долгое время довольствуют целые толпы бедняков, а с золотыми монетками, которых у него была уйма, тоже дело обстояло не так просто. Чеканка была такова, что ее нельзя было отнести ни к одной мыслимой рубрике иностранных денег. На одной стороне находилась надпись, которая казалась почти китайской. А на оборотной на щите, покрытом тюрбаноподобной короной, помещен крылатый ослик. А посему хозяин гостиницы не хотел принимать в уплату эти неведомые никому монеты, по-

куда Генерал-вардейн монетного двора господин Лоос не уверил его, что золото сказанных монет столь чисто, что чеканить из него деньги можно только из чванства.

А если бы и впрямь хотели принять его за путешествующего инкогнито азиатского властелина, то и тут в свою очередь наталкивались на кричащие противоречия в его повадках. Частенько имел он обыкновение высоким визгливым голосом горланить песни, не очень-то принятые в благородном обществе, как например: «Под вечер, под вечер с получки недельной», или «В Берлине, в Берлине, где липы цветут», или «Портняжке приспичило в Панков попасть» и т. д.⁵

Также влекло его с неудержимой силой посещать известные танцевальные залы, где веселится с расфуфыренными девицами. Оттуда его обыкновенно вышвыривали со стыдом и срамом, ибо, кружась, он никак не мог попасть в такт и портил фасон ячно-желтых шнурованных башмаков самой поворотливой кухарке. Но что окончательно сломило его репутацию, так это, когда он на Жандармском рынке, в базарное утро внезапно, словно обуюнный злым бесом, запустил руку в бочку с сельдями и, вытянув одну, стал поедать, приплясывая на одной ноге. Что толку, ежели он великодушно одарил разбушевавшуюся селедочницу крылатым ослом? Всяк поносил его, как беспутного человека, лишнего страха божьего. Погибла репутация, и тут не пособит ни один осел!

Спустя несколько дней после сего происшествия диковинный чужеземец также покинул Берлин. К немалому удивлению трактирщиков и всех тех, кто как раз в то время глазел из окошек, он отбыл в посеребренной сверху до низу карете, подняв пыль столбом.

А еще через несколько дней в ресторации «Отеля де Бранденбург» зашла речь об этом странном постояльце, и господин Краузе⁶ упомянул, что в письменном столе в покое, который тот занимал, найден свиток исписанной бумаги, который он сберег. По моей просьбе я заполучил этот свиток. Каково же было мое удивление, моя радость, мой восторг, когда я, едва взглянув на манускрипт, тотчас же убедился, что чужеземец был не кто иной, как прославленный, провозглашенный императором Аромата портняжка-подмастерье Абрагам Тонелли, чье достопамятное «Жизнеописание» много лет назад было предложено читающему свету в восьмом томе «Страусовых перьев». Немалого примечания достойно, что теперешние мемуары начинаются как раз с того места, где кончалось помянутое «Жизнеописание», и посему довольно точно к ним подходят. Возможно, что Тонелли в Берлине разыскивал прежнего редактора «Жизнеописания» (Людвига Тика) и не нашел. Но раз уже судьбе было угодно вручить мне его манускрипт, то я усмотрел в этом веление принять на себя его редакцию, к чему ни господин Абрагам Тонелли, ни господин Людвиг Тик не могут отнестись неблагоприятно.⁷

Итак, предлагается здесь:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
АБРАГАМА ТОНЕЛЛИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ложь — большой порок, особливо же потому, что она противна правде, которая есть большая добродетель. Также сам никогда не врал, словно мне от того была корысть. Обладаю довольно солидной совестью, которая меня иногда больно бьет по загривку. Вот и сейчас понуждает меня признаться, что наврал, когда сообщил свету, как я постарел и поседел, а все еще счастлив, и как исполнились идеальные грезы моей юности. Был, когда писал, молодым пригожим малым, с розовыми щеками, однако сильно их пудрил. Поедал чешских фазанов, да к тому же запивал мускатом. Это и почитал идеальными грезами моей юности. Хотел тем похвастать, что всего достиг, чего намеревался, и теперь счастлив до конца дней своих. Малость замутил свою старую историю. Не помышляя о Крезе⁸ и вообще превознесся как дурак, и, как уже сказано, все налгал, кроме того, что обладал отличным аппетитом, который и посейчас сохранил. Испытал, вскоре после того как наврал, большое несчастье, нужду и муки, чего ради принужден был оставить и забыть все свое великолепие. О сколь должен бренный человек склонять свою выю перед капризной суровостью беспрестанно изменчивой судьбы! О обманчивый блеск счастья, как скоро, как внезапно блекнешь ты от ядовитого дыхания злополучия! Вот так-то, а не иначе и ведется на белом свете!

2

Будучи императором Аромата, обладал прекрасной, чрезвычайно красивой императрицей. Была притом сущим ангелом и умела петь и играть, так что сердце в груди играло от радости. Также мило танцевала. Помыслил, когда миновал медовый месяц, что мне надлежит прибрать на хранение драгоценные жемчуга, о чем и попросил супругу. Отказала с насмешкою. Сдержал досаду и заметил, что супруге должно по великой любви ко мне не перечить моей воле. Но супруга вновь отрез отказала, распалилась гневом и засверкала очами. Никогда еще не видывал таких глаз у женщин и должен был помыслить о черной кошке. Три дня ходил повесив голову и однажды во время обеда, когда императрица как раз разрешила жареного молочного поросенка, который был переперчен, пролил слезы неудовольствия. Сие растрогало супругу, и она сказала, что мне надобно не принимать столь близко к сердцу утрату жемчугов, хотя бы их можно было обменять на все сокровища мира, и она будет мне их иногда давать позабавиться. Добрый, честный нрав был у нее, императрицы!





Э Т.А.ГОФМАН

КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА
СКАЗКА, ОСНОВАННАЯ
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ СОБЫТИИ

Глава первая

в которой повествуется о разных людях и обстоятельствах их жизни и приятным образом подготавливается все то удивительное и весьма диковинное, что содержится в последующих главах

То был благословенный год. На полях зеленели и великолепно наливались рожь и пшеница, ячмень и овес; крестьянские мальчишки забирались в горох, а добрая скотина в клевер. Ветви деревьев ломились от вишен, и стаи воробьев, несмотря на самые лучшие намерения — склевать все дочиста, — вынуждены были половину оставить на съедение другим. Изю дня в день все живое досыта наедалось за большим открытым столом природы. Но краше всего были овощи, на славу уродившиеся в огороде господина Дапсуля фон Цабельтау, и не диво, что фрейлейн Аннхен была вне себя от радости.

Но здесь, пожалуй, надобно сообщить, кто были господин Дапсульт фон Цабельтау и фрейлейн Аннхен.

Быть может, любезный читатель, когда-нибудь путешествие приведет тебя в ту прекрасную страну, где протекает ласковый Майн. Теплый утренний ветер обвевает благоуханным дыханием равнину, сверкающую в сиянии восходящего солнца. Тебе не сидится в тесной карете, ты оставляешь ее и бредешь через рошу и, только спускаясь в долину, увидишь деревушку. Внезапно ты сталкиваешься в роше с долговязым господином, который приковывает твое внимание своим необычным платьем. На черный как смоль парик насажена маленькая серая войлочная шляпа, и все-то на нем серое — сюртук, жилет и панталоны, серые чулки и башмаки, и даже длинная палка покрыта серым лаком. Раскачивающейся походкой идет он навстречу, устремив на тебя большие, глубоко запавшие глаза, но, по-видимому, совсем не замечает тебя.

«С добрым утром, сударь!», — кричишь ты, когда он едва не сшибает тебя с ног. Он вздрагивает словно внезапно пробудившись от глубокого сна, приподнимает небольшую шляпу и глухим плаксивым голосом отвечает:

— С добрым утром? О сударь! Какая радость, что утро прекрасно! Бедные жители Санта-Круц — только что два подземных удара, а теперь вот льет проливной дождь!

Ты недоумеваешь, любезный читатель, что надлежит ответить этому странному человеку, но пока ты размышляешь, он, промолвив: «С вашего дозволения, сударь», — уже тихо прикоснулся к твоему лбу и взглянул на твою ладонь.

— Да благословит вас небо, сударь, вам благоприятствуют звезды, — говорит он так же глухо и плаксиво, как прежде, и уходит.

Этот чудаковатый человек не кто иной, как господин Дапсуль фон Цабельтау, чье единственное наследственное владение — бедная деревушка Дапсульхейм — раскинулось в самой приветливой и отрадной местности — куда ты сейчасходишь. Ты расположен позавтракать, но в корчме хоть шаром покати. Во время ярмарки поели все припасы, и так как ты не довольствуешься одним молоком, то тебе указывают на господский дом, где фрейлейн Анна радушно угостит тебя всем, что на сей случай припасено. Ты не стеснясь пойдешь туда. Про этот господский дом ничего не скажешь, кроме того, что в нем и впрямь есть окна и двери, как некогда в замке господина барона фон Тондертонктонка из Вестфалии.¹ Но над входом красуется герб семейства фон Цабельтау, вырезанный из дерева так искусно, как то возможно лишь в Новой Зеландии. Этот дом необычен с виду оттого, что северная его сторона примыкает к ограде старинного разрушенного замка и задняя дверь дома некогда была калиткою замка, выходявшею прямо на замковый двор, посреди которого высится, до сих пор еще невредима, круглая сторожевая башня. Из тех дверей, где прибит фамильный герб, навстречу тебе выходит молодая краснощекая девушка, которую за ее ясные синие глаза и белокурые волосы можно бы назвать и впрямь красавицей: только, пожалуй, сложения она чуть-чуть грубоватого и не в меру пышного. Воплощенная приветливость, она зазывает тебя в дом и, едва приметив, что ты голоден, тотчас же угостит тебя отменным молоком, предложит изрядный ломоть хлеба с маслом, а затем копченую ветчину, которая покажется тебе приготовленной в Байонне,² да и стаканчик свекольной настойки. Притом девушка, — а она не кто иная, как фрейлейн Анна фон Цабельтау, — бойко и свободно толкует обо всем, что касается сельского хозяйства, обнаруживая отнюдь не малые познания. Внезапно невесть откуда доносится громкий грозный оклик: «Анна! Анна! Анна!». Ты в испуге, но фрейлейн Аннхен приветливо поясняет:

— Папаша вернулся с прогулки и требует завтрак к себе в кабинет.

— Требуется к себе в кабинет? — Ты изумлен.

— Да, — отвечает фрейлейн Анна, или фрейлейн Аннхен, как ее все зовут, — да, папашин кабинет там, наверху, в башне и он кричит в трубу.

И ты, любезный читатель, видишь, как Аннхен тут же отворяет узкую дверь башни и бежит наверх с тем же холодным завтраком, каким ты сам только что насытился, — с изрядной порцией ветчины и хлеба и крепкой свекольной настойки. С такой же поспешностью она возвращается к тебе и, прогуливаясь с тобою по прекрасному огороду, так много рассказывает о цветной кудрявке, рапунтике, английском турнепсе, маленькой зеленоголовке, монтрю, великом моголе, желтой принцессой головке и прочих предметах, что ты приходишь в немалое изумление, в особенности когда не знаешь, что под этими благородными наименованиями подразумевается не что иное, как салат и капуста.

Я полагаю, любезный читатель, что непродолжительный визит в Дапсульхейм был для тебя достаточен, чтобы вполне уяснить все обстоятельства, касающиеся этого дома, о коем я намерен поведать тебе различные диковинные и маловероятные вещи. Господин Дапсульт фон Цабельтау в молодости редко отлучался из замка родителей, владевших обширными поместьями. Его наставник, чудаковатый старик, обучая его чужезычным, и в особенности восточным, языкам, воспитывал в нем склонность к мистике или, лучше сказать, к таинственности. Наставник умер, оставив всю свою библиотеку по тайным наукам молодому Дапсулю, который в них и углубился. Вскоре умерли родители, и вот молодой Дапсульт отправился в дальнее странствование, а именно, — как то внушил ему наставник, — в Индию и Египет. Когда он по прошествии многих лет наконец возвратился, то нашел, что во время его отсутствия двоюродный брат управлял его имуществом с таким великим усердием, что ничего не уберег, кроме маленькой деревушки Дапсульхейм. Господин Дапсульт фон Цабельтау слишком стремился к рожденному солнцем золоту высшего мира, чтобы особенно дорожить земным. Он даже растроганно поблагодарил двоюродного брата за то, что тот сохранил ему приветливый Дапсульхейм с прекрасной высокой башней, словно нарочно построенной для занятий астрологией. Господин Дапсульт фон Цабельтау тотчас же распорядился устроить на самом верху этой башни кабинет. Заботливый двоюродный брат также уверил Дапсуля, что ему надлежит жениться. Дапсульт покорился этой необходимости и без промедления женился на девице, которую выбрал для него двоюродный брат. Жена вошла в дом с той же поспешностью, с какой затем покинула его. Она умерла, родив ему дочь. Двоюродный брат хлопотал на свадьбе, крестинах, похоронах, так что Дапсульт с высоты своей башни мало что заметил из всего происходящего, особливо же потому, что в ту пору на небе объявилась весьма диковинная хвостатая звезда в том сочетании светил, с которыми почитал себя связанным меланхолический, вечно предчувствующий недоброе Дапсульт. Дочурка росла под присмотром старой бабушки, и, к немалой ее радости, в Аннхен пробудилась решительная склонность к сель-

скому хозяйству. Фрейлейн Аннхен пришлось, как говорится, пройти все ступени. Она начала с гусятницы, потом стала младшей служанкой, потом старшею ключницей и наконец хозяйкою дома, так что изложение теории подкреплялось благотельной практикой. Она чрезвычайно любила гусей и уток, кур и голубей, коров и овец; она не оставалась равнодушной и к нежному откармливанию дородных свинок, хотя и не уподобилась некой сельской девице, что украсила белого поросенка бантом и бубенчиками, превратив его в комнатную собачонку. Но милее всего, даже милее садоводства ей был огород. С помощью бабушкиной сельскохозяйственной учености фрейлейн Аннхен, как уже приметил благосклонный читатель из беседы с нею, действительно приобрела отличные теоретические познания в разведении овошей. Когда перекапывали и засеивали огород, когда сажали рассаду, фрейлейн Аннхен не только смотрела за всеми работами, но и сама принимала деятельное в них участие. Фрейлейн Аннхен отлично орудовала заступом, чего не могли не признать за нею даже самые коварные завистники. Меж тем как господин Дапсуль фон Цабельтау предавался астрологическим наблюдениям и углублялся в различные другие мистические предметы, фрейлейн Аннхен после смерти старой бабушки как нельзя лучше вела хозяйство, и если Дапсуль стремился к небесному, то Аннхен с усердием и ловкостью пеклась о земном.

Как уже сказано, не было чуда в том, что фрейлейн Аннхен не могла нарадоваться, глядя в этом году на цветущий огород. Но пышнее и выше всех разрослась гряда моркови, обещавшая необыкновенный урожай.

— Милые мои, удивительные морковки! — не раз повторяла фрейлейн Аннхен, хлопала в ладоши, прыгала и плясала, вела себя, как дитя, получившее богатые подарки в сочельник. Правда, казалось, крошки-морковки в земле также радуются вместе с Аннхен: ибо негромкий смех, что раздавался вокруг, по-видимому, доносился из гряды. Аннхен как-то не обратила на него внимания, а побежала навстречу работнику, который с письмом в поднятой руке кричал:

— Вам письмо, фрейлейн Аннхен, Готлиб привез его из города.

Аннхен сразу узнала по адресу, что письмо не от кого другого, как от молодого господина Амандуса фон Небельштерна, обучавшегося в университете, единственного сына соседа-помещика. В ту пору, когда Амандус еще жил в отцовской деревеньке и каждый день навещивался в Дапсульхейм, он убедился, что никогда в жизни не полюбит больше никого, кроме фрейлейн Аннхен. Точно так же и фрейлейн Аннхен была уверена, что ей никогда не будет мил кто-нибудь другой, кроме Амандуса с каштановыми кудрями. А посему оба — Аннхен и Амандус — решили пожениваться, и чем скорее, тем лучше, и стать самой счастливой четой на всем свете. Раньше Амандус был веселым и простодушным юношей, в университете же он попал бог весть кому в руки; ему не только наговорили, что он необыкновенный поэтический гений, но и склонили на всякие сумас-

бродства. И он весьма преуспел во всем, так что вскоре воспарил над тем, что жалкие прозаики называют разумом и рассудком и вдобавок, заблуждаясь в своих суждениях, уверяют, будто бы то и другое превосходно уживается с самой пламенной фантазией. Итак, письмо было от молодого господина Амандуса фон Небельштерна. Обрадованная фрейлейн Аннхен тотчас распечатала и прочла:

«Небесная дева!

Видишь ли ты, чувствуешь ли, догадываешься ли сердцем, что твой Амандус, как некий цветок, обвеваемый напоенным померанцами дыханием благоуханного вечера, лежит на мураве и созерцает небо очами, исполненными благоговейной любви и трепетного обожания? Тимиан и лаванда, розы и гвоздики, желтоокие нарциссы и стыдливые фиалки сплетает он в венок. И цветы — это мысли о любви, мысли о тебе, о Анна! Но приличествует ли вдохновенным устам изъясняться черствой прозой? Внемли, о внемли, ибо лишь сонетами я могу выразить мою любовь к тебе, любить тебя.

Любовь — как солнц алкающих пыланье,
И сердце к сердцу страстию влекомо.
В слезах любви, на глади водоема
Отражено лучистых звезд блистанье.

Сладчайший плод, сквозь горечь прозябанья,
Струит свой сок — блаженство и истома!
Над далью фиолетовую — дрема,
Я растекаюсь в неге и страданье.

Грохочет пена огненного вала,
Пловец отважный, движимый любовью,
Готов нырнуть в пучину водной шири.

Вот — гиацинты близкого причала;
Вскипает сердце и исходит кровью,
А сердца кровь — сладчайший корень в мире.

О Анна, когда ты будешь читать этот сонет всех сонетов, пусть снизойдет на тебя тот небесный восторг, в коем растворилось все мое существо, когда я писал, а затем с божественным воодушевлением читал этот сонет родственным мне душам, чувствующим самое возвышенное в жизни. Помни, помни, о сладостная дева, о своем верном, беспредельно восторженном Амандусе фон Небельштерне.

P. S. Не забудь, о высшее существо, приложить к ответу два-три фунта виргинского табаку, который ты сама выращиваешь. Он славно курится и несравненно приятней порто-рико, которым чадят студенты, когда собираются на попойку».

Фрейлейн Аннхен прижала письма к губам и сказала:

— Ах, как мило, как красиво! И прелестные стишки, все так в рифму. Ах, если б я была такой умной, чтобы понять все хорошенько, но, наверное, это могут только студенты. А что тут, собственно, означает «сладчайший корень»? Ах, должно быть, он говорит о длинной красной английской моркови или даже о рапунтике, — какой милый!

В тот же день фрейлейн Аннхен принялась укладывать табак и дала деревенскому учителю двенадцать отборных гусиных перьев, чтобы он их тщательно отточил. Фрейлейн Аннхен была намерена еще сегодня засесть за ответ на драгоценное письмо. Меж тем, когда фрейлейн Аннхен убежала с огорода, ей вслед раздался довольно внятный смех, и если бы Аннхен была чуть повнимательнее, то непременно услышала бы тоненький голосок, который пищал:

— Вытащи меня, вытащи меня, я созрел, созрел, созрел!³
Но, как уже сказано, она не обратила на это внимания.

Глава вторая

что содержит первое чудесное приключение и иные достойные чтения вещи, без которых не может состояться обещанная сказка

В полдень господин Дапсуль дон Цабельтау, по обыкновению, сходил с астрономической башни вниз, чтобы вместе с дочерью скромно отобедать, — как всегда наскоро и в полной тишине, ибо Дапсуль не был охотником до разговоров. Аннхен также не досаждала ему многословными речами, ибо отлично знала: стоит папаше и впрямь разговориться, он понесет такую странную околесицу, что у нее голова пойдет кругом. Но нынче ее мысли так всполошились цвением огорода и письмом любимого Амандуса, что она беспрестанно болтала то об одном, то о другом вперемежку. Наконец господин Дапсуль фон Цабельтау выронил нож и вилку, зажал уши ладонями и вскричал:

— О, суетное, вздорное, бестолковое пустословие!

Но как только фрейлейн Аннхен испуганно смолкла, он заговорил свойственным ему протяжным, плаксивым голосом:

— А что касается до овощей, любезная дочь, то мне давно ведомо, что в нынешнем году взаимное действие созвездий особенно благоприятствует плодам такого рода, и сыны земли будут вкушать капусту, редиску и кочанный салат, дабы умножалась земная материя и они, подобно хорошо вылепленному горшку, могли бы выдержать пламень мирового духа. Гномическое начало⁴ противоборствует воинственной саламандре, и я рад тому, что буду есть пастернак, который ты отменно готовишь. Касательно же молодого господина Амандуса фон Небельштерна, то у меня нет и малейшего возражения против того, чтобы ты вышла за него

замуж, как только он возвратится из университета. Пошли только ко мне наверх Готлиба сказать, когда ты с женихом пойдешь под венец, чтобы я мог проводить вас до церкви. — Господин Дапсуль умолк на мгновение и, не глядя на зардевшуюся от радости Аннхен, продолжал, улыбаясь и постукивая вилкою по стакану, — улыбка у него всегда сопровождалась таким постукиванием, хотя сама по себе эта привычка обнаруживалась у него довольно редко. Итак, он продолжал: «Твой Амандус — тот, что должен и принужден быть любимым, я разумею герундий,⁵ и я хочу тебе признаться, любезная Аннхен, что давным-давно составил гороскоп этому герундию. Почти все сочетания звезд довольно благоприятны. В восходящем узле стоит Юпитер, который взирает на Венеру в шестичасном аспекте. Его пересекает путь Сириуса, и как раз в точке пересечения таится большая опасность, от которой он спасет невесту. Сама опасность непостижима, ибо тут вступает какое-то чуждое существо, неподвластное астрологической науке. Впрочем, известно, что то особенное психическое состояние, которое принято называть дурью или сумасбродством, поможет Амандусу осуществить означенное спасение. О дочь моя, — тут господин Дапсуль снова впал в свой обычный плаксивый тон, — о дочь моя, пусть никакая зловещая сила, что коварно скрывается от моих провидящих очей, не заградит тебе внезапно пути, дабы молодой господин Амандус фон Небельштерн не был принужден спасать тебя от какой-нибудь другой опасности, кроме опасности остаться старой девой!». — Дапсуль несколько раз глубоко вздохнул и затем продолжал: «Но вслед за этой опасностью обрывается путь Сириуса, и Венера и Юпитер, до того разлученные, соединяются примиренные».

Уж много лет господин Дапсуль фон Цабельтау не говорил так много, как сегодня. В полном изнеможении он встал из-за стола и снова поднялся к себе на башню.

На другой день ранним утром Аннхен управилась с ответом господину фон Небельштерну. Письмо гласило:

«Возлюбленный Амандус!

Ты и не поверишь, какую радость опять доставило мне твое письмо. Я передала о том папе, и он обещал проводить нас в церковь к венцу. Устрой только, чтобы поскорее вернуться из университета. Ах, если бы я могла разобраться в твоих премилых стишках, что так славно рифмуются! Когда я сама читаю их себе вслух, то они звучат так чудесно, и мне кажется, что я все понимаю, а потом все пропадает, путается и разлетается, и мне сдается, что я читала одни слова, ничем не связанные между собой. Наш деревенский учитель полагает, что так и надлежит быть и что таков именно новый возвышенный язык, но я — увьи! — я только глупая простушка! Напиши, нельзя ли мне на время записаться в студенты, только так, чтоб не запустить хозяйство? Пожалуй, это невозможно? Зато как только мы станем мужем и женою, то и мне что-нибудь да пере-

падет от твоей учености и твоего нового, возвышенного языка. Посылаю тебе, сердечно любимый Амандус, виргинский табак. Я доверху набила им коробку из-под шляп, сколько поместилось, а новую соломенную шляпку покамест надела на голову Карлу Великому, который стоит в нашей гостиной, хотя у него и нет ног, — ты ведь знаешь, это всего только бюст. Не подымай меня на смех, Амандус, а я вот тоже написала стишки, и они славно рифмуются. Напиши мне только, как это получается, что, не будучи ученым, знаешь, что выходит в рифму. А теперь послушай-ка:

Люблю тебя, хотя мы чужие,
Итак, хочу стать твоей женой.
Свод неба очень голубой,
А вечером звезды золотые.
А потому ты вечно
Любить меня должен сердечно,
Шлю тебе виргинский табак,
Кури на здоровье, как дружбы знак!

Будь пока доволен моими стараниями; когда я постигну возвышенный язык, постараюсь писать лучше. В нынешнем году салат латук уродился чрезвычайно, а карликовая фасоль прекрасно всходит, но моего таксика, малютку Фельдмана, большой гусак вчера коварно ущипнул за ногу. Итак, на этом свете ничто не совершенно. Мысленно целую тебя сто раз, мой милый Амандус, твоя верная невеста Анна фон Цабельтау.

Р. S. Я писала в большой спешке, отчего некоторые буквы вышли искривив и вкось.

Р. S. Но ты не пеняй на меня, ведь я хоть и пишу криво, да прямо душой и пребываю тебе верна и всегда твоя Анна.

Р. S. Вот те на! я было совсем запаматовала! Ах я растеряха! Папа тебе сердечно кланяется и велит передать, что ты именно тот, кто должен и принужден и когда-нибудь спасет меня от великой опасности. И я страх как этому рада и еще раз остаюсь твоей любящей, неизменно верной Анной фон Цабельтау».

У фрейлейн Аннхен словно гора с плеч свалилась, когда она закончила письмо, над которым немало потрудилась. Но на душе у нее стало весело и легко только тогда, когда она смастерила конверт и запечатала его, не обжегши пальцев и бумаги, довольно явственно вывела кистью на табачном ящике А. ф. Н. и отдала Готлибу, чтобы он снес его вместе с письмом в город, на почту. Позаботившись о домашней птице, фрейлейн Аннхен поспешила на свой любезный огород. Дойдя до гряд с морковью, она решила, что настало время подумать о городских лакомках и копать на продажу первую морковь. Кликнув служанку, чтобы подсобила в работе, фрейлейн Аннхен осторожно зашла на середину гряды и ухватила высокий пучок ботвы. Но когда она потащила, раздался странный звук. Не следует думать, что это походило на тот ужасный визг и вой, какой слышится, когда выдергивают из земли корень альрауна,⁶ отчего

разрывается человеческое сердце. Нет, звуки, доносившиеся из земли, походили на тонкий, радостный смех. Все же фрейлейн Аннхен выпустила лучок из руки и вскричала, слегка напуганная:

— Ай, да кто же это там смеется надо мною?

Но едва только все стихло, она еще раз ухватилась за зеленый пучок, который, казалось, был выше и пышнее прочих, и, невзирая на смех, снова раздавшийся возле нее, смело вытащила из земли прекраснейшую и нежнейшую морковку. Но едва фрейлейн Аннхен взглянула на морковь, как закричала от радостного испуга. Служанка подскочила к ней и, увидев дивное чудо, закричала столь же громко, как и фрейлейн Аннхен. На моркови был плотно надет великолепный золотой перстень с искрящимся топазом.

— Глядите, — воскликнула служанка, — да ведь это вам, фрейлейн Аннхен; это — обручальное кольцо! Наденьте его скорее!

— Какой вздор, — ответила фрейлейн Аннхен, — обручальное кольцо мне должен преподнести господин Амандус фон Небельштерн, а не какая-то морковка!

И чем дальше фрейлейн Аннхен любовалась перстнем, тем больше он ей нравился. А перстень поистине был такой тонкой, изящной работы, что, казалось, превосходил все, что когда-либо производило человеческое искусство. Перстень состоял из несчетного множества крохотных фигурок, сплетенных в разнообразие группы, сперва едва видимые простым глазом; но затем, когда внимательно в них всматриваешься, они, казалось, начинают расти, оживают и пляшут в легких хороводах. А драгоценный камень горел необычайным огнем, и даже в «Зеленом своде»⁷ в Дрездене едва ли можно было найти подобный топаз.

— Кто знает, — говорила служанка, — как долго прекрасный перстень пролежал глубоко в земле, и вот наконец заступ поднял его наверх, и сквозь него проросла морковь.

Тут фрейлейн Аннхен сняла с моркови перстень, и — странно! — морковь выскользнула у нее из рук и пропала в земле, но служанка и фрейлейн Аннхен почти совсем не обратили на это внимания, — они были погружены в созерцание великолепного перстня, который фрейлейн Аннхен, не задумываясь, надела на мизинец правой руки. Сделав это, она тотчас же ощутила во всем пальце колющую боль, которая прекратилась, едва Аннхен ее почувствовала.

За обедом, само собой разумеется, она поведала господину Дапсулю фон Цабельтау о диковинном приключении на морковной грядке и показала прекрасный перстень, снятый с моркови. Она хотела снять перстень, чтобы отец мог лучше рассмотреть его. Но тут же снова почувствовала колющую боль, как и тогда, когда надевала перстень, и эта боль не унималась все время, пока она пыталась снять перстень, и в конце концов стала такой нестерпимой, что ей пришлось отступить от своего намерения. Господин Дапсуль с напряженным вниманием рассматривал пер-

стеня на руке Аннхен, велел ей, вытянув палец, описать различные круги, обратившись ко всем четырем странам света, после чего погрузился в глубокое раздумье и, не промолвив ни единого слова, отправился на башню. Фрейлейн Аннхен слышала, как ее папаша, подымаясь по лестнице, тяжело вздыхал и охал.

На следующее утро, когда фрейлейн Аннхен гонялась по двору за большим петухом, который творил всякие бесчинства, а в особенности задира голубей, господин Дапсульт фон Цабельтау вдруг так ужасно зарыдал в разговорную трубу, что Аннхен вся затрепетала и, сложив руку горстью, крикнула ему:

— Почему это вы, любезный папаша, так немилосердно завываете? Вы всполошите всю мою птицу!

На что господин Дапсульт прокричал в разговорную трубу:

— Анна, дочь моя Анна, немедленно подымись ко мне!

Фрейлейн Аннхен чрезвычайно удивилась такому приказанию, ибо папаша никогда еще не звал ее на башню, а, напротив, тщательно запирали за собой дверь. Она порядком струхнула, покамест взбиралась по узкой витой лестнице и отворяла тяжелую дверь, что вела в единственную комнату башни. Господин Дапсульт фон Цабельтау сидел в большом кресле необыкновенного вида, весь обложенный всяческими диковинными инструментами и запыленными фолиантами. Перед ним стояла подставка с рамой, на которой был натянута лист бумаги, исчерченный различными линиями. На голове господина Дапсуля была высокая остроконечная серая шапка, а на нем самом — широкий серый коломанковый хитон, а с подбородка свисала привязанная длинная белая борода, так что он и впрямь походил на волшебника. Из-за этой-то поддельной бороды фрейлейн Аннхен сперва не узнала папашу и боязливо озиралась по сторонам в надежде, не стоит ли он где-нибудь в углу. Когда же фрейлейн Аннхен убедилась, что бородатый человек на самом деле ее папочка, то от всей души рассмеялась и спросила: не наступили ли уже святки и не собрался ли папочка представлять работника Рупрехта?⁸

Оставив без всякого внимания ее слова, господин Дапсульт фон Цабельтау взял в руки маленькую железную палочку, притронулся ко лбу Аннхен и затем несколько раз провел по ее правой руке от плеча до кончика безымянного пальца, после чего ей пришлось усестись в кресло, с которого встал господин Дапсульт, и положить палец, с надетым на него перстнем, на бумагу в раме так, чтобы топаз оказался в центре, куда сходились все линии. В тот же миг из драгоценного камня во все стороны поились желтые лучи, так что весь лист стал бурым. Тут линии затрепетали, пришли в движение, и, казалось, маленькие человечки, спрыгнув с перстня, весело засуетились по всему листу. Между тем господин Дапсульт не сводя глаз с листа, схватил тонкую металлическую пластинку и обеими руками поднял вверх, намереваясь прижать к бумаге; но в тот же миг он поскользнулся на гладком каменном полу и пребольно

хлопнулся задом, а металлическая пластинка, которую он инстинктивно выпустил из рук, чтобы во возможности удержаться от падения и убедить копчик, со звоном упала на пол. С тихим «ах!» фрейлейн Аннхен очнулась от странного полузабытья, в которое была погружена. Господин Дапсуль с трудом поднялся, снова надел серую, похожую на сахарную голову шапку, оправил поддельную бороду и уселся против фрейлейн Аннхен на фолианты, нагроможденные друг на друга.

— Дочь моя, — начал он, — дочь моя Анна, каково было у тебя сейчас на душе? О чем думала? Что чувствовала? Какие образы в глубине твоего существа открылись перед твоими духовными очами?

— Ах, — возразила фрейлейн Аннхен, — мне было так отрадно на душе, так отрадно, как никогда. Потом я вспомнила господина Амандуса фон Небельштерна. Я отчетливо видела его, только был он куда красивее, чем обыкновенно, и курил трубку виргинского табаку, который я ему послала, и все это было ему весьма к лицу. Потом мне вдруг страшно захотелось поесть молодой моркови и жареной колбасы, и я была в восхищении, когда блюдо очутилось передо мною. И только собралась отведать, как, словно получив болезненный толчок, пробудилась от грез.

— Амандус фон Небельштерн... виргинский табак... морковь... жареная колбаса! — задумчиво пробормотал господин Дапсуль фон Цабельтау и кивнул дочери, собиравшейся было удалиться, чтобы она осталась.

— Счастливое, простодушное дитя, — заговорил он более плаксивым, чем когда бы то ни было, тоном, — ибо ты не посвящена в глубокие таинства вселенной и не знаешь о грозных опасностях, обступивших тебя. Тебе неведома астральная наук священной Кабалы.⁹ Правда, по этой причине ты никогда не приобщишься к небесной радости мудрецов, кои, достигнув высшей ступени, не смеют ни пить, ни есть, кроме как для утех,¹⁰ и коим вовсе чуждо все человеческое; но зато тебе неведом и страх самого восхождения на эту ступень, как твоему несчастному отцу, коего еще часто буруевает земная суета, и то, что с трудом познает он, вызывает один только страх и ужас; все еще следуя насущной человеческой потребности, он принужден есть и пить и вообще не отступать от земного. Знай же, любезное, счастливое своим неведением дитя, что недра земли, воздух, вода и огонь наполнены существами, по природе своей высшими, и все же более ограниченными, нежели люди. И как будто нет надобности растолковывать тебе, моя глупышка, свойства природы гномов, саламандр, сильфид и ундиин, — тебе не уразуметь этого. Но чтобы дать тебе понятие какая опасность, быть может, грозит тебе, довольно сказать, что эти духи непрестанно ищут брачного союза с людьми; и так как им доподлинно известно, что люди обычно гнушаются вступать в такие союзы, то помянутые духи употребляют всяческие хитроумные средства, чтобы завлечь людей, коих они почтили своим благоволением. Ветвь, цветок, стакан воды, искра или еще что-нибудь, кажущееся совсем

незначительным, — вот чем пользуются они для достижения своей цели. Верно и то, что такие союзы нередко бывают весьма благополучны. Так, некогда два священника, о которых повествует князь Мирандола,¹¹ прожили целых сорок лет в счастливом браке с одним из таких духов. Верно и то, что величайшие мудрецы рождались от союза человека со стихийным духом. Так, великий Зороастр¹² был сыном саламандра Оромазиса, также великий Аполлоний,¹³ мудрый Мерлин,¹⁴ храбрый граф фон Клеве,¹⁵ великий кабалист Бенсира¹⁶ были достойными плодами подобных браков, и прекрасная Мелузина,¹⁷ по свидетельству Парацельза, не кто иная, как сильфида. Но, невзирая на то, опасность подобного союза весьма велика, ибо, не говоря уже о том, что стихийные духи требуют чтобы лучезарное сияние глубочайшей мудрости озарило тех, кого они почтили своим благоволением, сами они крайне чувствительны и жестоко мстят за всякую обиду.¹⁸ Однажды случилось, что сильфида, соединенная браком с неким философом, когда тот беседовал с друзьями об одной прекрасной женщине, и, быть может, слишком пылко, — тотчас показала в воздухе свою белоснежную точеную ножку, как бы желая убедить его друзей в своей красоте, и затем тут же на месте умертвила беднягу философа. Но — ах! — зачем говорить о других, почему не сказать о самом себе? Я знаю — вот уже двенадцать лет меня любит одна сильфида, но даже если она пуглива и робка, то и меня терзает мысль об опасности привязать ее к себе кабалистическими средствами, ибо я сам еще слишком зависим от земных потребностей, а потому лишен надлежащей мудрости. Каждое утро я принимаю решение поститься и благополучно пропускаю завтрак, но когда наступает час обеда, — о Анна, дочь моя Анна! — ты ведь знаешь, как ужасно я обжираться! — Последние слова господин Дапсуль фон Цабельтау произнес каким-то завывающим тоном, и горячие слезы оросили его сухие, впалые щеки. Потом он продолжал спокойнее: «Но я придерживаюсь самого тонкого обращения и изысканной учтивости по отношению к благоволящему ко мне стихийному духу. Я никогда не осмелюсь выкурить трубку табаку без надлежащих кабалистических предосторожностей, ибо не ведаю, угоден ли нежному духу воздушной стихии этот сорт табаку и не чувствителен ли дух к осквернению своей субстанции, ибо те, кто курят, „охотничий кнастер“ или „да процветает Саксония“,¹⁹ никогда не устаиваются мудрости и любви сильфид. Точно так же я действую, когда вырезают палку из орешника, срываю цветы, ем фрукты или высекаю огонь; все мои старания направлены к тому, чтобы не испортить дела, задев какого-нибудь стихийного духа. И все же ты отлично видишь вон ту ореховую скорлупу; поскользнувшись о нее, я упал навзничь и испортил опыт, который открыл бы мне всю тайну перстня. Не припомню, чтобы когда-нибудь я ел орехи в этом посвященном лишь науке покое (теперь тебе понятно, почему я завтракаю на лестнице), и тем очевидней, что в этой скорлупе укрылся маленький гном, быть может для того, чтобы

побывать вольнослушателем на моих занятиях и поглядеть мои опыты. Ибо стихийные духи любят человеческие науки, в особенности те, что непосвященные люди называют если не вздорными и сумасбродными, то превосходящими человеческое разумение и оттого опасными. Вот почему эти духи часто присутствуют во время божественных магнетических операций. В особенности гномы не прочь подурачиться над человеком и — магнетизеру, не достигшему той степени мудрости, что я описывал в начале, и слишком погрязшему в земных нуждах, — подсовывают влюбленную земную девушку в то мгновенье, когда он, просветленный совершенной радостью, уверен, что обнимал сильфиду. И вот, когда я наступил на голову маленькому студенту, он рассердился и сбил меня с ног. Но, видимо, более важная причина заставила гнома воспрепятствовать мне расшифровать тайну перстня. Анна! Дочь моя Анна! внемли — я разведал, что некий гном почтил тебя своим благоволением, и, ежели судить по свойству перстня, гном богат, благороден и притом весьма тонко образован. Но, бесценная Анна, любимая, простосердечная глупышка, что с тобою будет? Как не подвергая себя страшной опасности, вступишь ты в союз с подобным стихийным духом? Ежели бы ты читала Кассиодора Рема,²⁰ то, верно, могла бы мне возразить, что, согласно его правдивому рассказу, знаменитая Магдалена де ла Круа, аббатиса испанского монастыря в Кордове тридцать лет наслаждалась супружеством с маленьким гномом, и то же случилось с неким сильфом и юной Гертрудой,²¹ монахиней назаретского монастыря близ Кельна; но подумай об ученых занятиях этих духовных особ и о своих собственных. Какая разница! Вместо того чтобы черпать мудрость из книг, ты зачастую кормишь кур, гусей, уток и других невыносимых для всякого кабалиста животных; вместо того чтобы наблюдать небо, следить за течением созвездий, ты копаешься в земле; вместо того чтобы в искусных начертаниях гороскопа искать приметы будущего, ты сбиваешь масло и квасишь капусту для презренных зимних надобностей, хотя и сам я не люблю обходиться без этой снеди. Скажи: разве может все это надолго полюбить тонкому, чувствительному, философическому стихийному духу? Ибо — о Анна! — благодаря тебе процветает Дапсульхейм, и от этого земного призвания никак не может отрешиться твой дух. И все-таки этот перстень, даже причинив тебе внезапную резкую боль, наполнил тебя радостным и безрассудным весельем. Ради твоего благополучия я вознамерился отнять силу у перстня с помощью проделанной мною операции и тем освободить от гнома, который преследует тебя. Это не удалось из-за коварной проделки маленького студента, пританцвавшегося в ореховой скорлупе.²² Однако же я как никогда исполнен решимости побороть стихийного духа! Ты — дитя мое, правда, рожденное не от сильфиды, саламандры или иного стихийного духа, но от бедной деревенской девушки из самой лучшей семьи, которой соседи, не боясь бога, по причине ее идиллического нрава дали в насмешку прозвище „козлина барышня“, ибо она изо дня

в день пасла на зеленом холме маленькое стадо пригожих белых козочек, а я, влюбленный дуралей, в ту пору играл на свирели в своей башне. Но ты все-таки моя дочь, моя кровь! Я спасу тебя: вот этот мистический напильник освободит тебя от погибельного перстня!».

Сказав это, господин Дапсуль фон Цабельтау взял крохотный напильник и принялся подпиливать перстень. Но едва он провел несколько раз по перстню, как фрейлейн Аннхен громко вскрикнула от боли. «Папаша, папаша, да ведь вы мне отпилите палец!», — кричала она, и впрямь из-под перстня потекла густая темная кровь. Тут господин Дапсуль, выпустив из рук напильник, почти без памяти упал в кресло и завопил в полном отчаянии:

— О-о-о! Я погиб безвозвратно. Разгневанный гном, может быть, без промедления явится сюда и перегрызет мне горло, если только сильфида не спасет меня. О Анна, Анна! Уходи! Беги!

Фрейлейн Аннхен, которой уже давно хотелось быть подальше от диковинных речей папаша, сбежала вниз с быстротою ветра.

Глава третья

в которой сообщается о прибытии в Дапсульхейм некоего примечательного человека и о том, что произошло в дальнейшем

Обливаясь слезами, господин Дапсуль фон Цабельтау обнял дочь и собрался подняться на башню, где он в беспрестанном страхе все время ожидал посещения разгневанного гнома. Вдруг послышались громкие, веселые звуки рога, и на двор прискакал маленький всадник, довольно странный и потешный с виду. Буланый конь был совсем не велик ростом, но весьма строен, вот почему и малыш, несмотря на свою уродливо раздутую голову, вовсе не казался карликом и достаточно возвышался над головой лошади. Это следовало приписать только его длинному туловищу, ибо ножки, свисавшие с седла, были едва приметны, так что не шли в счет. Впрочем, малыш был в прекрасном платье золотистого атласа, такого же цвета высокой шапке с большим зеленым, как трава, султаном и в отлично налакированных ботфортах красного дерева. С пронзительным «прррррр!» всадник остановился подле господина фон Цабельтау. Казалось, он собирался спешиться,²³ но вдруг мгновенно нырнул под брюхо коня и, вынырнув с противоположной стороны, подпрыгнул два-три раза кряду на двенадцать локтей вверх, перекувырнувшись на каждом локте по шести раз, покамест не встал головою на седельную шишку. В такой позиции он галопировал, носился взад и вперед, сворачивал в сторону, делал всевозможные диковинные вольты и повороты, меж тем как ножки его отбивали в воздухе трохеи, пиррихии, дактили и так далее.

Когда наконец искусный гимнаст и ловкий наездник остановился и отвесил вежливый поклон, на земле прочитали следующую надпись: «Сердечный привет вам, высокоуважаемый господин Дапсуль фон Цабельтау, равно как и госпоже вашей дочери». Гарцуя на лошади, он выездил эти слова изящной латинской прописью. Затем малыш спрыгнул с коня, три раза прошелся колесом и объявил, что ему поручено засвидетельствовать почтение господину Дапсулю фон Цабельтау от имени его милостивого господина барона Порфирио фон Океродастес, названного Кордуаншпиц, и ежели господину Дапсулю фон Цабельтау будет угодно, то господин барон будет рад на несколько дней завернуть к нему, ибо надеется, что в скором времени они станут ближайшими соседями.

Господин Дапсуль фон Цабельтау был ни жив ни мертв. Бледный и оцепенелый, стоял он прижавшись к дочери. Едва только его дрожащие уста медленно пролепетали: «Меня... весьма... обрадует...», — как маленький всадник, соблюдая те же церемонии, с какими прибыл, скрылся с быстротою молнии.

— Ах, дочь моя, — завопил, всхлипывая, господин Дапсуль фон Цабельтау, — ах, дочь моя, бедная, злосчастная дочь, теперь уж нет сомнения — это гном, что задумал похитить тебя и свернуть мне шею! Но мы употребим против него все наше мужество, каким еще обладаем! Быть может, еще удастся умиловить разгневанного стихийного духа, нам только надобно будет как можно деликатнее обходиться с ним. Дорогое дитя, я сейчас прочитаю тебе несколько глав из Лактанция или Фомы Аквинского об обхождении со стихийными духами, чтобы ты не попала впросак.

Но прежде чем господин Дапсуль фон Цабельтау успел достать Лактанция,²⁴ Фому Аквинского²⁵ или другого какого-нибудь стихийного Книгге,²⁶ вблизи послышалась музыка, которую, пожалуй, можно было сравнить с той, какой мало-мальски музыкальные дети увеселяют себя на святках. По дороге растянулся длинный блестящий поезд. Впереди на маленьких буланых лошадках скакали всадники, — было их шестьдесят, а то и семьдесят, — все, как один, одетые подобно первому послу в Дапсульхейм — в таком же желтом платье, остроконечных шапках и лакированных ботфортах красного дерева. За ними следовала запряженная восьмеркой буланых лошадей карета из чистейшего хрусталя, а за нею около сорока других менее великолепных, заложенных то шестеркой, то четверкой лошадей. Множество пажей, скороходов и других слуг в блестящих ливреях сновали кругом, так что все являло зрелище столь же веселое, как и причудливое. Господин Дапсуль фон Цабельтау погрузился в унылое изумление. Фрейлейн Аннхен, до сих пор и не подозревавшая о том, что на земле существуют такие милые, прелестные существа, как эти лошадки и человечки, была вне себя от радости и позабыла обо всем, даже позабыла закрыть рот, который широко раскрыла, испутив радостное восклицание.

Заложенная восьмеркой карета остановилась подле господина Дапсуля фон Цабельтау. Всадники соскочили с лошадей, тотчас подоспели паж и слуги, отворили дверцу кареты, и тот, кого прислужники вынесли на руках, был сам господин барон Порфирию фон Океродастес, по прозвищу Кордуаншпиц. А что касается статности, то господина барона уж никак нельзя было сравнить ни с Аполлоном Бельведерским,²⁷ ни даже с Умирающим гладиатором.²⁸ Помимо того, что в нем не было трех полных футов, одна треть его тела досталась непомерно большой и раздутой голове, которую надлежащим образом украшал отменно длинный, изогнутый нос, равно как и большие, выпученные, круглые, как плоски, глаза. Туловище также было слишком длинным, а потому на долю ножек пришлось всего лишь четыре дюйма. Но эти четыре дюйма были употреблены с пользой, ибо ножки барона сами по себе были столь изящны, как это только можно вообразить. Правда, с виду они казались слишком слабыми, чтобы выдержать тяжесть достойной головы; у барона была нетвердая походка, порой он летел кубарем, но тотчас же вставал на ноги, словно ванька-встанька, так что кувыркания эти скорее напоминали очаровательные коленца какого-нибудь танца. Барон носил узкое, плотно облегающее стан платье из блестящей золотой парчи, на нем была шапочка, похожая на корону, с невероятным султаном из травянисто-зеленых перьев. Едва став на ноги, барон бросился к господину Дапсулю фон Цабельтау, схватил его за руки, вскарабкался до самой шеи, повис на ней и закричал голосом более зычным, чем можно было предположить, глядя на его хрупкое телосложение:

— О мой Дапсуль фон Цабельтау, мой дорогой, горячо любимый отец! — Затем барон с той же ловкостью и проворством соскочил с шеи господина Дапсуля фон Цабельтау, прыгнул или, вернее, ринулся к фрейлейн Аннхен, схватил ее за руку, на которой был перстень, и, громко причмокивая, покрыв ее поцелуями и так же зычно крикнул:

— О прекраснейшая девица, Анна фон Цабельтау, возлюбленная невеста моя!

Тут барон ударил в ладоши, и тотчас загремела пронзительная, шумная детская музыка, и более сотни крохотных господ, вышедших из карет и соскочивших с лошадей, прошлись колесом, потом стали на ноги, отбивая, как тот первый гонец затейливые трохеи, спондеи, ямбы, пиррихии, анапесты, трибрахии, бакхии, антибакхии, хориямбы и дактили,²⁹ так что любо было смотреть. Во время этой потехи фрейлейн Аннхен, оправившись от чрезвычайного испуга, вызванного приветствием маленького барона, погрузилась во всякого рода хозяйственные размышления, имевшие вполне достаточное основание. «Как бы, — думала она, — разместить весь этот народец в нашем маленьком доме? Даже если я по крайности отведу большой сарай для прислуги, то хватит ли и там места? А куда девать благородных господ, которые прибыли в каретах и, верно,

привыкли спать в прекрасных покоях, на мягком ложе? Ежели даже я выведу из конюшни обеих рабочих лошадей и буду так безжалостна, что выгоню на пастбище старого хромого Рыжика, то куда поставить всех этих маленьких лошадок, которых нагнал сюда уродливый барон? А тут еще сорок одна карета! Вот еще беда несносная! Ах, боже ты мой! Да хватит ли всего годового запаса, чтобы прокормить эту ораву малышей хотя бы два дня?». Последняя забота была самой страшной, фрейлейн Аннхен уже видела, как все съедено: свежие овощи, стадо овец, птица, солонина; даже свекольная водка и та выпита; так что у Аннхен навернулись на глаза слезы. Ей показалось, что барон Кордуаншпиц построил ей наглую, злорадную рожу, и это придало ей мужества, в то время как люди расплясались вовсю, сухо пояснить барону, что, как ни отраднo его посещение ее отцу, все же нельзя и думать о том, чтобы пробыть в Дапсульхейме более двух часов, ибо здесь нет ни места, ни всего того, что потребно для приема и надлежащего угощения столь знатного и богатого господина и его многочисленной свиты. Но вдруг маленький Кордуаншпиц принял вид столь сладостный и нежный, словно марципановый пряник; закрыв глаза, он прижал к устам довольно шероховатую и не особенно белоснежную руку фрейлейн Аннхен и стал уверять, что у него и в мыслях не было причинить хоть малейшее неудобство милому папаше и прелестной дочери. Он взял с собою все необходимое для кухни и погреба, что же касается жилища, то он просит только отвести ему клочок земли под открытым небом, там его люди разобьют обычный походный шатер, где он и поместится со всей своей челядью и даже со всеми лошадьми.

Слова барона Порфирио фон Океродастес так пришлись по душе фрейлейн Аннхен, что она, желая показать, что ей не жаль расстаться со своими лакомствами, решила угостить малыша пышками, уцелевшими от храмового праздника и стаканчиком свекольной водки, ежели он не предпочтет полынню, которую старшая служанка привезла из города и рекомендовала как укрепляющее желудок средство. Но тут Кордуаншпиц добавил, что местом для устройства дворца он избрал огород, и радости Аннхен пришел конец! Меж тем как слуги барона, справляя прибытие своего господина в Дапсульхейм, продолжали олимпийские игры и то, ударяясь с разбега головой в острое брюхо, кувыркались друг через друга, то делали различные прыжки, то играли в кегли, причем сами изображали шары, кегли, игроков и т. д., — маленький барон Порфирио фон Океродастес и господин Дапсуль фон Цабельтау углубились в беседу, которая, по-видимому, становилась все серьезнее, пока рука об руку не удалились на астрономическую башню.

Фрейлейн Аннхен, объятая страхом и трепетом, поспешила на огород, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Старшая служанка уже стояла там недвижима, с разинутым ртом и остановившимся взором, словно обращенная в соляной столп жена Лота. Фрейлейн Аннхен также

остолбенела. Наконец обе разом закричали так, что разнеслось далеко вокруг:

— Ах, господи Иисусе, вот беда-то!

Они нашли цветущий огород превращенным в пустыню. Уже не зеленела там ботва, не цвела капуста: то был заброшенный пустырь.

— Нет, — вскричала разъяренная служанка, — это уж, наверно, наделали проклятые маленькие твари, которые только что объявились. Они приехали в каретах? Должно быть, разыгрывают знатных господ? Ха-ха! Это кобольды, поверьте мне, фрейлейн Аннхен, не иначе как некрещеное ведьмовское отродье, и будь у меня с собою разрыв-трава, то вы бы нагляделись чудес! Пусть только пожалуют маленькие бестии; я перебую их вот этим заступом! — Тут старшая служанка принялась размахивать над головой грозным орудием, а фрейлейн Аннхен громко плакала.

Меж тем, отвешивая вежливые поклоны и расточая умильные и любезные мины, приблизились к ним четыре кавалера из свиты Кордуаншпица; они выглядели столь необычайно, что служанка, вместо того чтоб тотчас пустить в ход заступ, медленно выпустила его из рук, а фрейлейн Аннхен перестала плакать.

Кавалеры представились ближайшими друзьями господина барона Порфирия фон Океродастес, прозванного Кордуаншпиц, и, как по крайней мере символически означало их платье, принадлежали к четырем различным нациям, — они называли себя: пан Капустович из Польши, герр фон Шварцретгих из Померании, синьор ди Брокколи из Италии, мосье де Рокамболь из Франции.³⁰ В весьма благозвучных выражениях они заверили, что тотчас придут рабочие и к величайшему удовольствию прекраснейшей фрейлейн с возможной скоростью поставят в ее присутствии красивейший дворец из чистого шелка.

— Что мне дворец из шелка! — вскричала, громко заплавав, в глубочайшей скорби фрейлейн Аннхен. — Какое мне вообще дело до вашего барона Кордуаншпица, когда вы, недобрые люди, лишили меня превосходных овощей и отняли всю мою радость! — Но вежливые господа утешали фрейлейн Аннхен и уверяли ее, что они совсем неповинны в опустошении огорода и что он, напротив того, вскоре опять разрастется, зацветет и зазеленеет так, каким фрейлейн Аннхен, да и вообще никто в целом свете еще никогда его не видывал.

Маленькие строители в самом деле явились, и на огороде поднялась такая бешеная суeta и кутерьма, что фрейлейн Аннхен вместе со служанкой в испуге бросились за кусты, где остановились посмотреть, что последует дальше.

В несколько минут, совершенно непостижимым для них образом, вырос на их глазах высокий великолепный шатер из золотистой ткани, убранный пестрыми венками и перьями; он покрыл собою всю землю, за-

нятую большим огородом, так что веревки его протянулись через всю деревню до ближнего леса, где были прикреплены к стволам старых деревьев.

Едва успели разбить шатер, как барон Порфирио фон Океродастес и господин Дапсуль фон Цабельтау сошли вниз с астрономической башни. После долгих объятий барон сел в карету, заложенную восьмеркой лошадей, и в том же порядке, как прибыл в Дапсульхейм, въехал вместе со своей свитой в шелковый дворец; ворота его, приняв последнего человека, тотчас захлопнулись.

Никогда еще фрейлейн Аннхен не видывала папашу таким. На лице его не осталось и малейшего следа печали, которая раньше не покидала его; казалось, он улыбался, и во взоре его поистине было какое-то просветление, что обыкновенно говорит о большом счастье, неожиданно выпавшем человеку. Господин Дапсуль фон Цабельтау молча взял фрейлейн Аннхен за руку, ввел ее в дом, обнял три раза и наконец воскликнул:

— Счастливая Анна! Счастливейшее дитя! Счастливый отец! О дочь моя, все заботы, все скорби, все печали теперь миновали! Тебе выпал жребий, который не так легко достается в удел смертным. Знай, барон Порфирио фон Океродастес, прозванный Кордуаншпиц, вовсе не враждебный гном, хотя и происходит от подобного стихийного духа, которому, однако, удалось очистить свою высшую природу учением саламандра Оромазиса. Но из очистительного огня возникла любовь к смертной женщине, с которой он сочетался и стал родоначальником знатнейшей семьи, чье имя когда-либо украшало пергамент. Я полагаю, что уже поведал тебе, любезная дочь моя Анна, что ученик великого саламандра Оромазиса, благородный гном Тсильменех — это халдейское имя, которое на чистом немецком языке примерно означает дуралей, — влюбился в знаменитую Магдалену де ла Круа, аббатису испанского монастыря в Кордове,³¹ и безмятежно прожил с нею в счастливом супружестве добрых тридцать лет. Потомок благородной фамилии высших существ, ведущих свой род от этого брака, как раз и есть милейший барон Порфирио фон Океродастес, принявший фамилию Кордуаншпиц для обозначения своего происхождения из Кордовы в Испании, а также для того, чтобы его не смешивали с более гордой, но по существу менее знатной побочной линией по прозвищу Сафьян.³² То обстоятельство, что к слову «Кордуан» добавлено окончание «шпиц», имеет свои особые стихийно-астрологические причины, но я еще не размышлял о том. Следуя примеру своего великого предка, гнома Тсильменеха, полюбившего Магдалену де ла Круа уже на двенадцатом году ее жизни, великолепный Океродастес почтил тебя своей любовью, когда тебе минуло двенадцать лет. Он был так счастлив, когда получил от тебя крохотное золотое колечко, а теперь и ты надела его перстень, так что неминуемо стала его невестою.

— Как? — в испуге и смущении воскликнула фрейлейн Аннхен. —

Как? Его невестой? Мне выйти замуж за отвратительного маленького кобольда? Да разве я не с давних пор невеста господина Амандуса фон Небельштерна? Нет — во веки вечные не станет моим мужем этот мерзостный чародей, будь он тысячу раз из Кордуана или Сафьяна.

— Теперь, — возразил господин Дапсуль фон Цабельтау, став строже, — теперь, к прискорбию моему, я вижу, как мало небесная мудрость просветила твой косный земной разум. Мерзостным, отвратительным называешь ты благородного стихийного Порфирио фон Океродастес, может быть, потому, что в нем всего три фута росту и он ничем не может похвалиться, кроме головы, — ни руками, ни ногами, ни всем прочим, тогда как у всякого земного пустозвона, какого бы ты желала видеть, торчат из-под сюртука длинные ноги? О дочь моя, в какое нечестивое заблуждение ты впала! Вся красота заключена в мудрости, вся мудрость в мысли, а физический символ мысли — голова! Чем больше голова, тем больше красоты и мудрости, и если бы человек мог избавиться от прочих членов, как от вредной роскоши, приносящей ему зло, то он достиг бы высшего идеала. Откуда происходят все тягости, все беды, все раздоры, вся вражда, вся погибель земная, как не от проклятого избытка членов? О, какой мир, какое спокойствие, какое благоденствие наступили бы на земле, если бы люди могли существовать без живота, зада, рук и ног! Если бы они состояли из одного бюста! Счастливая мысль осенила художников, — они изображают прославленных государственных мужей и великих ученых в виде бюстов, что символически означает их высшую природу, которая дарована им по их должности или по сочиненным книгам! Итак, дочь моя Анна, ни слова о мерзости или отвратительности, никакой хулы на благороднейшего из духов, великолепного Порфирио фон Океродастес, чьей невестой ты должна быть и будешь! Знай, через него и твой отец в скором времени достигнет высшего счастья, к которому он так долго стремился. Порфирио фон Океродастес знает, что я люблю сильфидою Нехахила³³ (что по-сирийски значит — остроносая), и он хочет всеми силами способствовать мне, чтобы я стал вполне достойным сочетаться с этим высшим духовным существом. Ты, милое дитя, останешься довольна своей будущей мачехой. Пусть благосклонная судьба устроит так, чтобы наши свадьбы были сыграны в один и тот же счастливый час! — С этими словами господин Дапсуль фон Цабельтау, бросив многозначительный взгляд на дочь, патетически удалился.

У фрейлейн Аннхен сжалось сердце, когда она вспомнила, что давно, когда она была еще ребенком, у нее непостижимым образом действительно исчезло с пальца золотое колечко. Теперь она была уверена, что маленький отвратительный чародей в самом деле завлек ее в свои сети, и ей едва ли удастся спастись, и посему она впала в чрезвычайную печаль. Фрейлейн Аннхен захотелось облегчить стесненное сердце, и это удалось ей с помощью гусяного пера; схватив его, она одним духом написала господину Амандусу фон Небельштерну следующее письмо:

«Мой бесценный Амандус!

Все пропало, я самая несчастная на всем белом свете, и рыдаю и плачу от нестерпимого горя так, что даже моя добрая скотина полна ко мне сострадания и жалости. А ты растрогаешься и того больше! Беда постигла не только меня, но и тебя, так что и ты тоже будешь весьма огорчен. Ты ведь знаешь, что мы сердечно любим друг друга, как только могут любить влюбленные, и что я твоя невеста, и что папаша собирался проводить нас к венцу? И вот! Нежданно-негаданно приезжает скаредный желтый человечек в карете, заложенной восьмеркой лошадей, со множеством других господ и слуг, и уверяет, что я обменялась с ним перстнями, и, стало быть, он — мой жених, а я его невеста! Подумай только, какой ужас! Папаша тоже говорит, что я должна выйти замуж за этого уroda, ибо он происходит из весьма знатной семьи. Пожалуй, это верно, ежели судить по свите и блестящим нарядам, какие они носят, но у него такое мерзкое имя, что по одному этому я никогда не стала бы его женою. Я даже не могу выговорить такое нехристианское имя. Впрочем, его называют также Кордуаншпицем, и это как раз его фамилия. Отпishi мне, правда ли Кордуаншпицы так знатны и сиятельны, — в городе, верно, про то знают. Мне невдомек, что это на старости лет взбрело в голову папаше, он тоже задумал жениться, и уродина Кордуаншпиц выискал ему женушку, которая носится по воздуху. Боже, защити нас! Старшая служанка пожимает плечами и говорит, что она не больно важного мнения о подобных хозяйках, которые летают по воздуху и плавают в волнах, и она тотчас возьмет расчет, а мне пожелает, чтобы милая мачеха при первом полете в Вальпургиеву ночь сломала бы себе шею. Вот так дела! Но на тебя вся моя надежда! Ведь я знаю, что ты тот, кто обязан и должен спасти меня от великой опасности. Опасность наступила, приди, спеши, спаси свою до смерти опечаленную, но верную невесту

Анну фон Цабельтау.

Р. S. Не можешь ли ты вызвать на дуэль маленького желтого Кордуаншпица? Ты, конечно, победишь, потому что он плохо держится на ногах.

Р. S. Еще раз прошу тебя: соберись в путь не мешкая и поспеши к своей, как тебе теперь известно, злосчастной, но верной невесте

Анне фон Цабельтау».

Глава четвертая

в которой описывается двор некоего могучего короля, а затем повествуется о кровавом поединке и об иных небывалых приключениях

Фрейлейн Аннхен чувствовала себя совсем разбитой от нестерпимого горя. Скрестив руки, сидела она у окна и неподвижно смотрела на двор, не замечая кудахтанья, кукареканья, гоготания и писка домашней птицы, которая с наступлением сумерек ожидала, что хозяйка как всегда загонит их на покой. Она с величайшим равнодушием позволила служанке одной управиться со всем и даже попотчевать увесистой плеткой петуха, который бесчинствовал и пытался восстать против наместницы. Собственные горести, терзавшие ее грудь, заглушили всякое участие к любезному питомцу, воспитанию которого она посвятила много сладостных часов своей жизни, не заглядывая ни в *Честерфилда*,³⁴ ни в *Книгге* и даже не обращаясь за советом к госпоже *Жанлис*³⁵ или иным сведущим в психологии дамам, которым доподлинно известно, как наставить на путь истинный молодые умы. Это, пожалуй, можно отнести на счет ее легкомыслия.

Кордуаншиц не являлся весь день. Он пробыл все время на башне господина *Дапсуля фон Цабельтау*, где, наверное, производились важные операции. Но теперь фрейлейн Аннхен вдруг заметила малыша, ковылявшего по двору, освещенному алыми лучами заходящего солнца. В ярко-желтом платье он казался ей несноснее, чем когда-либо, а его уморительная походка вприпрыжку, так что казалось — он вот-вот упадет, походка, которая всякого рассмешила бы до слез, только сильнее растревляла ее злость. Наконец она закрыла лицо руками, чтобы не видеть больше гнусного пугала. Вдруг она почувствовала, что кто-то дергает ее за передник. «Пошел, *Фельдман!*», — крикнула она, решив, что то собака. Но это была не собака, вовсе нет. Отняв руки от лица, фрейлейн Аннхен увидела господина барона *Порфирио фон Океродастес*, который с беспримерной ловкостью вскочил к ней на колени и охватил ее обеими руками. Фрейлейн Аннхен громко вскрикнула от испуга и отвращения и вскочила со стула. Но Кордуаншиц повис у нее на шее и вмиг сделался таким неимоверно тяжелым, с добрых двадцать центнеров весом, — и тем принудил бедняжку Аннхен снова упасть на стул. Тотчас Кордуаншиц соскочнул с ее колен и со всей учтивостью и ловкостью, какая только возможна при недостатке равновесия, опустился на крохотное правое колено и звонким, не совсем обычным, но не столь уж противным голосом сказал:

— Обожаемая госпожа Анна фон Цабельтау, несравненная дама, избранная моя невеста, только не гневайтесь, прошу, умоляю вас, только

не гневайтесь, не гневайтесь! Я знаю — вы думаете, мои люди опустошили ваш прекрасный огород, чтобы построить для меня дворец. О всемогущая сила! Когда б могли вы заглянуть в мое маленькое ничтожное тело и узреть, как бьется мое сердце, исполненное чистой любви и благородства! Когда б открылись вам хотя бы главнейшие добродетели, что таятся в моей груди под желтым атласом! О, как далек я от той постыдной жестокости, которую вы мне приписываете! Да статочное ли дело, чтобы милостивый князь своих же собственных поддан... Но полно! Полно! К чему слова и уговоры! Вы сами должны увидеть, о невеста моя, сами увидеть то великолепие, что ожидает вас! Последуйте за мною, да, последуйте за мною без промедления, я отведу вас в свой дворец, где ликующий народ ожидает обожаемую невесту своего повелителя!

Можно себе представить, как ужаснуло фрейлейн Аннхен предложение Кордуаншпица, как она противилась ступить хоть шаг вслед за этим опасным страшилищем. Но Кордуаншпиц не уставал описывать необычайные красоты и беспредельные богатства огорода, который собственно и является его дворцом, так что наконец она решилась хотя бы одним глазком заглянуть в шатер, что ведь никак не могло повредить ей. От радости и восторга малыш прошелся колесом по меньшей мере двенадцать раз, а затем изысканно взял фрейлейн Анну за руку и провел через сад к шелковому дворцу.

С громким «ах!» как вкопанная стала фрейлейн Аннхен, когда взвился занавес у входа и взорам ее представился необозримый огород в таком великолепии, какого она не видывала и в самых прекрасных грезах о пышной капусте и прочих овощах. Там в искрящемся свете зеленело и цвело все, что зовется овощами и капустой, репой и салатом, горохом и бобами, да с таким великолепием, что и сказать нельзя. Флейты, барабаны и цимбалы загрели еще громче, и четыре учивых кавалера, с которыми фрейлейн Аннхен познакомилась еще раньше, а именно: господин фон Шварцреттих, мосье де Рокамболь, синьор ди Брокколи и пан Капустович, приблизились, отвешивая низкие церемонные поклоны.

— Мои камергеры, — улыбаясь, представил их Порфирио фон Океродастес и, следуя за названными камергерами, которые пошли вперед, провел фрейлейн Аннхен сквозь ряды красной английской морковной гвардии на середину огорода, где возвышался пышный трон. Вокруг трона собрались вельможи: салатные принцы с бобовыми принцессами, огуречные герцоги во главе с принцем дынь, министр кочанной капусты, генералы-от-лука и репы, фрейлины кудрявой капусты и другие, все в блестящих одеждах, сообразно рангу и чину. Между ними сновало до сотни прелестных лавандовых и укропных пажей, разносивших сладостный аромат. Когда Океродастес и фрейлейн Аннхен взошли на трон, обергофмаршал Турнепс взмахнул длинным жезлом, и тотчас смолкла музыка, и все благоговейно затихли. Тут Океродастес возвысил голос и весьма торжественно изрек:

— Любезные верноподданные! Здесь подле меня зрите вы благородную фрейлейн Анну фон Цабельтау, которую избрал я себе в супруги. Преисполненная красоты и добродетели, давно взирала она на вас любящими очами матери, уготовляла вам мягкое, гучное ложе, холила и лелеяла вас. Она и впредь будет верной и достойной вашей государыней-матерью. Изъявите же почтительное одобрение, приличествующее сему ликованию по случаю милости, кою ныне склонен я всемилостивейше оказать вам!

После второго знака, поданного обергофмаршалом Турнепсом, раздались тысячеголосое ликование; луковичная артиллерия дала залп, и музыканты морковной гвардии заиграли общеизвестный гимн: «Салат, салат, зеленая петрушка!». То был великий, возвышенный момент. У знатных вельмож, преимущественно же у фрейлин кудрявой капусты, выступили на глазах слезы блаженства. Девица Аннхен, приметив сверкающую алмазами корону на голове и золотой скипетр в руках малыша, едва не лишилась чувств.

— Ах, — воскликнула она, всплеснув руками от изумления, — господи Иисусе! Наверное, вы гораздо важнее, чем кажетесь, милый господин Кордуаншпиц?

— Обожаемая Анна, — возразил очень мягко Океродастес, — звезды повелели мне предстать перед вашим отцом под чужим именем. Узнайте, прекрасное дитя, что я один из могущественнейших королей и владею страной, границы которой скрыты ото всех, ибо их забыли означить на карте. Король овощей Даукус Карота Первый³⁶ предлагает вам, о сладчайшая Анна, свою руку и корону. Все князья овощей — мои вассалы, и только единственный день в году, следуя древнему обычаю, правит король бобов.³⁷

— Значит, — радостно воскликнула фрейлейн Анна, — значит, я стану королевою и получу во владение этот замечательный, прекрасный огород?

Король Даукус Карота еще раз подтвердил, что это на самом деле так, и добавил, что ему и ей будут подвластны все овощи, какие только произрастают на земле. Конечно, фрейлейн Аннхен не ожидала этого, она нашла, что в тот миг, когда маленький Кордуаншпиц превратился в короля Даукуса Кароту Первого, он перестал быть таким уродливым, как прежде, и что корона и скипетр, равно как и королевская мантия, его необычайно украсили. К тому же его учтивые манеры и те богатства, какие принесет с собой этот брак, должны были убедить фрейлейн Аннхен, что ни одна деревенская девица не сумела бы составить себе лучшую партию, нежели она, которая в мгновение ока стала королевской невестой. Фрейлейн Аннхен была чрезвычайно довольна и спросила венценосного жениха, нельзя ли ей сразу остаться в прекрасном замке, а завтра сыграть свадьбу. Тут король Даукус ответил, что, хотя нетерпение обожаемой невесты и приводит его в безмерный восторг, он все-таки

принужден не торопиться со своим счастьем, ибо ему сейчас не благоприятствует положение созвездий. И господин Дапсуль фон Цабельтау пока ни под каким видом не должен знать о королевском достоинстве своего зятя. В противном случае могут расстроиться условленные операции, коим надлежит вызвать желанный брак его с сифидою Нехахила. К тому же он обещал господину Дапсулю фон Цабельтау, что оба брака будут отпразднованы в один и тот же день. Фрейлейн Аннхен пришлось торжественно поклясться, что она ни единым словом не обмолвится господину Дапсулю фон Цабельтау о том, что произошло с нею, после чего она оставила шелковый дворец, провожаемая шумным ликованием народа, упоенного ее красотой, ее снисходительностью и благосклонностью.

Во сне она еще раз увидела страну очаровательного короля Даукуса Кароты и утопала в неизъяснимом блаженстве.

Письмо, которое она послала господину Амандусу фон Небельштерну, произвело на беднягу ужасное действие. В скором времени фрейлейн Аннхен получила следующий ответ:

«Кумир моего сердца,
небесная Анна!

Кинжалами острыми, раскаленными, отравленными, смертоносными кинжалами были для меня слова твоего письма, пронзившие мне грудь. О Анна! Тебя хотят отнять у меня? Какое безумие! Я еще никак не могу постичь, отчего я тотчас же не лишился разума и не учинил ужасного, отчаянного буйства! Но ожесточенный убийственным роком, я сокрылся от людей и сразу после обеда не пошел играть на бильярде, а бежал в лес, где, ломая руки, несчетное число раз призывал твое имя! Пошел сильный дождь, а я как раз надел новую шапочку красного бархата с великолепной золотой кисточкой. Говорят, ни одна шапочка не шла мне так, как эта. Дождь мог испортить это дивное произведение хорошего вкуса, но какое дело любовному отчаянию до шапочек, бархата и золота! Я блуждал по лесу до тех пор, покуда, весь вымокший и прозябший, не почувствовал ужасающих колик в животе. Это загнало меня в ближайший трактир, где я велел сварить отменный глинтвейн и закурил трубку твоего божественного виргинского табаку. Вскоре на меня снизошло божественное вдохновение, я выхватил из кармана альбом и мигом набросал с десяток превосходных стихов, — о дивный дар поэзии! — исчезло и то и другое: и любовное отчаяние, и колики в животе. Только последнее из этих стихотворений я посылаю тебе, чтобы и ты, краса дев, преисполнилась, как и я, радостной надеждой!

Корчусь я от боли,
Нет уж страсти боле,
Той, что жгла дотоле,
Грустно поневоле!

Но, найдем духа,
Рифму ловит ухо,
Стих — за словом слово —
И я весел снова.

Страсть, что жгла дотолле,
Вспыхнула на воле,
Все исчезли боли,
Не грушу я боле.

Да, сладчайшая Анна! Скоро явлюсь я рыцарем-избавителем и вырву тебя из рук злодея, что вознамерился похитить тебя! А чтобы ты тем временем не отчаивалась, я выписал для тебя несколько основных божественных утешительных изречений из моей сокровищницы великого поэта; пусть они укрепят твой дух!

* * *

Грудь ширится, дух ввысь взлетает, чуток!
Будь нежен, тих, но не чуждайся шуток.

* * *

Страсть враждебна часто страсти,
Срок блюсти — не в нашей власти.

* * *

Любовь — цветение, сплошное бытие.
Мой шубу, юноша, но не мочи ее!

* * *

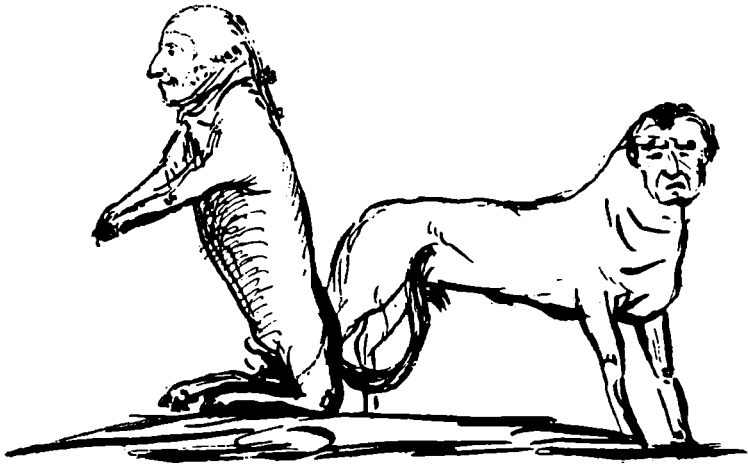
Ты говоришь, что зимою мороз?
Почему же не греют плащи? — вопрос!

Какие божественные, возвышенные, неистошимые мудрые правила! И какая простота, беспритязательность и глубина! Итак, еще раз, моя сладчайшая дева! Утешься и храни меня, как прежде, в своем сердце. Скоро придет, спасет тебя и прижмет к сердцу, бушующему от любви,

твой верный

Амандус фон Небельштерн.

Р. S. Вызвать на дуэль господина фон Кордуаншпица я никак не могу. Ибо, о Анна, каждая капля крови, что может потерять твой Амандус в схватке с дерзким противником, это ведь кровь поэта, ихор богов,³⁸ который нельзя проливать. Справедливо требование света, чтобы гении, подобные мне, щадили и всячески берегли себя для него. Меч поэта — слово, песня. Я нападу на своего соперника боевыми песнями Тиртея,³⁹





я сразу его острыми эпиграммами, я сокрошу его дифирамбами, исполненными любовного неистовства, — вот оружие истинного поэта, оружие, которое всегда победоносно ограждает его от всякого нападения. И вот, вооружившись до зубов, я являюсь, чтобы отвоевать твою руку, о Анна!

Прощай, еще раз прижимаю тебя к сердцу! Уповай на мою любовь, а больше всего на мое мужество, которое не отступится ни перед какой опасностью, дабы освободить тебя из постыдных сетей, куда тебя, по видимому, завлек демонический злой дух».

Фрейлейн Аннхен получила письмо в то время, когда играла со своим царственным женихом Дакусом Каротой Первым в салки на лугу за садом и тешилась тем, что приседала на всем бегу, а маленький король перескакивал через нее. Не читая, как бывало прежде, она сунула письмо возлюбленного в карман, и мы увидим, что оно пришло слишком поздно.

Господин Дапсуль фон Цабельтау никак не мог постичь, отчего вдруг так переменились мысли фрейлейн Аннхен и она полюбила господина Порфирио фон Океродастес, которого прежде находила столь отвратительным. Он вопрошал о том звезды; но их ответ не удовлетворил его, и он решил, что помыслы человека более непостижимы, чем тайны космоса, и не могут быть истолкованы никакими сочетаниями светил. Он не мог согласиться с мыслью, что только высшая природа жениха пробудила любовь у Аннхен, ибо в малыше не было ничего привлекательного. Благосклонный читатель уже знаком с понятием о красоте, какое составил себе господин Дапсуль фон Цабельтау, хотя оно, как небо от земли, далеко от того, какое складывается у девушек, но все-таки у господина Дапсуля фон Цабельтау было довольно житейского опыта, чтобы знать, что помянутые девушки почитают ум, остроумие, душу и чувства лишь добрыми постояльцами в красивом доме, и когда мужчина, которому не к лицу модный фрак, будь то Шекспир, Гете, Тик, Фридрих Рихтер,⁴⁰ вздумает подступить к молоденькой девушке, ему грозит опасность быть выбитым с позиции всяким мало-мальски статным гусарским ротмистром в блестящем мундире. Правда, с фрейлейн Аннхен все произошло совсем иначе — ни о красоте, ни об уме не было и помину; меж тем довольно редко случается, что бедная деревенская девица вдруг становится королевой, а посему господину Дапсулю фон Цабельтау не легко было догадаться, тем более что звезды не пришли к нему на помощь.

Легко себе представить, что все трое — господин Порфирио фон Океродастес, господин Дапсуль фон Цабельтау и фрейлейн Аннхен — зажили душа в душу. Дошло до того, что господин Дапсуль фон Цабельтау чаще, чем когда-либо, покидал башню, чтобы беседовать с любезным зятем о различных приятных предметах, и даже завтракать предпочитал теперь внизу, в доме. В это же время выходил из шелкового дворца и господин Порфирио фон Океродастес и позволял фрейлейн Аннхен кормить его хлебом с маслом.

— Ах, ах, — хихикала фрейлейн Аннхен, то и дело наклоняясь к его уху. — ах, ах, когда б отец только знал, что вы на самом деле король, любезный Кордуаншпиц!

— Молчи, душа моя, — отвечал Даукус Карота Первый, — молчи, душа моя, не теряй голову от радости. Близок, близок желанный день!

Однажды деревенский учитель поднес фрейлейн Аннхен несколько пучков замечательной редиски со своего огорода. Фрейлейн Аннхен чрезвычайно этому обрадовалась, ибо господин Дапсульт фон Цабельтау был охотник до редиски, но Аннхен ничего не могла снять со своего огорода, ибо там был раскинут шатер. А кроме того, ей только теперь пришло на мысль, что среди разнообразных овощей и кореньев она не приметила во дворце редиски.

Фрейлейн Аннхен поспешила очистить подаренные редиски и подала их отцу на завтрак. Господин Дапсульт фон Цабельтау уже безжалостно срезал с нескольких штук зелень, обмакнул их в солонку и с наслаждением съел, когда вошел Кордуаншпиц.

— О мой Океродастес, отведайте-ка редиски! — воскликнул, обращаясь к нему, господин Дапсульт фон Цабельтау.

На тарелке еще оставалась одна крупная, прекрасная редиска. Но едва Кордуаншпиц увидел ее, как глаза его засверкали от бешенства, и он закричал ужасным громовым голосом:

— Как, недостойный герцог, вы осмелились предстать перед моими очами, более того с наглым бесстыдством проникнуть в дом, охраняемый моей властью? Да разве я не осудил вас на вечное изгнание, когда вы вознамерились оспаривать мои законные права на престол? Прочь, прочь с моих глаз, вероломный вассал!

Внезапно под толстой головой редиса выросли две ножки, он вмиг соскочил с тарелки, прямо стал перед Кордуаншпицем и повел такую речь:

— Жестокий Даукус Карота Первый, о ты, кто тщетно стремишься уничтожить род мой! Разве у кого-нибудь из твоего племени была такая большая голова, как у меня и у моих родичей? Мы одарены разумом, мудростью, прозорливостью, учтивостью, тогда как вы обретаетесь на кухнях и конюшнях и только в ранней юности чего-то стоите, так что, по правде, лишь *diable de jeunesse*⁴¹ составляет ваше скоропреходящее счастье, тогда как мы пользуемся вниманием высшего общества, и нас радостно приветствуют, едва мы покажем наши зеленые макушки. Но я бросаю вызов тебе, Даукус Карота; ты такой же неотесанный грубиян, как и вся твоя порода! Что ж, померяемся силами!

Тут герцог-редиска взмахнул длинным бичом и без дальнейших слов напал на короля Даукуса Кароту Первого. Но тот выхватил небольшую шпагу и защищался с отменной храбростью. Оба малыша схватились и, преследуя друг друга по всей комнате, делали невиданные, безумные прыжки, покамест Даукус Карота не загнал герцога-редиску в угол, и

тому не оставалось ничего другого, как отважно выпрыгнуть в открытое окно и обрести спасение в бегстве. Король Даукус Карота, необычайное проворство которого уже знакомо благосклонному читателю, выскочил вслед за герцогом-редиской и погнался за ним по полю. Господин Дапсуль фон Цабельтау в тягостном, безмолвном оцепенении наблюдал этот ужасный поединок. Но вдруг он разразился громким плачем и воплями:

— О дочь моя Анна! О дочь моя, бедная, злосчастная Анна! Пропали — я — ты — мы — оба — пропали, пропали! — С этими словами он опрометью бросился из комнаты и с возможной поспешностью взбежал на астрономическую башню.

Фрейлейн Аннхен никак не могла ни понять, ни предположить, что же такое повергло ее отца в такую безграничную печаль? Все это зрелище доставило ей немало удовольствия, и она была рада от души, приметив, что жених ее обладал не только знатностью и богатством, но также и отвагой, ибо на свете не так-то легко сыскать девушку, которая могла бы полюбить труса. И вот теперь, когда она убедилась в храбрости короля Даукуса Кароты Первого, ее весьма задело, что господин Амандус фон Небельштерн не пожелал с ним драться.

Ежели до того она колебалась, пожертвовать ли ей господином Амандусом ради короля Даукуса Кароты Первого, то теперь она решилась на это, ибо перед ней открылось все великолепие нового союза. Она тотчас села и написала следующее письмо:

«Любезный Амандус!

Все на свете меняется, все преходяще, говорит господин школьный учитель, и он совершенно прав. И ты, любезный Амандус, сам мудрый и ученый студент, не можешь не согласиться с мнением господина учителя и нисколько не удивишься, когда я скажу тебе, что и в моей душе и сердце случилась маленькая перемена. Поверь, я по-прежнему весьма благосклонна к тебе и живо представляю себе, как ты красив в красной бархатной шапочке с золотом, но что до замужества — то, знаешь, любезный Амандус, как ни умен ты и какие бы ни складывал прелестные стишки, ты все же не король и никогда им не сделаешься, и — не пугайся, милый, — маленький господин фон Кордуаншпиц вовсе не господин фон Кордуаншпиц, а могущественный король по имени Даукус Карота Первый, государь всей овощной державы, избравший меня королевою! С тех пор как мой милый маленький король открыл свое инкогнито, он стал куда красивее, и я теперь отлично вижу, что папаша был прав, уверяя, что голова — украшение мужчины, а посему никогда не может быть чересчур велика. А к тому же у Даукуса Кароты Первого — видишь, как я хорошо запомнила и научилась писать это прекрасное имя, ибо оно мне хорошо знакомо, — да, я хотела сказать, — у моего маленького царственного жениха к тому же такие приятные и обходительные манеры, что нельзя и передать. И сколько мужества, сколько отваги у этого человека!

На моих глазах он обратил в бегство герцога-редиску, человека, по всему виду, назойливого и строптивого, и — ух ты! — как он погнался за ним через окошко! Стоило бы тебе посмотреть! Я полагаю, мой Даукус Карота не побойтся твоего оружия, он, видно, мужчина твердый, его не уязвишь стихами, как бы ни были они отточены и остры.

Так вот, любезный Амандус, как человек добродетельный, покорись судьбе и не серчай на меня за то, что я сделаюсь не твоею женою, а королевой. Утешься — я навсегда останусь твоим благосклонным другом, и ежели ты в будущем захочешь поступить в морковную гвардию или — ибо ты предпочитаешь оружию науки — получить должность в пастернаковой академии или тыквенном министерстве, то стоит тебе только молвить слово, и твое счастье обеспечено. Будь здоров и не поминай лихом твою прежнюю невесту, ныне же благожелательного друга и будущую королеву.

Анну фон Цабельтау

(скоро уже не фон Цабельтау, а просто Анну).

Р. S. Ты также будешь вволю обеспечен лучшим виргинским табаком, будь в том твердо уверен. Правда, мне сдается, что при моем дворе совсем не курят, так я велю засеять виргинским табаком несколько грядок неподалеку от трона, и они будут под моим особым надзором. Этого требуют культура и нравственность, и пусть мой Даукусик распорядится, чтобы издали о том особый указ».

Глава пятая

*в которой сообщается об ужасной катастрофе и о том,
что за ней воспоследовало*

Фрейлейн Аннхен только что отправила послание к господину Амандусу фон Небельштерну, как вошел господин Дапсуль фон Цабельтау и плаксивейшим тоном глубочайшей скорби принялся сетовать:

— О дочь моя Анна! Как бесчестно мы обмануты! Этот злодей, завлекший тебя в свои сети и уверивший меня, что он барон Порфирио фон Океродастес, прозванный Кордуаншпиц, потомок славного рода, коему положил начало знаменитейший гном Тсильменех, сочетавшийся с благородной кордуанской аббатисой, так вот этот злодей — узнай о том и лишись чувств! — сам гном, но только из того низкого рода, что ведает овощами. Гном Тсильменех был из благороднейшего рода, именно из того, коему вверено попечение об алмазах. За ним следует род тех, что готовят руду в государстве короля руды, потом цветочники, которые уже по одному тому не столь благородны, что подвластны сильфам. Но самые худородные и ничтожные — это овощные гномы, и обман-

щик Кордуаншпиц не только сам из таких гномов, но он даже у них королем, и зовут его Даукус Карота!

Фрейлейн Аннхен вовсе не упала в обморок и даже нимало не испугалась, но приветливо улыбнулась горько сетующему отцу; благосклонный читатель уже знает почему! Но когда, чрезвычайно изумленный тем, господин Дапсуль фон Цабельтау все неотступнее стал упрашивать фрейлейн Аннхен ради самого неба провидеть жребий свой и ужаснуться, то фрейлейн Аннхен решила, что она не вправе долгие хранить вверенную ей тайну. Она рассказала господину Дапсулю фон Цабельтау, что так называемый господин барон фон Кордуаншпиц сам давно уже открыл ей свое настоящее королевское достоинство и с той поры сделался ей так любезен, что она и думать не хочет о другом муже. Она тут же описала все диковинные красоты овощной страны, куда ввел ее король Даукус Карота Первый, и не забыла воздать должную хвалу необычайной привлекательности обитателей этого обширного государства.

Господин Дапсуль фон Цабельтау не раз всплеснул руками и горестно плакал, слыша о коварстве короля гномов, который употребил искуснейшие и даже опасные деяния самого средства, дабы завлечь несчастную Анну в мрачное демоническое царство.

— Как ни прекрасен, — начал пояснять господин Дапсуль фон Цабельтау внимательно слушающей дочери, — как ни прекрасен, как ни благодетелен союз стихийного духа с человеческим началом, славным примером чему служит брак гнома Тсильменеха с Магдаленой де ла Круа, по какой причине предательский Даукус Карота и объявляет себя отпрыском их рода, однако ж совсем иначе обстоит дело с королями и князьями различных племен подобных духов. Если короли саламандр только гневливы, короли сильфов только надменны, королевы ундин только весьма влюбчивы и ревнивы, то короли гномов коварны, злобны и жестоки: только затем, чтобы отомстить детям земли, похищающим у них вассалов, они стараются заманить к себе одного из них, который потом теряет свой человеческий облик и становится столь же уродливым, как гномы, и принужден удалиться в глубь земли и уже никогда больше не выходит на поверхность.

Фрейлейн Аннхен, казалось, была совсем не расположена верить всему предосудительному, что приписывал господин Дапсуль фон Цабельтау ее милому Даукусу, напротив, она снова принялась рассказывать о чудесах прелестной овощной страны, где она вскоре станет повелительницей.

— Ослепленное, — воскликнул в гневе господин Дапсуль фон Цабельтау, — ослепленное, безрассудное дитя! Ужели ты считаешь отца своего настолько несведущим в кабалистической мудрости, что сомневаешься, когда он говорит, что все представленное твоему взору презренным Даукусом Каротой не что иное, как ложь и наваждение? Однако ты не веришь мне, и дабы спасти тебя, единственное дитя мое, я должен убе-

дить тебя, но для того я принужден буду прибегнуть к средствам самым отчаянным! Следуй за мной!

Во второй раз должна была фрейлейн Аннхен подняться вместе с отцом на астрономическую башню. Господин Дапсуль фон Цабельтау достал из большого ларца множество желтых, красных, белых и зеленых лент и со странными церемониями обвил ими фрейлейн Аннхен с головы до ног. С самим собою он проделал то же самое, и вот фрейлейн Аннхен и господин Дапсуль фон Цабельтау осторожно подкрались к шелковому дворцу короля Даукуса Кароты Первого. По приказанию отца фрейлейн Аннхен распоролла шов взятыми с собою маленькими ножницами и заглянула в щелку.

Боже правый! Что же увидела она вместо прекрасного огорода, морковной гвардии, фрейлин кудрявой капусты, лавандовых пажей, салатных принцев и всего того, что показалось ей столь чудесным и великолепным? Она заглянула в болотную топь, полную бесцветной, отвратительной тины. И в этой тине копошились и извивались уродливые жители земных недр. Жирные дождевые черви медленно сплетались друг с другом, в то время как похожие на жуков животные тяжело ползали, вытягивая короткие ножки; на спине у них сидели большие луковиды с уродливыми человеческими лицами, скалили зубы и косили мутные, желтые глаза, стараясь запустить друг другу в длинные кривые носы когти, росшие у них возле самых ушей, и столкнуть в тину, меж тем как тощие, голые улитки, высовывая из болотной топи длинные рога, копошились друг на друге с отвратительной вялостью. При этом омерзительном зрелище фрейлейн Аннхен от ужаса едва не упала замертво. Закрыв лицо руками, она опрометью бросилась прочь.

— Теперь ты видишь, как позорно обманул тебя гнусный Даукус Карота, который показал тебе столь непрочное великолепие! О, вассалам своим он повелел вырядиться в праздничное платье, а гвардейцам в мундиры, чтобы увлечь тебя ослепительной пышностью, а теперь ты воочию видела без парадного убранства страну, повелительницей которой хочешь сделаться; став супругой ужасного Даукуса Кароты, ты принуждена будешь навсегда остаться в подземном царстве и никогда не возвратишься на поверхность земли. И когда... Ах! Ах! Что довелось увидеть мне, несчастнейшему из отцов!

Господин Дапсуль фон Цабельтау внезапно так разволновался, что фрейлейн Аннхен почувствовала, что в тот самый миг случилось новое несчастье. Она робко спросила, отчего ее папочка так сокрушается, но он задыхаясь от рыданий, мог только пролепетать:

— О-о-о, — дочь — мм-о-я, наа-кко-го — же — ты — по-хо-о-о-о-жа?

Фрейлейн Аннхен бросилась в комнату, посмотрелась в зеркало и отпрянула в смертельном испуге.

На то у нее была причина, и вот какая: едва только господин Дапсуль фон Цабельтау захотел остеречь невесту короля Даукуса Кароты

Первого, что ей грозит опасность постепенно утратить свой облик и свой стан и мало-помалу принять вид, приличествующий королеве гномов, он вдруг заметил ужасную перемену. Голова Аннхен раздалась во все стороны, а кожа стала шафрановой, так что она порядком подурнела. И хотя фрейлейн Аннхен была не особенно тщеславна, все же у нее достало женского самолюбия уразуметь, что стать безобразной — это самое величайшее и ужаснейшее несчастье, какое только может приключиться. Как часто мечтала она о таком великолепии, когда, став королевой, с короной на голове, в атласном платье, украшенная алмазными ожерельями, золотыми цепями и кольцами, в воскресенье поедет со своим венценосным супругом в церковь, в карете, запряженной восьмеркой лошадей, и приведет в удивление всех кумушек, не исключая и жены учителя, внушая уважение к себе даже заносчивым помещикам того деревенского прихода, к которому принадлежал Дапсульхейм; а как часто предавалась она подобным необыкновенным мечтам! Фрейлейн Аннхен залилась слезами.

— Анна, дочь моя Анна, подымись ко мне скорей наверх! — прокричал господин Дапсульт фон Цабельтау в слуховую трубу.

Фрейлейн Аннхен застала отца одетым наподобие рудокопа. Он заговорил с достоинством:

— Чем сильнее нужда, тем ближе помощь. Даукус Карота, как я только что разузнал, ни сегодня, ни завтра до самого обеда не выйдет из дворца. Он созвал принцев своего дома, министров и других вельмож государства, чтобы держать совет о белой капусте нынешнего года. Совет весьма важный, и, быть может, он продлится так долго, что мы нынче останемся совсем без белой капусты. Это время, пока Даукус Карота, углубленный в государственные дела, не сможет помешать мне, я хочу употребить на то, чтобы изготовить оружие, коим, быть может, мне удастся одолеть и победить презренного гнома, так что он обратится в бегство и возвратит тебе свободу. Покамест я здесь работаю, ты, не сводя глаз, смотри в подзорную трубу на шатер и тотчас скажи мне, когда кто-нибудь выглянет, а тем паче выйдет оттуда.

Фрейлейн Аннхен поступила, как ей было велено, но шатер не раскрывался; однако, невзирая на то что господин Дапсульт фон Цабельтау в нескольких шагах от нее сильно стучал молотком по металлическим доскам, до нее нередко доносились дикие смешанные крики, которые исходили как будто из шатра, а потом шумные рукоплескания, впрочем, скорее похожие на пощечины. Она сообщила о том господину Дапсулю фон Цабельтау, который остался этим весьма доволен и сказал, чем сильнее они повздорят между собой внутри шатра, тем труднее им заметить, что тут куется им на погибель.

Фрейлейн Аннхен немало изумилась, увидев, что господин Дапсульт фон Цабельтау выковал из меди несколько премилых кухонных кастрюль и такие же сковороды; будучи знатоком, она убедилась, что посуда по-

лучилась на славу и что папаша как надлежало выполнил долг, возлагаемый законом на медников, и спросила, нельзя ли ей снести на кухню и употребить в дело такую отменную посуду? Тут господин Дапсуль фон Цабельтау таинственно улыбнулся и сказал только:

— В свое время, в свое время, дочь моя Анна; сойди теперь вниз, любезное дитя, и спокойно ожидай того, что завтра случится в нашем доме.

Господин Дапсуль фон Цабельтау улыбнулся, и это внушило несчастной фрейлейн Аннхен доверие и надежду.

На другой день, когда приспело время обедать, господин Дапсуль фон Цабельтау спустился вниз с кастрюлями и сковородами, вошел в кухню и велел фрейлейн Аннхен и служанке удалиться, ибо он сам вознамерился приготовить сегодня обед. Он упрасивал фрейлейн Аннхен, чтобы она как можно любезнее и приветливее обходилась с Кордуаншпицем, который, наверное, скоро придет.

Кордуаншпиц, или, вернее, король Даукус Карота Первый, действительно скоро явился, и если прежде он вел себя как влюбленный, то теперь просто таял от восторга и блаженства. К ужасу своему фрейлейн Аннхен заметила, что так уменьшилась в росте, что Даукус без труда прыгал к ней на колени, ласкал и целовал ее, и несчастной приходилось терпеть, несмотря на глубокое отвращение к маленькому мерзкому уродцу.

Наконец господин Дапсуль фон Цабельтау вошел в комнату и сказал:

— О мой наидостойнейший Порфирио фон Океродастес, не угодно ли вам пройти со мной и дочерью моею на кухню и заглянуть, как хорошо и домовито устроила все там ваша будущая супруга?

Никогда еще фрейлейн Аннхен не замечала у отца столь коварного и злорадного вида, с каким он схватил маленького Даукуса за руки и почти силою вытащил его из комнаты на кухню. По знаку, данному отцом, фрейлейн Аннхен последовала за ними.

У фрейлейн Аннхен сильно забилось сердце, когда она увидела чудесно потрескивающие дрова, раскаленные угли и красивые медные кастрюли и сковороды на очаге. Едва только господин Дапсуль фон Цабельтау подвел Кордуаншпица к самому очагу, как в кастрюлях и сковородах все зашипело и закипело, и, все усиливаясь, это шипение и кипение перешло наконец в робкое повизгивание и стоны. И вдруг из одной кастрюли послышался вопль:

— О Даукус Карота, о мой король, спаси верных своих подданных, спаси нас, бедных морковок! Изрезанные, брошенные в презренную воду, напитанные, чтобы сильнее мучиться, маслом и солью, изнываем мы в невыразимых муках, которые разделяет с нами благородная юная петрушка!

Со сковороды тоже раздались жалобы:

— О Даукус Карота, о мой король, спаси верных своих подданных, спаси нас, бедных морковок! Мы горим в аду, нам дали так мало воды, что ужасная жажда понуждает нас пить кровь наших сердец!

Из другой кастрюли донеслось повизгивание:

— О Даукус Карота, о мой король, спаси верных своих подданных, спаси нас, бедных морковок! Выпотрошил нас жестокий повар, рассек нашу сердцевину и начинил множеством чужеродных веществ — яйцами, сливками и маслом, так что помutilись наши чувства и разум, и мы уж сами себя не понимаем.

И тут смешались крики и вопли изо всех кастрюль и сковород:

— О Даукус Карота, могучий король, спаси, о спаси нас, своих верных вассалов, спаси нас, бедных морковок! — Тут Кордуаншпиц пронзительно закричал:

— Проклятая дурацкая выдумка! — прыгнул с присущей ему ловкостью на очаг, заглянул в одну кастрюлю и неожиданно свалился туда. Господин Дапсуль фон Цабельтау стремительно подскочил и, радостно воскликнув: «Попался!», — хотел было прикрыть кастрюлю крышкой, но с быстротой спиральной пружины Кордуаншпиц вылетел из кастрюли и залепил господину Дапсулю фон Цабельтау нескольких увесистых затрещин, крича во всеулышание:

— Глупый, самонадеянный кабалист, ты за это заплатишься! А ну, ребята, вылезайте-ка, вылезайте все разом!

И тут из всех кастрюль и со всех сковородок словно посыпалась дикая орда, и сотни маленьких уродцев, величиною с палец, кинулись со всех сторон на господина Дапсуля фон Цабельтау, повалили его навзничь в большое блюдо, заправили его, облив наваром из всех посуды и посыпав рублеными яйцами, мускатным цветом и тертыми сухарями, после чего Даукус Карота выпрыгнул в окно, и его подданные последовали за ним.

Фрейлейн Аннхен в ужасе упала возле блюда, на котором распластался ее бедный приправленный папаша: она сочла его мертвым, ибо он не подавал никаких признаков жизни. Она стала сетовать: «Ах, бедный мой отец, вот теперь ты умер, и ничто не спасет меня от адского Даукуса!». Но тут господин Дапсуль фон Цабельтау открыл глаза, с юношеской силой выскочил из блюда и прокричал столь зычным голосом, какого фрейлейн Аннхен у него никогда еще не слыхивала: «Ого, проклятуший Даукус Карота, силы мои еще не истощились! Ты скоро узнаешь, на что способен глупый, самонадеянный кабалист!». Фрейлейн Аннхен пришлось наскоро счистить с него метелкой рубленые яйца, мускатный цвет и тертые сухари. Тогда он взял медную кастрюлю, надел ее, словно шлем, на голову, левой рукой схватил сковороду, а правой большой железный уполовник и, вооружившись таким образом, выскочил из кухни во двор. Девушка Аннхен видела, как господин Дапсуль фон Цабельтау бежал со всех ног

к шатру Кордуаншпица, а меж тем все-таки не сходил с места. И тут она лишилась чувств.

Когда она пришла в себя, господин Дапсуй фон Цабельтау исчез, и она страшно перепугалась, когда он не воротился ни вечером, ни ночью, ни даже на следующее утро. Она догадывалась о еще более прискорбном исходе его нового предприятия.

Глава шестая

последняя и притом самая назидательная из всех

Фрейлейн Аннхен сидела у себя в горнице, погруженная в глубокую печаль, как вдруг отворились двери и вошел не кто иной, как господин Амандус фон Небельштерн. Полная раскаяния и стыда, фрейлейн Аннхен залилась слезами и начала жалобно умолять:

— О мой возлюбленный Амандус, прости все, что я в ослеплении писала тебе. Но я была и, наверное, еще до сих пор остаюсь околдована. Спаси меня, спаси меня, Амандус! Я пожелтела и подурнела — на все воля божия, но я сохранила в моем сердце верность тебе и уже не хочу быть королевской невестой!

— Не знаю, — возразил Амандус фон Небельштерн, — не знаю, на что вы так сетуете, сударыня, вам ведь уготован прекраснейший блистательнейший жребий!

— Не насмехайся, — воскликнула фрейлейн Аннхен, — я и без того довольно наказана за свою безрассудную гордость — за желание стать королевою!

— Взаправду, — продолжал господин Амандус фон Небельштерн, — я не понимаю вас, дорогая фрейлейн. Если говорить откровенно, то, признаюсь, последнее ваше письмо возбудило во мне бешенство и отчаяние. Я прибил слугу, потом пуделя, разбил несколько стаканов, вы ведь знаете, что с разбушевавшимся студентом шутки плохи. Когда же я отбесновался, то решил поспешить сюда и собственными очами удостовериться, как, отчего и ради кого я лишился возлюбленной невесты. Любовь не знает ни чина ни ранга, я хотел потребовать к ответу самого короля Даукуса Кароту и спросить у него, послужит ли поводом к дуэли то, что он женится на моей невесте. Меж тем здесь все пошло иначе. Только я поравнялся с прекрасным шатром, что разбит там, на огороде, из него вышел король Даукус Карота, и я скоро убедился, что предо мной — самый любезный из монархов, какой только может быть на свете, хотя мне, говоря по правде, до сих пор еще ни один из них не попадался: подумайте, фрейлейн, он тотчас узнал во мне возвышенного поэта, безмерно хвалил мои стихи, которых еще не читал, и предложил мне пойти к нему

на службу придворным поэтом. С давних пор прекраснейшею целью моих пламенных желаний было пристроиться на такую должность; вне себя от радости, я принял это предложение. О моя дорогая фрейлейн! С каким воодушевлением буду я воспевать вас! Поэт может влюбляться в королеву и княгиню, или, лучше сказать, его долг избрать дамой своего сердца высокую особу, а ежели он впадет в некоторое исступление, то из этого и рождается божественный бред, без которого не существует поэзия, и никто не станет удивляться странным поступкам поэта, а тут же вспомнит великого Тассо,⁴² который тоже несколько утратил обыкновенный человеческий разум, когда влюбился в принцессу Леонору д'Эсте. Да, дорогая моя фрейлейн, хотя вы скоро будете королевой, вы все же остаетесь дамой моего сердца, которую я в возвышенных и божественных стихах превознесу до самых звезд!

— Как, ты видел его, коварного кобольда, и он... — вскричала весьма изумленная фрейлейн Аннхен, но в тот же миг маленький король гномов явился собственной персоной и нежнейшим голосом заговорил:

— Моя бесценная, любезная невеста, кумир моего сердца, не страшитесь, меня нимало не разгневала та небольшая неловкость, какую совершил господин Дапсуль фон Цабельгау! Нет, — уже по одному тому, что это приблизило мое счастье, ибо, сверх моего ожидания, уже завтра, возлюбленнейшая, воспоследует наше торжественное бракосочетание. Вас порадует, что я избрал господина Амандуса фон Небельштерна нашим придворным поэтом, и я хочу, чтобы он сейчас представил нам образчик своего таланта — что-нибудь спел бы. Только отправимся в беседку, ибо я люблю пребывать на лоне природы, я взберусь к вам на колени, возлюбленная невеста, и во время пения вы поищите у меня в голове, что в подобных случаях весьма приятно!

Фрейлейн Аннхен, оцепенев от страха и ужаса, была на все согласна. В беседке Даукус Карота уселся к ней на колени, она искала у него в голове, а господин Амандус фон Небельштерн, перебирая струны гитары, запел первую из двенадцати дюжин песен, которые он сам сочинил, переложил на музыку и переписал в толстую тетрадь.

Жаль, что в хронике Дапсульхейма, откуда извлечен наш рассказ, нет этих песен, а только упоминается о том, как проходившие мимо крестьяне останавливались и любопытствовали, кто это так терзается от боли, что вопит столь немилосердно в беседке господина Дапсуля фон Цабельгау?

Даукус Карота извивался и корчился на коленях у фрейлейн Аннхен, он стонал и визжал все жалостнее и жалостнее, словно страдал от нестерпимых колик в желудке. К своему немалому изумлению, фрейлейн Аннхен также заметила, что во время пения Кордуаншпиц становился все меньше и меньше. Наконец господин Амандус фон Небельштерн запел следующие возвышенные строфы (единственная песня, которую сохранила хроника):

Как не петь певца устам!
 Ароматы, вздохи, грезы
 Плавно стелются сквозь розы
 Где-то в небе, где-то там.
 Золотое Где-то-там!
 Ты над радугой лучистой
 По волне плывешь цветистой,
 Ты, как детское сам-сам,
 Сердце нежное Сам-Сам,
 Пусть оно, любя, тоскует,
 С голубками пусть воркует,
 Пищу даст певца устам.
 Вслед за дальним Где-то-там
 Он, певец, парит сквозь розы,
 И познает счастья грезы,
 И пребудет вечно Сам!
 Чуть лишь вспыхнут страсти Там,
 Как любви зажгутся свечи,
 Ждут его лобзания, встречи,
 Ароматы, вздохи, грезы,
 Упований сладких слезы
 И...

Даукус Карота, громко взвизгнув, скатился, обратясь в крохотную морковку, с колен фрейлейн Аннхен юркнул прямо в землю и в тот же миг исчез без следа. Тогда поднялся серый гриб, что, казалось, вырос за ночь у самой дерновой скамьи, и этот гриб оказался не чем иным, как серой войлочной шляпой господина Дапсуля фон Цабельтау, а под нею скрывался он сам. Поднявшись, он с жаром бросился на грудь к господину Амандусу фон Небельштерну и закричал в сильнейшем экстазе:

— О мой дражайший, наидостойнейший, милейший господин Амандус фон Небельштерн! Вы сразили всю мою кабалистическую мудрость вашими могущественными стихотворными заклинаниями. То, с чем не совладали ни глубочайшее искусство магии, ни отважное мужество отчаявшегося философа, совершили ваши стихи, которые, словно крепчайший яд, впитались в тело предательского Даукуса Кароты, и он, невзирая на свою гномическую природу, погиб бы самым жалким образом от рези в животе, когда б не поспешил уйти в свое царство. Спасена дочь моя Анна, спасен и я от ужасных чар, которые приковали меня к этому месту, где я принял вид поганого гриба и подвергся опасности погибнуть от рук собственной дочери. Ибо добрая девушка острым заступом безжалостно расправляется со всеми грибами в саду и на огороде, ежели они тотчас не обнаруживают своего благородного происхождения, как например шампиньоны. Благодарю вас, горячо, сердечно благодарю, и — не правда ли, глубокоуважаемый господин Амандус фон Небельштерн, — между вами и моей дочерью все останется по-старому? Верно, она, — да смилуется над нами небо, — кознями злобного гнома лишилась своей красоты, но вы довольно философ, чтобы...

— Ах, папаша, любезный папаша, взгляните туда, шелковый-то дворец исчез. Сгинул отвратительный урод вместе со всей свитой салатных принцев и тыквенных министров и невеста кем еще! — и фрейлейн Аннхен побежала на огород.

Господин Дапсуль фон Цабельтау быстро, как только мог, пустился вслед за дочерью, за ним последовал господин Амандус фон Небельштерн, ворчавший в бороду: «Не приложу ума, что все это значит, однако же утверждаю, что маленький мерзкий морковный человечек — бесстыдный, погрязший в прозе бездельник, а не поэтический король, иначе у него не случилось бы колик в животе от моей возвышенной песни и он не упал бы в землю».

На огороде, где от всей зелени не осталось и стебелька, фрейлейн Аннхен почувствовала жестокую боль в пальце, на котором был надет роковой перстень. В тот же миг из земли послышался раздирающий сердце стон и показался кончик морковки. Следуя безошибочному предчувствию, фрейлейн Аннхен с легкостью сняла с пальца ранее столь неподатливый перстень и надела его на морковку, которая сейчас же исчезла, а стоны прекратились, и — о чудо! — фрейлейн Аннхен тотчас же стала такой, как и прежде, прелестной и стройной, так бела, как только можно требовать от хозяйственной деревенской девицы. Оба — фрейлейн Аннхен и господин Дапсуль фон Цабельтау — были в восторге, между тем как господин Амандус был ошеломлен и никак не мог уразуметь, что же все это означает.

Фрейлейн Аннхен взяла из рук подоспевшей старшей служанки заступ и, воскликнув:

— Ну, а теперь за работу! — размахнулась да так несчастливо, что угодила господину Амандусу фон Небельштерну в голову (как раз по тому месту, где находится здравый смысл),⁴³ и он упал замертво. Фрейлейн Аннхен далеко отбросила смертоносное орудие, бросилась наземь подле возлюбленного и в отчаянии жалобно заголосила, меж тем как старшая служанка вылила на него полную лейку воды, а господин Дапсуль фон Цабельтау торопливо поднялся на астрономическую башню, чтобы безотлагательно спросить созвездия, впрямь ли умер господин Амандус фон Небельштерн. Прошло немного времени, и господин Амандус фон Небельштерн открыл глаза, вскочил и, весь вымокший, заключил в объятия фрейлейн Аннхен, восклицая в любовном восторге:

— О моя несравненнейшая дражайшая Аннхен! Теперь мы снова обрели друг друга!

Вскоре обнаружилось весьма примечательное, даже едва вероятное действие этого происшествия на возлюбленных. Направление их ума странным образом переменялось. Фрейлейн Аннхен получила отвращение к работе заступом и поистине, словно настоящая королева, стала управлять овощным царством, ибо с любовью следила за тем, чтобы наилучшим образом заботились и пеклись о ее подданных, но сама не при-

кладывала рук, препоручив все преданным служанкам. А господину Амандусу фон Небельштерну все его поэтические порывы, все, что он написал, показалось чрезвычайно нелепым и вздорным; он углубился в произведения подлинных великих поэтов древности и нынешних времен, благотворное вдохновение наполнило его душу, и он перестал думать о своем собственном «я». Он пришел к убеждению, что стихи должны быть не путаным набором слов, возникающим из нелепых бредней, а чем-то иным, и побросал в огонь все, что накопил в стихах и чем сам так восхищался и кичился; он стал прежним рассудительным, чистым сердцем и помыслами юношей.

Однажды утром господин Дапсуль фон Цабельтау действительно сошел с астрономической башни, чтобы проводить фрейлейн Аннхен и господина Амандуса фон Небельштерна в церковь к венцу.

В супружестве они зажили счастливо и радостно; но случилось ли что-нибудь из брачного союза господина Дапсуля с сильфидою Нехахила, о том хроника Дапсультейма умалчивает.



ПРИЛОЖЕНИЯ



А. А. Морозов

НЕМЕЦКАЯ ВОЛШЕБНО-САТИРИЧЕСКАЯ СКАЗКА

1

Немецкая волшебная-сатирическая сказка представляет собой своеобразный литературный жанр, возникший в середине XVIII в. в Германии в результате сложного взаимодействия с европейской, прежде всего французской, литературной традицией. Жанр этот сыграл заметную роль в развитии немецкой повествовательной прозы. Начало ему положил К. М. Виланд. Заимствуя традиционный реквизит французской «сказки о феях», Виланд иронически переосмысляет и пародирует ее мотивы, что создает почву для включения в нее философской и социальной сатиры. Таким путем и идет ее дальнейшее развитие.

Искусственная волшебная сказка появилась во Франции в последней четверти XVII в.¹ В 1690 г. в галантном романе баронессы д'Онуа «История Иполита, графа Дугласа» была опубликована вставная «Сказка Дракона», но, по некоторым известиям, уже лет за пять до этого «сказки о феях» сочиняли и читали вслух в парижских салонах. Серьезным толчком послужили сказки Шарля Перро, напечатанные в 1696 г. в журнале «Галантный Меркурий», а на следующий год вышедшие отдельным сборником под заглавием «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен, с моральными наставлениями». Несмотря на обращение к фольклорным источникам, свежесть и благородную простоту, сказки Перро, особенно более поздние, были не чужды черт книжности и некоторой изысканности (стихотворные сказки «Ослиная кожа», «Потаенные желания» и др.). В них заметно деформировалась народная основа. Дальнейшее развитие жанра усугубило этот разрыв. «Во Франции, — писал Вальтер Скотт, — образовался особый новый вид сказок, который французы называют *contes de fées*, стремясь этим названием отграничить его от распространенных во многих странах обычных народ-

¹ М. Е. Storer. *La mode des contes de fées (1685—1700). Un episode litteraire de la fin du XVII-e siecle.* Paris, 1928.

ных сказок о волшебных существах. *Contes des fées* — совершенно особый жанр, и действующие в нем феи вовсе не похожи на тех эльфов, которые только и знают, что плясать вокруг гриба при лунном свете или сбивать с толку запоздалого селянина. Французская фея больше напоминает восточную пери или фату из итальянских стихов. По своей природе она высшее существо, стихийный дух, обладающий магической силой, и эта сила в значительной мере помогает ей творить добро и зло».²

Волшебная сказка стала излюбленным детищем парижских салонов. В 1637 г. вышли четыре тома «сказок о феях» баронессы д'Онуа. В следующем году они были переизданы и одновременно с ними появились сборники графини Генриетты де Мюра (1670—1716), мадемуазель Комонде ла Форс (Шарлотты Розе, 1650—1724), М. Ж. Леритье де Вилландон (1664—1734), Луизы Онейль (ум. в 1700 г.), Жана Прешака. Сочинители «сказок о феях» свысока относились к безыскусственным сказкам «нянюшек» и самого Перро. Графиня де Мюра, обращаясь в особом посвящении к «новым феям», писала: «Ваши предшественницы, старые феи, после вас не пригодны ни к чему, кроме пустых шуток. Их занятия низкие и ребячьи, не возбуждающие интереса ни у кого, кроме служанок и кормилиц. Вся их забота чисто подмести дом, поставить горшок на огонь, выстирать белье, разбудить и снова убаюкать детей, подоить коров, сбить масло и переделать уйму столь же убогих дел... Они почти всегда стары, безобразны, дурно одеты и живут в плохих жилищах; кроме Мелюзины и полдюжины ей подобных—остальные не более чем оборвашки. Но, вы—милостивые государыни, вы избрали иной путь! Вы заняты только важными делами; самое меньшее из них — дать ум тем, у кого его нет, красоту — уродам, красноречие — невеждам, богатство — беднякам, славу — самым безвестным. Все вы—красивы, молоды, хорошо сложены, искусно и богато одеты, обитаете только при королевском дворе или в волшебных дворцах».³ «Новые феи», наделенные сверкающими крыльями стрекоз, витали среди благоухающих садов, причудливых фонтанов, мраморных бассейнов, подстриженной и упорядоченной природы. Перламутровая раковина стала их символом, как и всего искусства рококо.

Самой талантливой и плодовитой сочинительницей волшебных сказок была баронесса д'Онуа (1631—1705), интриганка и политическая авантюристка, испытывавшая немало рискованных приключений, заставлявших ее балансировать между салоном и виселицей. Став на склоне лет писательницей, она чаще других обращалась к фольклорным мотивам самого различного происхождения, заимствуя их по большей части из литературных источников, которые она в свою очередь подвергала переработке, очищая от всего, что представлялось ей слишком грубым, и дополняя

² Вальтер Скотт. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эриста Теодора Вильгельма Гофмана. Собр. соч. в двадцати томах, т. 20, М.—Л., 1965, стр. 609.

³ E. M. Storer. La mode des contes de fées... p. 152.

своей фантазией. Ее также привлекало все чудесное и фантастическое, что она могла найти у новеллистов Возрождения (особенно у Страпаролы) и в старых авантюрно-рыцарских романах.⁴ Сказки д'Онуа были далеки от живительной простоты Шарля Перро. При всей причудливости они были сухи и рационалистичны. И все же, по словам М. Сторер, баронесса д'Онуа стоит «впереди всех тех, кто предвещает век Ватто, вводя чудесное в салоны... сохраняя в то же время классический рационализм и заботу о морали, оставаясь все время в рамках предизности, принадлежа к Великому веку, благодаря постоянному сочетанию остроумия и картезианства».⁵

В «Сказках о феях» дидактическое начало постепенно ослабевало. Скучное морализирование уступало место непринужденности и насмешке, избравшей своим средством фривольный или скандальный намек на события придворной жизни. Но и самая изощренная выдумка не спасала эти сказки от искусственности и даже банальности.

Волну обновления принесло издание сборника «Тысячи и одной ночи», предпринятое Шарлем Галланом в 1704 г. К 1717 г. вышло двенадцать томов. Перед читателем, писал академик А. Н. Веселовский, предстал «особый мир, знакомый и незнакомый вместе, фантастический и реальный, те же образы, что и в народной сказке, но окутанные теплом и ароматами востока». Действие их происходит не в неведомых землях, описанных в рыцарских романах, а на «настоящем Востоке». Те же феи и волшебники, джины и скаменелые города, но все в грандиозных размерах, перерастающих воображение и вместе мирящихся с реальностью.⁶ Успех «1001 ночи» вызвал к жизни переводы аналогичных сборников, подделки и подражания. В 1707 г. Пети де ла Круа выпустил «турецкие сказки» — «Историю персидского султана и его визирей», а в 1710 г. в сорудничестве с Лесажем — сборник «1001 день, персидские сказки». В 1712 г. появились «Бретонские вечера» Тома Симона Геллета (1683—1766), представлявшие собой переработку итальянского сочинения «Странствия трех сыновей короля Серендиппо», а за ними последовали компилятивные сборники «Тысяча и одна четверть часа, татарские сказки» (1715), «Диковинные приключения мандарина Фум-Гоама, китайские сказки» (1723), «Султанши Гузарата, или Сны Бодрствующих людей» и другие.⁷ Обрамления этих сборников обычно варьировали приемы «1001 ночи».

⁴ K. Krüger. Die Märchen der Baronin Aulnay. Leipzig, 1914.

⁵ E. M. Storer. La mode des contes de fées... p. 41.

⁶ А. Н. Веселовский. Сказки «Тысячи и одной ночи» в переводе Галлана. В кн.: А. Н. Веселовский, Собр. соч., т. 16. А.—М., 1938, стр. 231. См. также: И. Эструп. Исследование об истории «Тысячи и одной ночи», ее происхождении и развитии. Перевод с датского Т. Ланге под ред. и с предисловием А. Е. Крымского. Труды по востоковедению Лазаревского института восточных языков, вып. 8, М., 1905.

⁷ Обзор этих сборников см. в кн.: John Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen oder Geschichte der Romane, Novellen, Märchen u. s. w. Mit Anmerkungen von Felix Lieb-

«Восточная сказка», развиваясь на европейской почве, выделила жанровые разновидности. Появилась гротескная и гривуазная сказка, использующая волшебный реквизит как средство для создания рискованных ситуаций. Этим путем пошел Клод Кребийон-младший (1707—1777), книги которого «Шумовка» (1734) и «Вот так сказка» (1751) пользовались большим успехом. Развитие жанра толкало к ироническому переосмыслению избитых мотивов, пародированию их и внесению сатирических черт. Первый шаг в этом направлении сделал Антуан Гамильтон (1646—1720), оказавший влияние на Вольтера и Виланда. Был он известен и А. С. Пушкину. Среди сказок Гамильтона выделяются известные посмертно (в 1730 г.) «Четыре факардина» — о забавных и невероятных похождениях некоего трапезундского принца, поведенных с живостью и остроумием. И, наконец, на условном, но хорошо знакомом фоне восточной повести и сказки рождается философская сатира. Появляются «Персидские письма» Монтескье (1721) и «Задиг» Вольтера (1748).

Избирая местом действия полусказочный Восток и описывая деспотическую власть калифов и визирей, просветительская сатира метила в оживающие порядки монархической Европы. Она использует традиционный реквизит «восточной сказки» не только как удобный покров для различных намеков на европейские отношения, но и для создания своеобразного противопоставления европейской цивилизации «здравому смыслу» «восточного мудреца» или неиспорченного «гурона» (в повести Вольтера «Простодушный», 1767), как бы смотрящих на нее со стороны. Под углом зрения этой критики изжившие себя политические и социальные институты, религиозные и этические предрассудки выступали особенно рельефно, как исторические анахронизмы. Диалоги и рассуждения, включавшиеся в эти философские сатиры, ставили проблемы «разумности» общественного устройства «естественного права» человека и общезначимых этических норм. Наряду с философской сатирой до самой французской революции дожила и находила усердных читателей более простая, легкая, веселая и непритязательная сказка «о феях», также подчас не лишенная сатирического жала.

recht. Berlin, 1851, SS. 410—411. — Эти сборники наряду с переводами «Тысячи и одной ночи» Галлана пользовались успехом в России и выходили в русских переводах: Геллет. 1) Тысяча и один час, сказки перуанские. Тт. 1—3. М., 1766—1768; 2) Гузаратские султанши, или Сны неспящих людей, могольские сказки. Тт. 1—3. СПб., 1768—1769; 3) Тысяча и одна четверть часа, повесть татарская. Чч. 1—4. М., 1777—1778; Петт де ла Круа. Тысяча и один день, персидские сказки. Чч. 1—4. СПб., 1778—1779. (Перевод М. И. Попова). Из сказок «Кабинета фей» переведены две сказки д'Онуа: «Басня о белой кошке» (СПб., 1779) и «Сказочка о померанцевом дереве и пчеле» (СПб., 1779). Сказка М. Леритве «Разумная принцесса» знакома русскому читателю по сборнику сказок Перро «Повести волшебные» (М., 1795), которому она приписывалась. В начале 80-х годов XVIII в. в переводе Василия Левшина вышла книга «Найда, сказка графа Гамильтона» (М., б. г.).

Своеобразным памятником увлечения волшебной сказкой в XVIII в. явилось роскошное и изящное издание «Кабинета фей» — достигшее к 1785 г. сорока одного тома.⁸ Оно включило в себя все разновидности этого жанра, начиная от сказок Мюра и Онуа, переводов «1001 ночи» Галлана, сказочных пародийных повестей и кончая переведенным на французский язык романом Виланда «Дон Сильвио де Розальва», едко высмеивавшим этот жанр.

2

В 1760 г. Кристоф Мартин Виланд (1733—1813) после странствований по Германии и Швейцарии осел в маленьком швабском городке Биберахе, где занял скромное место письмоводителя ратуши. К тому времени он уже прошел значительный путь литературного и философского развития. Он начал как приверженец Клопштока и Бодмера, религиозный поэт и моралистический писатель, выпустивший (анонимно) несколько небольших книг: направленный против анакреонтиков памфлет «Анти-Овидий» (1753), «Письма умерших покинутым друзьям» (1753), библейскую поэму «Авраам испытываемый» (1753), сочинение «Чувствования христианина» (1757). Но вскоре наступил перелом. Виланд разочаровался в христианской догматике и платоновском идеализме. Он обратился к великому наследию античности. Его привлекают произведения Луккиана, Вольтера, французских энциклопедистов. Он изучает и переводит Шекспира. Его творчество развивается в сторону скептического эстетизма. В нем намечаются гедонистические тенденции. В 1762 г. Виланд надолго откладывает начатый им «воспитательный роман» «Агатон» и вскоре поражает читателей сборником «Комических рассказов» (1765), где персонажи античной мифологии выступают в грациозных одеждах рококо, приводя на память картины Буше и даже совпадая с ними по сюжетам («Суд Париса», «Сеть Вулкана»).

В это время Виланд сблизился с двором старого графа Фредерика Штадиона (1691—1774), обосновавшегося в замке Вартхаузен непода-

⁸ Cabinet des Fées. 41 vol. Amsterdam et Geneve. (Полный экземпляр в БАН). Ф. Бирлинг с 1761 по 1765 г. издал в своем переводе собрание волшебных сказок (Das Cabinet der Feen oder Gesammelte Feen-und Geister-Märchen. Herausgegeben und übersetzt von Friedrich E. Bierling. Bd. I—IV. Nürnberg, 1761—1765), в основу которого было положено девятитомное первое французское издание «Кабинета фей» (Амстердам, 1717). Укажем также на «Голубую библиотеку» волшебных сказок, изданных Ф. Бертухом, известную немецким романтикам: Blaue Bibliothek aller Nationen. Herausgegeben und übersetzt von Friedrich I. Bertuch. Bd. I—XII. Gotha. 1790—1800. Библиография немецких переводов и оригинальных произведений этого жанра на немецком языке приведена в кн.: Richard Benz. Märchen-Dichtung der Romantiker. Mit einer Vorgeschichte. Gotha, 1908, SS. 224—231. О характере и особенностях французских и немецких волшебных сказок этого времени см.: H. Hillmann. Wunderbares in der Dichtung der Aufklärung. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 43. Jg., 1969, Heft I, SS. 76—113.

леку от Бибераха.⁹ Граф говорил и писал только по-французски. Он обладал обширной библиотекой, куда вскоре получил доступ Виланд. Граф не чуждался галантных приключений, но, чтобы не утруждать себя писанием страстных писем, поручал их своему секретарю и воспитаннику Ла Рошу, который должен был научиться имитировать его почерк. А некоторые росписи в замке носили столь фривольный характер, что впоследствии были закрасены стыдливыми наследниками владельца.¹⁰ «Комические рассказы» Виланда, вызвавшие бурю негодования среди чопорного бюргерства и литературных приверженцев Клопштока, отвечали вкусам и настроениям этого карликового двора.

Очутившись в художественной атмосфере рококо, впечатлительный и восприимчивый Виланд не превратился в бездумного эротического писателя. Он не утратил беспокойства мысли и склонности к философским размышлениям, но приобрел легкость и изящество стиля, почти неведомые тогдашней немецкой литературе, стал мастером художественной формы. Он называл свои произведения созданием «поэтической игры» («Spielwerk»). На них лежала печать неуловимой двусмысленности и насмешливого скепсиса, но в его творчестве, хотя и несколько приглушенно, продолжали развиваться просветительские тенденции. Виланд осыпал ядовитыми стрелами косность, ханжество и нетерпимость, издевался над «мечтательностью» и наивностью незрелых и склонных к метафизике умов.

«Мечтательность» («Schwärmerei»), которую осмеивает Виланд, это не пассивные грезы, а деятельное и мечущееся сумасбродство, экзальтация и наивный нетерпеливый энтузиазм, который превратно воспринимает действительность и стремится подчинить ее своим фантазиям. Нападки на такую «мечтательность» встречаются в ряде произведений биберахского периода: первоначальном наброске «Агатона», поэмах «Музарнон или философия граций» (1768), «Идрис» (1768), «Новый Амадис» (1771). Целиком этой теме Виланд посвятил роман «Победа природы над мечтательностью или Приключения дона Сильвио де Розальвы. История, в которой все чудесное происходит естественным образом». Он приступил к нему, по-видимому, весной 1763 г. Первое упоминание об этой работе встречается в его письме к цюрихскому издателю Соломону Гесснеру, которому Виланд сообщил 5 августа того же года: «Это род сатирического романа, который, при кажущейся фривольности, достаточно философичен, и как я представляю, не покажется скучным ни одному роду читателей, за исключением самых придирчивых».¹¹ 6-го октября того же года Виланд извещал, что рукопись первой части отправлена Гесснеру на одобрение.

⁹ L. F. Ofterdinger. Christoph Martin Wieland's Leben und Wirken in Schwaben und in der Schweiz. Heilbronn, 1877, S. 167.

¹⁰ Friedrich Sengle. Wieland. Stuttgart, 1949, S. 171.

¹¹ Ausgewählte Briefe von C. M. Wieland an verschiedene Freunde in den Jahren 1751 bis 1810 geschrieben. 2 Bd. Zürich, 1815, SS. 220—221. (БАН).

Издатели, однако, колебались.¹² Получив от Соломона Гесснера уклончивый ответ, Виланд 7 ноября 1763 г. написал ему: «Я охотно соглашусь с вами, что различие по духу и тону, который господствует в этой вещи, с торжественными сочинениями моей молодости, может оттолкнуть значительную часть читающей публики. Не следует почитать предрассудки, однако надо их сторониться, как быка с клоком сена на рогах. Это маленькое жизненное правило, нарушение которого мне уже причиняло вред чаще, нежели какому-либо скрытному и осторожному злодею все его проделки».

При всей готовности Виланда к политическому и литературному компромиссу, его сказка скрывала тонкое сатирическое жало. «Мечтательность», которую он развенчивал, содержала в себе не только жизненную или литературную, но и философскую подоснову. Ее разрушение означало не только преодоление иллюзионистского состояния героя, но и той философской позиции, когда мысль отрывается от реальности и оказывается в плену традиционных представлений, толкающих к наивному или опасному фанатизму. «Мечтательность» становится аспектом косности. В том же письме к издателю, разъясняя значение сказки, Виланд делает такое признание: «Чем более я научаюсь познавать человека и людей со всех точек зрения и во всех обстоятельствах, почерпнутых из истории и моего собственного опыта, тем больше утверждаюсь в мнении, что зародыши суеверия и энтузиазма, из коих первое характеризует низменное и животное, а второй благородное и возвышенное, — коренятся в человеческой природе; однако глупейшие фантазии, дикие и преувеличенные страсти, причудливый образ мысли и разнузданные выдумки и поступки, которые вызывает второй, вместе с легковерной глупостью, предубеждением, тупым упорством и жестокостью, являющимися плодами первого, — прежде всего и всегда производят сильнейшее опустошение в царстве здравого смысла и общественной жизни; и то, и другое свойственно человеческой натуре, причем первый коренится в активной, а второе в ее пассивной части; то и другое приносит и много хорошего; энтузиазм производит блестящие, смелые и предприимчивые души, суеверие — послушных, терпеливых, благочестивых скотов, что бредут правильной стезей паствы и для всего полагают предписаниями, от коих не смеют отступить. Однако же, при всем том, во всякое время весьма необходимо и целительно позаботиться, чтобы вдоволь посмеяться и над побудительными причинами, вызывающими страсти, и над неуклюжей силой инерции человеческой природы. Шутка и ирония, наряду с достодолжным употреблением пяти чувств, всегда считались лучшим средством против разгула того и другого; и с таким умыслом, как то видно из эпитафии, и написана история донна

¹² Письмо адресовано издателям Орель, Гесснеру и Фюсли. *Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wieland*. Herausgegeben vom Ludwig Wieland. Wien, 1815, SS. 1—2. (БАН).

Сильвио».¹³ Это письмо не убедило издателей, а скорее еще больше настрожило их. Несмотря на старую дружбу с Виландом (которая отнюдь не прерывалась), они так и не отважились напечатать его роман. Виланду пришлось издать его в Ульме анонимно.

Фабула романа не отличается сложностью. В изложении преобладает тон непринужденной беседы, окрашенной легкой иронией. Основное содержание сводится к следующему: Старая знатная дама Менция де Розальва воспитала рано осиротевшего племянника дона Сильвио в сельском уединении заброшенного замка в Валенсии. Едва он научился у деревенского священника латыни настолько, чтобы читать «Метаморфозы» Овидия, а у местного цирюльника музыке так, что смог брэнчать на гитаре, как мог уже почитаться «совершенным дворянином». Вращенный в полном неведении жизни и предоставленный самому себе, он увлекся чтением рыцарских романов и волшебных сказок, найденных в старом чулане. Они развили в нем необузданную фантазию и «мечтательность». Однажды в лесу, погнавшись за голубой бабочкой, он нашел осыпанный бриллиантами медальон с исполненным на эмали портретом молодой пастушки. Пригрезившаяся ему добрая фея открыла, что именно эту пастушку и обратила в голубую бабочку злая фея Фанферлюш, так как та не желала выйти замуж за ее племянника, отвратительного карлика. Дон Сильвио, разумеется, влюбился в изображение пастушки и стал помышлять об избавлении ее от чар. Тем временем донна Менция, чтобы поправить свои дела, вознамерилась женить его на богатой, но безобразной девице, племяннице одного прокурора. И вот дон Сильвио во время прогулки с невестой неожиданно возомнил, что она-то и есть злая фея, которая покушается и на его свободу. Подоспевший слуга Педрилло едва удержал дона Сильвио от приступа бешенства, и вот они оба бегут из замка и отправляются на поиски голубой бабочки. После различных приключений, в которых все обыденное воспринимается донем Сильвио как сказочное, они попадают в богатый замок, который кажется ему резиденцией феи. Владелица замка донна Фелиция, ее брат дон Евгению, его приятель дон Габриель и донна Гиацинта составляют приятное и веселое общество. Заметив, что их гость живет в мире грез, они задаются целью вернуть его к действительности. Дон Габриель рассказывает удивительную «Историю принца Бирибинкера», где, как в фокусе, собраны нелепости и преувеличения волшебных сказок. Дон Сильвио, который сперва принимает эту историю за чистую монету, понемногу начинает сомневаться и, как только выяснилось, что найденный им в лесу портрет пастушки был изображением родной бабушки донны Фелиции, когда той было шестнадцать лет, излечивается от своих бредней и обручается с владелицей замка. В донне Гиацинте он обретает родную сестру, похищенную в детстве цыганами. Она выходит замуж за дона Габриеля, а продувной слуга Педрилло женится

¹³ Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wieland... SS. 6—7.

на камеристке донны Фелиции — Лауре. Все удаляются в веселое путешествие. Посрамленная донна Менция и племянница прокурора уходят в монастырь. Роман, основное действие которого происходит в три дня, построен по типу традиционной легкой комедии и не случайно оканчивается сразу тремя браками.

Изложение этого несложного романа занимает, однако, свыше шестисот страниц. Он наполнен не только описанием сумасбродств и бредней дона Сильвио, но и скептически философскими рассуждениями дона Габриеля и самого автора. Виланд подробно излагает содержание сказок «кабинета фей», из которых приводит едва ли не больше нелепостей, чем в «Истории принца Бирибинкера». Они доказывают отсутствие художественного такта и вкуса у сочинительниц французских волшебных сказок, предваряя и подготавливая введение в роман пародийной истории Бирибинкера. В четвертой главе первой книги романа Виланд упоминает некую принцессу Бабиолу и тут же делает примечание: «Принцесса Бабиола, превратившаяся в обезьянку, получает от короля Магота, который хотел вступить с нею в брак, среди прочих подарков оливку и орешек, которые были талисманами. Когда она, наконец, пустилась в бегство, к чему ее побудил страх перед браком, не отвечавшим ее склонностям, нужда побудила ее надкусить оливку, и ее масло вернуло ей прежний облик, а когда она раскусила орешек, то из него выкатилось еубарем множество крошечных архитекторов, плотников, каменщиков, столяров, обойщиков, живописцев, ваятелей, садовников и т. д., и они за несколько мгновений построили ей великолепный дворец, окруженный самым прекрасным парком на свете. Повсюду блистало золото и лазурь. Внесли великолепный обед; шестьдесят принцесс, одетых более пышно, чем королевы, в сопровождении кавалеров и свиты встретили прекрасную Бабиолу изысканными поклонами. После стола хранители ее сокровищницы внесли пятнадцать тысяч ящиков, полных золота и алмазов, коими она одарила строителей ее дворца, с условием, что они ей скоро построят город, где она обоснуется, что тотчас же и произошло, и за три четверти часа был построен город, в пять раз больший, чем Рим. Пожалуй, слишком много диковинных вещей из одного маленького орешка, говорит сама удивительная дама д'Онуа — изобретательница этой достойной изумления сказки».¹⁴

Атмосфера легкой пародии распространяется по всему роману, достигая наибольшей концентрации в «Истории принца Бирибинкера». Сказочный мир фей отождествляется Виландом с представлениями о таинственных «стихийных духах». В романе «Дон Сильвио де Розальва», и в частности в примечаниях к «Истории принца Бирибинкера», Виланд ссылается на загадочную книгу «Граф Габалис, или Разговоры о тайных науках»,

¹⁴ Все ссылки на роман «Дон Сильвио» (за исключением особо оговоренных случаев) даются в тексте статьи по изданию: С. М. Wieland. *Sämmtliche Werke*. Bd. 11—12. Leipzig, 1795.

вышедшую анонимно в Париже в 1670 г. и приобретающую широкую известность.¹⁵ Ее сочинил или составил Никола Пьер Анри Виллар де Монфокон — богослов и авантюрист, родившийся в 1635 г. неподалеку от Тулузы. Появившись в 1667 г. в Париже, он выступал как блестящий проповедник и памфлетист, нападавший на Декарта, Паскаля и Расина, увлекся алхимией и кабалистикой и, по-видимому, сблизился с парижскими розенкрейцерами. Через три года после появления книги о Габалисе¹⁶ автор был убит по дороге в Лион при таинственных обстоятельствах, породивших странные толки и рассказы. Анатоль Франс в романе «Харчевня королевы Педок» (1893) в фигуре аббата Куаньяра пытался воссоздать облик этого писателя, а описание внешности и костюма «кабалиста» графа д'Астарака напоминает портрет, приложенный к амстердамскому изданию «Габалиса» 1788 г.

Книга аббата Виллара де Монфокона явилась отражением идей Парацельса, воспринятых в среде, близкой к движению розенкрейцеров, и получивших у них своеобразное преломление. Парацельс возвещал единство сил природы и стремился постичь всеобщую связь явлений материального мира, космоса и микрокосмоса с человеческой натурой. Созданная им величественная концепция содержала глубокие и плодотворные мысли, оказавшие влияние на развитие естествознания, особенно химии и медицины. Вместе с тем учение Парацельса содержало фантастические черты. Алхимия сочеталась с астрологией, что находило выражение в причудливой символике. Социально-утопические идеи выражались в туманной мистико-эсхатологической форме, что вполне отражало умственное брожение и беспокойные поиски новых принципов познания природы, нового религиозного и философского понимания мира наряду с нарастающим антифеодальным протестом.¹⁷ Все это привлекало к Парацельсу представителей крайних умственных течений, тайных орденов и адептов «сокровенных наук».

Особое место среди сочинений Парацельса занимал приписываемый ему трактат «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах», излагающий его представления о «стихийных духах», являющихся соединительным звеном в градации живых существ, восходящих от мертвой материи к высшей духовности. Они возникают, как обычные тела природы, из «первоэлементов» мира «стихий» — огня, воздуха, воды и земли, чем и объяс-

¹⁵ Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secretes. Paris, 1670. Библиографию изданий и переводов Габалиса см.: E. Freske. Der Rosenkreuzerroman «Le Comte de Gabalis» und die geistigen Strömungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin, 1933.

¹⁶ Граф Габалис — вымышленное имя, образованное путем замены начальных букв названия книги «Кабала», написанной на древнееврейском языке.

¹⁷ Недавно стало известно, что Парацельс был связан с антифеодальным движением и даже был известен его вождям. Th. Paracelsus. Sämtliche Werke. 2. Abteilung. Theologische- und religionswissenschaftliche Schriften. Bd. 2. Ethische, soziale und poetische Schriften. Wiesbaden, 1965.

няются различия в их свойствах. «Стихийные духи» естественны как сама природа. Они даже более материальны, чем человек, ибо не наделены бессмертной душой, хотя и обладают разумом и чувствами. Их «плоть» подобна человеческой и состоит из тела, крови, костей, но так как она составлена из тончайших первоэлементов, то более тонка («субтильна»), летуча, невесома и не улавливается обычными человеческими чувствами, а становится им доступна лишь при особых обстоятельствах и с помощью магических средств, известных лишь «посвященным» или по желанию самих «стихийных духов», ищущих общения с человеком, надеясь через него приобщиться к бессмертию. Габалис сообщает, что многие «великие люди», в особенности маги, начиная с Аполлония Тианского, родились от «мистических браков», в которые вступали благородные женщины со стихийными духами, главным образом саламандрами и сильфами. Представления о них выходят за пределы христианской теологии и отчасти коренятся в языческих поверьях, доживающих в народе, что придавало им живучесть и поэтическую прелесть.

Тема общения человека со «стихийными духами» становится достоянием европейской литературы с конца XVII в. Книгу «графа Габалиса» с увлечением читали в светских салонах, где она воспринималась на общем фоне «сказок о феях» в художественной атмосфере рококо. Довольно скоро слепое доверие к Габалису, сохранявшееся преимущественно среди розенкрейцеров, сменилось насмешкой. Все, что было поведано в этой книге как «сокровенная тайна», представлялось сущим вздором, мистификацией или даже пародией. На «Габалиса» ссылается Катерина Дюранд в романе «Графиня Марсан» (1699), куда были включены и сказки о феях. И как признается в своем рукописном дневнике Генриетта де Мюра, ее больше всего очаровал в «Габалисе» тон легкой насмешки и персифляжа, что и вдохновило ее написать сказку «Влюбленный сильф».¹⁸ Мотивы, заимствованные из «Габалиса», переходят в бытовую повесть, получают ироническую и фривольную интерпретацию у Кребийона-сына, Грекура, Фавара, Ретифа де ла Бретона и у множества других писателей.¹⁹ Они проникают в далекую Россию, где в 1782 г. появляется в издании Н. И. Новикова перевод пьесы Ж. Ф. де Сен Фуа «Сильф» (1743), еще ранее послужившей основой для «комедии с песнями» Н. А. Львова «Сильф или мечта молодой женщины» (1778), музыку для которой написал Н. П. Яхонтов.²⁰

Начало иронической трактовки «стихийных духов» положил в немецкой литературе Виланд. Тема общения «стихийных духов» с человеком,

¹⁸ M. E. Storer. La mode des contes de fées... p. 243.

¹⁹ Edward D. Seeber. Sylphs and other elemental beings in french literature since «Le comte de Gabalis» (1670). Publications of the Modern Language Association of America, vol. 59, 1944, № 1, part 1, pp. 71—83.

²⁰ А. С. Розанов. Композитор Николай Петрович Яхонтов. Музыкальное наследство, т. 1, М., 1964, стр. 11—64.

истолкованная Габалисом как особый мистический и целомудренный «духовный брак» и потому носившая вполне серьезный характер, разработана Виландом весьма фривольно. Сильфы, ундины, саламандры, гномиды участвуют в создании веселой феерии, развертывающейся в «Истории принца Бирибинкера». Серьезное отношение к ним было убито, несмотря на последующие героические усилия де ла Мотт Фуке и других романтиков. Но как мы еще увидим, даже Э. Т. А. Гофман обращается к «Габалису» прежде всего как к источнику фантастических и гротескных мотивов.

В пятой книге «Дона Сильвио» Виланд поместил своего рода декларацию, в которой указывает на характер и особенности романа и его место в ряду других литературных произведений. Полушутя, он уверяет, что «при обнаружении этой правдивой и достоверной повести имелось в виду не какое-либо пустое увеселение, как то могут возомнить молодые легкомысленные вертопрахи, а общее благо и споспешествование телесному и душевному здравью любезных читателей». Виланд видит в ней спасительное средство «от сумасбродства и гипохондрии» и раздражается следующей иронической тирадой: «Меж тем желаем мы, чтобы какая-нибудь европейская академия, хотя бы в городе По в Беарне, соблаговолила назначить премию в пятьдесят дукатов за исследование мною многоразличной физической, моральной и политической пользы, какую может получить человеческий род от сочинений, кои вызывают смех; особливо же за основательное решение вопроса: не послужит ли скорее ко всеобщей пользе, как и к процветанию книгопродавческого дела (что, как известно, составляет знатную часть европейской торговли), ежели вместо множества скверных и посредственных серьезно-нравоучительных книг во всех форматах, какие под многообещающими заглавиями утомляют бедный свет повседневными наблюдениями, корявыми, плохо слепленными и неудобоваримыми мыслями, холодной декламацией и благими пожеланиями скучнейших авторов — выпускать каждые полгода на книжные ярмарки несколько дюжин книг во вкусе „Комического романа“, „Жиль Блаза“, „Найденыша“ — и даже „Кандида“ или „Гаргантюа и Пантагрюэля“, где правда высказана со смехом и где сорваны обманчивые маски с глупости, сумасбродства и плутовства, а люди, со всеми их страстями и безумствами, предстают в их подлинном облике, без преувеличения или умаления, и со всех их деяний стерт тот лак, коим обыкновенно покрывают их гордость, самообман и тайные поползновения; книги, которые с тем большим успехом наставляют и исправляют, когда они кажутся написанными только для увеселения и даже если бы они ничему больше не служили, как только затем, чтобы выбить пыль из голов занятых людей в часы их отдохновения, а бездельникам безвредно занять их праздность, а также поддерживать добрый юмор в народе, — то все еще были бы они в тысячу раз полезнее, нежели вымолоченная моральная солома, сия методическая мешанина уродливых и пестрых идей, чем эти школьные хрии, которые здесь подразумеваются

и которые (под покровом благих намерений, за коими скрываются их авторы) способны куда более испортить головы читателей, нежели исправить их сердца, и не причиняют толикого вреда потому только, что их обыкновенно употребляют лишь на завертывание других книг».

Виланд не только нападает на моралистические сочинения, но и отстаивает право писателя «говорить правду со смехом» (что, возможно, свидетельствует о его знакомстве с эпиграфом к «Симплициссимусу» Гриммельсгаузена). Возражая против засилья «повседневных наблюдений», он выдвигает на первый план исполненные жизненной силы грубо-комические романы Скаррона, Лесажа, Фильдинга, вспоминает Вольтера и Рабле. Но сам он почти ни в чем не следует названным им образцам. «Дон Сильвио» далек не только от Рабле, но и от «Комического романа» Скаррона. И хотя имена большинства персонажей «Дона Сильвио» можно найти у Лесажа, вся атмосфера «Жиль Блаза» осталась чужда Виланду. Только отдельные мотивы (например, история Гиацинты) могут быть признаны отзвуками «Жиль Блаза». Этим, пожалуй, и ограничивается связь между ними.²¹ Камеристка Луиза и Педрилло скорее напоминают слуг из комедий Бомарше и Гольдони, чем персонажей Фильдинга. Роман Виланда лишен выпуклости и грубоватой жизненности. Его персонажи бесплотны, как и феи волшебных сказок. Отличительная черта тех и других — умение вести остроумную светскую беседу. Даже «прозрение» дон Сильвио и его отказ от мира грез происходят лишь в результате воздействия литературной пародии, а не самой жизни.

Появление «Дона Сильвио» критика встретила сдержанной похвалой. «Весьма достойно сожаления, — отозвались «Гёттингенские ученые известия», — что этот роман не издан в свет по крайней мере на сорок лет раньше, когда сказки о феях были в чести, — или по крайней мере если бы сочинитель больше стремился к оригинальности, чем старался копировать Сервантеса. Совершенно отчетливый отпечаток подражания лишает всю историю прелести новизны, а так как склонность находить в историях о феях особое удовольствие ныне вышла из моды, то сочинителю недостает всего, что может представить интерес в главных персонажах и построении романа». После столь сурового приговора рецензент все же замечает, что во всем остальном, что касается «исполнения и одеяния» (формы) романа, он не только оригинален, но «делает честь нам, немцам». Он исполнен «редкого и плодотворного остроумия», насмешливой сатиры, подлинного юмора. Его философия не взята из общедоступных компендиумов, а свидетельствует о большой образованности. Язык отличается тонким изяществом и чужд «площадных черт».²²

Современники считали «Дона Сильвио» подражанием «Дон Кихоту». Но это неверно. Роман лишь внешне проецирован на великое творение

²¹ A. Martens. Untersuchungen über Wielands «Don Sylvio». Halle, 1901, SS. 8—9.

²² Göttingische Anzeiger von Gelehrten Sachen. 1764. 123 Stück, 13 Oct. (БАН).

Сервантеса. К нему восходят отдельные реминисценции и основной мотив «безумия от книг», к тому времени ставший достоянием многих писателей.²³ В «Экстравагантном пастухе» Сореля выведен молодой человек, начитавшийся пасторалей, как дон Сильвио волшебных сказок о феях, и вытворявший различные дурачества. В сатирическом романе Шарлотты Леннокс «Женский Дон Кихот», переведенном на немецкий язык за восемь лет до появления «Дона Сильвио», молодая девушка, выросшая в неведении жизни, ищет в окружающей действительности все, что она вычитала в романах Мадлены Скюдери.²⁴ Можно сказать, что обращение к этому мотиву было удобным средством пародирования отживающих жанров.

Отличительной чертой Виланда была высокая литературность. Начитанность его необычайна. Он способен искренне увлекаться чужими произведениями и следовать за ними с легкостью и непринужденностью, разрабатывая, дополняя, иронически переосмысляя, а подчас и пародируя их мотивы. «Я никогда не сочинял что-либо, к чему не нашел бы материал помимо себя, в каком-нибудь старом романе, легенде или фавль», — откровенно признавался он.²⁵ По его мнению, «истинным мастером» делает писателя не «изобретение неслыханного сюжета, неслыханных вещей, характеров, ситуаций», а «тот дух, который он сможет вселить в свои творения, красота и прелесть, которые он сумеет им придать».²⁶ Это вполне отвечает эстетическим принципам рококо. Особенностью повествовательной манеры Виланда становится остроумная игра с хорошо знакомым, искусство намека, в чем он и достиг подлинной виртуозности. Он как бы делал литературу из литературы, рассчитывая на образованного читателя, которого никогда не упускает из виду, журит за невнимательность, напоминает о рассказанном, иногда даже доверительно сообщает разные подробности как бы тайком от героя, которому это еще рано знать.²⁷ Характеризуя прокуратора Родриго Санчеса, который выступает в романе «Дон Сильвио» как эпизодическая фигура, он ограничивается замечанием, что тот был «столько же дон», как и Гусман.

²³ St. Tropsch. Wielands «Don Sylvio» und Cervantes «Don Quijote». «Euphorien», 4. Ergänzungsheft, [1899].

²⁴ Charlotte Lennox. 1) The female Quixote or the Adventures of Arabella. 2 vol. London, 1752; 2) Don Quijote im Reif-rocce, oder die abentheuerlichen Begebenheiten der Romanheldin Arabella. Hamburg und Leipzig, 1754.

²⁵ [K. W. Böttiger.] Literarische Zustände und Zeitgenossen in Schilderung aus Karl August Böttigers handschriftlichen Nachlasse, Herausgegeben von K. W. Böttiger, Bd. I. Leipzig, 1838, S. 182.

²⁶ Письмо к Софии де ла Рош от 8 января 1764 г.: С. М. Wielands Briefe an Sophie de La Roche. Herausgegeben von Franz Horn. Berlin, 1820, S. 250.

²⁷ A. Martens. Untersuchungen über Wielands «Don Sylvio», SS. 80—86; Jürgen Jacobs. Der Roman der schönen Gesellschaft Untersuchungen zu Wielands Erzählkunst. Diss. Köln, 1965, SS. 30—41.

предполагая, что читателю уже знаком знаменитый плутовской роман Матео Алемана «Гусман де Альфарче». Виланд с помощью художественных и литературных ассоциаций описывает наружность героев и создает гротескные фигуры, как, например, племянницы «прокуратора» донны Мергелины, заранее сообщая, что он предлагает читателю «картину во вкусе ван Остаде». Рот этой достойной девицы был столь велик, что в нем можно было «поворачивать туда и сюда, без малейшей опасности для ее широких зубов», шумовку принца Танзаи (из повести Кребийонасына). «Волосы у нее не были белокурыми, как у Цереры, ни каштановыми, как у Венеры, ни золотистыми, как у Красавицы с золотыми кудрями, а огненно-рыжи, и притом от природы столь прямы и коротки, что могли бы посрамить все искусство и терпение Кипассис». Это место Виланд снабжает примечанием: «Имя камеристки возлюбленной Овидия, которая была в глазах этого ветреного любовника достаточно привлекательна, чтобы порой склонять его к измене ее повелительнице. Он прославляет камеристку за искусство, с каким она укладывала ее волосы на тысячу ладов».

Виланд часто пользовался привычными поэтическими средствами, красками, эпитетами, сравнениями. Его излюбленное определение — «прекрасный» — «прекрасные волосы», «прекрасные руки», «прекрасные уста» и т. д. Блеск «прекрасных зубов» уподобляется жемчугу, а румянец щек неизменно сравнивается с розой. Грудь красавиц посрамляют белизной снег и лилии. Они «пышны», «круглы», «подобны спелым гроздьям» и, разумеется, так прекрасны, что им могут позавидовать богини. Это придавало изящной прозе Виланда налет банальности. Однако эта «стертость» стиля была также общим свойством литературы рококо. Трафаретные эпитеты и сравнения, постоянные условные краски создавали декоративный фон повествования. Зрение и слух скользят по нему, почти не замечая. Особая оригинальность была даже не уместна, ибо нарушала бы общую гармонию. «Плоскостность» изображения в то же время предполагала легкость, грациозность и живописность. Даже гротеск рококо, хотя и прибегает к грубо-комическим средствам, чужд громоздкости, олитературен и стремится к своеобразному изяществу. Он не потрясает воображения, не ужасает, а забавляет. Гротескные образы Виланда не исчадия ада, а пестрые маски и разряженные карлики, участники феерий и карнавалов. На всем лежит печать искусственности. Когда одетые «пастушками» донна Фелиция и ее камеристка Лаура появляются в лесу, первую из них украшают «вместо естественных цветов маленькие букеты из драгоценных камней, прикрепленные к волосам и груди, чье искрящееся сияние настолько же превосходит блеск ее прекрасных глаз, как белизна ее одеяния ослепительный алебастр плечей и рук». Описывая эту встречу, продувной, но доверчивый Педрилло в конце концов говорит: «Полагаю, что то была фея, и притом наикрасивейшая фея, какую только можно увидеть летним днем».

Относящиеся к этому периоду произведения Виланда переносят нас в художественную и бытовую атмосферу рококо. Повсюду сверкают золото и лазурь, разбросаны павильоны и увитые вьющимися растениями беседки, мраморные бассейны, фонтаны и каскады, искусственные гроты с раскачивающимися на ветру фонариками. Рококо принесло в быт фарфор, шелковые ширмы, миниатюрную живопись, восточные курильницы, пристрастие к поверхностной экзотике, ручным обезьянкам, попугаям, забавным редкостям. Появились фарфоровые группы, представляющие пастушеские или галантные сцены, комические «обезьяньи концерты».²⁸ Ювелиры создавали миниатюрные композиции из золота, серебра, перламутра, горного хрусталя, эмали и драгоценных камней. Оправленные в золото и серебро жемчужины неправильной формы изображали пузатых уродцев, шутов, гномов, карликов, горбунов, алебардчиков, смешных «мужланов», «волынщиков», пьяных поваров, играющих на жарком, как на скрипке, и т. д. Несколько таких гротескных фигурок принадлежало саксонскому королю Августу Сильному. Две из них, работы мастера из Франкфурта Фербека, представляли собой вариацию на мотивы из знаменитой серии гравюр Жака Калло «Gobbi» (1616), а одна изображала придворного шута Августа. На крошечном выдвигном ящичке, украшенном эмалевым портретом короля, как на постаменте, помещена фигурка карлика, составленного из жемчуга, сапфиров, золота и эмали, но с «натуральными волосами». Предназначались эти фигурки для особого «прециозного кабинета» (1733).²⁹

Гротескные фигурки «в духе Калло» особенно вошли в моду в начале XVIII в., после появления анонимно изданного альбома «Il Callotto resuscitato».³⁰ Высеченные из песчаника «горбуны» и «карлики» стали излюбленными формами парковой скульптуры в дворцах и замках. В замке графа Антона фон Шпорка «Кукус» (неподалеку от Праги) скульптор Маттиас Браун создал целую аллею таких «карлов». Им же исполнены такие же фигуры в замке Нейвальдегг в Вене и др. Их делали из терракоты и фарфора, вырезали из дерева и слоновой кости.³¹ Это увлечение отвечало стилевым устремлениям рококо, отмеченным любовью ко всему «забавному», легкому гротеску и карикатуре. Виландовский

²⁸ О художественной культуре рококо: A. Schonberger, H. Solhner. The Age of Rococo. London, 1966; Hans Sedlmayr. Zur Charakteristik des Rokoko. In: Manierismo, barocco, rococo. Roma, 1962, pp. 343—351; A. Anger. Literarisches Rokoko. Stuttgart, 1962. — Фарфоровая группа «Обезьяний концерт» (Мейсен) имеется в собрании Государственного Эрмитажа (Ленинград).

²⁹ I. L. Sponsel. Das Grüne Gewölbe zu Dresden. Bd. 3. Leipzig, 1930; I. Menzhausen. Das grüne Gewölbe. Leipzig, 1968.

³⁰ Il Callotto resuscitato oder Neu eingerichtetes Zwergen-Cabinet. S. 1. (ок. 1700—1710). 50 листов. Во втором издании (Антверпен, 1716—1720 гг.) добавлено 26 гравюр, исполненных в другой манере.

³¹ E. W. Braun. Callotfiguren. In: Reallexicon zur deutschen Kunstgeschichte. Bd. 3. Leipzig, 1954, SS. 312—320.

гном Гри-гри несомненно сродни этим явлениям и воспринимается на их фоне.

В «Истории принца Бирибинкера» театральное великолепие сочетается со свойственной рококо миниатюрностью изображения. Виланд словно смотрит на свой волшебный мир по очереди с противоположных сторон бинокля. На его устах играет лукавая усмешка. Легкое прикосновение, преувеличение, намеренный «пересол», — и все превращается в проническую феерию, как мы это и видим в «Истории принца Бирибинкера».

Сама по себе «История принца Бирибинкера» не связана с содержанием романа, хотя и служит важнейшим звеном в его развязке. Она остается вставной пародийной и сатирической сказкой. Это и позволило Виланду издать ее в 1769 г. как самостоятельное произведение, для чего понадобилось только убрать реплики и рассуждения персонажей романа. В «Истории принца Бирибинкера» собраны в иронический клубок отдельные мотивы, типические ситуации и описательные подробности из популярных сборников французских «сказок о феях». Не довольствуясь этим, Виланд напоминает о своих источниках и цитирует их, усиливая необходимый для пародийного восприятия ассоциативный «второй план». Чаще всего он обращается к сказкам баронессы д'Онуа, графини Мюра и других авторов «сказок о феях». Общее число заимствований и реминисценций из этих произведений составляет несколько десятков.³² Реже источником служат повести и сказки Гамильтона и Кребийона-младшего, которым он был отчасти обязан самой манерой изложения «Истории принца Бирибинкера». Волшебник Карамуссал, живущий на вершине Атласа и дающий советы, как избежать происков злонамеренных фей, в той же роли выступает в «Четырех факардинах» Гамильтона. Имя волшебника Падманабы Виланд нашел в сборнике «Тысяча и один день» (в сказке «История принца Сейфель-Мулука»), дополнив образ древнего старца чертами «гения» из тех же «Четырех факардинов» Гамильтона, где разработан рассказ о ревнивom волшебнике, державшем любовницу в хрустальном ящике, которая тем не менее ему усердно изменяет (мотив, в свою очередь заимствованный из обрамляющей новеллы «1001 ночи»). Фея у Гамильтона, как и в «Истории принца Бирибинкера», носит имя Кристаллина. Налицо и вся остальная ситуация, сложившаяся вокруг старого ревнивца, но Виланд сумел заострить ее, введя гротескную фигуру гнома Гри-гри.

В «Истории принца Бирибинкера» Виландом использованы и различные другие литературные мотивы. Деревянный конь, который, по словам феи Кристаллины, «происходит по прямой линии от знаменитого Троянского коня и силеновой ослицы», несомненно сродни и тому деревянному

³² К. О. Mayer. Die Feenmärchen bei Wieland. Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte. Bd. 5. 1892, SS. 374—408 und 497—533.

коню, на котором Дон Кихот и Санчо Панса совершают воображаемое путешествие («Дон Кихот»), т. 2 (гл. 41—42). Только конь Дон Кихота остоится недвижим, а деревянный мул принца Бирибинкера увозит его из замка феи Кристаллины навстречу новым приключениям.

Принц Бирибинкер — петиметр, надушенный щеголь, изнеженный се-ладон. От него за двадцать шагов разит медом, как выразилась фея Ундина. Он трус и лентяй, светский дурачок, которого умные феи поправляют в рассуждениях и высмеивают за дурное красноречие. Он говорит наобум комплименты, а при случае действует напролом. В нем нет ни капли рыцарской отваги и благородства недавних литературных героев. Он наделен совершенным невежеством и слушает, разинув рот, философские рассуждения просвещенных фей. Они искушены в логике, точнее в софистике. На их устах играет двусмысленная улыбка. Их чувства притворны, а моральные принципы эластичны и позволяют не стеснять себя различными условностями. Принц Бирибинкер, нетерпеливо упрекнувший одну из фей в том, что она «жеманница», больно уколол ее. Непостоянство галантной любви колеблется между изысканным цинизмом и фальшивым рыцарским обожанием. Любовный театр рококо не стыдится расписных кулис и не стремится к тому, чтобы выдать их за действительность. Рококо претендует лишь на иллюзию наивности и нежности — шаловливая невинность только одно из условий любовной игры. Галантная любовь предполагает кокетливое остроумие, флирт с самой смертью. Рококо создает театральную иллюзию вечной юности, под белоснежными париками, фижмами и мушками. Оно утонченно, женственно и бессердечно.

Пожалуй, есть особая пикантность в том, что представительницы волшебного мира — феи — выступают в сказке как отъявленные рационалистки, сочетающие холодную ненасытную чувственность с трезвым расчетливым рассудком, который не покидает их в самых рискованных ситуациях. И вместе с тем, в отличие от принца Бирибинкера, они носительницы поэтического начала.

Виланд пародирует избитые мотивы и художественные средства «сказок о феях», но не выступает против сказочной фантастики. Чудесное и фантастическое для него не равнозначно абсурду и нелепости. Он нападает на сказку, когда она допускает погрешности против здравого смысла, нарушает внутреннюю логику художественного образа. Только тогда она становится нелепой, а если сопровождается скучным морализированием, то и невыносимой. В этом отношении Виланд следует традициям французской литературы XVII—XVIII в., которая, по словам одного историка, вносила «логику в невероятное и известный здравый смысл в абсурд». По его мнению, если чудесное у Рабле бессвязно, несоизмеримо, произвольно, то феи Перро «в некотором роде последователи картезианства», ибо следуют великому принципу Декарта «делать все самым простым путем». Так, например, когда крестная мать Сандрильоны должна

придумать для крестницы карету, чтобы ехать на бал, она превращает тыкву в карету и впрягает в нее крыс, обращенных в лошадей. «Она могла бы, конечно, в качестве феи точно так же превратить крыс в карету, а тыквы в лошадей. С точки зрения ее волшебной силы сделать это было не трудно, а чудо осталось бы чудом. Между тем, если бы это было не менее чудесно, это было бы менее логично. Всему этому действию недоставало бы некоторого элемента аналогии, даже последовательности, отсутствие которых отняло бы правдоподобность у этой все-таки невероятной метаморфозы, которая, в той или иной форме, остается абсурдом. Дело в том, что крысы «четвероногие, а тыква — катящийся плод; ее яркожелтый цвет вызывает в воображении позолоту будущей кареты».³³ Это соображение не лишено оснований, хотя следует заметить, что в художественных приемах Шарля Перро столько же от картезианства, как и от здравого смысла народной сказки.

«История принца Бирибинкера», которую рассказывает насмешливый дон Габриель, чтобы исцелить наивного сумасброда, не только литературная пародия. Это изысканное издевательство над «волшебными сказками» и в то же время произведение того же жанра. Виланд и не думает от него отречься. Устами дон Габриеля он признается, что «сам больший охотник до сказок, нежели до метафизических систем». И позднее он не только осмеивает привычный реkvизит волшебных сказок, но и с увлечением разрабатывает их мотивы, сверкая игрой ума, парадоксами и сатирическими намеками: в стихотворной повести «Идрис» (1766), романе «Новый Амадис» (1771), волшебнo-феерической поэме «Оберон» (послужившей основой для либретто знаменитой оперы Вебера), философском романе «Золотое зеркало» и его продолжении «История мудрого Данишмеда». Через двадцать лет после появления «Истории принца Бирибинкера» Виланд издает в своей обработке сборник восточных сказок, названный им «Джиннистанн».³⁴ Волшебная страна фей остается для него родиной поэзии. Робкое просветительство Виланда в это время все еще находит в рококо наиболее удобное стилевое выражение.

«История принца Бирибинкера» не ограничивается литературной сатирой и пародией. Современная действительность находила в ней отражение, хотя и в приглушенных, условных формах. Как и в самом романе, в ней сталкиваются два аспекта — реальный и фантастический. В романе «мираж» дон Сильвио рассеивается и вступает в свои права действительность. В «Истории принца Бирибинкера» она все время остается под спудом, но зато приобретает сатирическое жало. Ирония Виланда пронизывает изображение сказочной фантастики и переходит в легкую сатиру

³³ E. Krantz. Essai sur l'esthétique de Decartes. Paris, 1882, p. 112—113. (Рус. пер.: Кранц. Опыт философии литературы. Научное обозрение, 1902, № 8. Приложение, стр. 75).

³⁴ Dschinnistan oder auserlesene Feen-und Geistermärchen, theils neu erfunden, theils neu übersetzt und umgearbeitet, Winterthur, 1786.

при описании карликового двора отца Бирибинкера, добродушного глупого деспота, обзаведшегося своей Академией наук и другими атрибутами просвещенного абсолютизма. Эти скромные намеки на немецкое мелкодержавие XVIII в. с дворцовыми интригами, возней вокруг престолонаследия и пр. были узаконены сложившейся к тому времени литературной традицией и ничего крамольного в себе не таили. Виланд отнюдь не покушался на социальные основы общества, как бы раз навсегда осознав в конкретных исторических условиях современной ему Германии бесплодность и нереальность борьбы, вдобавок могущей неблагоприятно отразиться на его собственном благополучии.

Менее безобидными были его этические и философские позиции. Издеваясь над плохо выдуманскими «чудесами» искусственных сказок «Кабинета фей», Виланд в грациозной и непринужденной форме высмеивал веру в чудесное. Насмешливые аргументы и рассуждения дона Евгению о вероятности всякого чудесного или сверхъестественного явления, даже якобы подтверждаемого опытом, метят не только в «видения» католических монахинь, но и повыше — в чудеса, о которых сообщает Библия и которые как раз в то время представляли «камень преткновения» для протестантского рационализма, пытавшегося опереться на философию, примирить откровение и разум, чудо и естественный ход вещей.

Современники понимали, куда метит ирония Виланда. Рецензент «Всеобщей немецкой библиотеки» в 1765 г. писал: «На первый взгляд можно, пожалуй, подумать, что было бы более плодотворно, ежели бы сочинитель избрал материей для своего рассказа обыкновенные химеры, которые преследуют людей, и создал из этого нечто прагматически полезное; однако, если глубже вдуматься, то окажется, что писатель не мог столь хорошо достичь своей цели ничем иным, как измышленной сказкой. Так как дело шло о том, чтобы показать путь, каким человеческий дух взлетает к мечтательным фантазиям, то надобно избрать для сего наинелепейший пример, чтобы другие, кому это свойственно в меньшей степени, тем легче могли из него все уразуметь. К примеру: когда дон Сильвио спас лягушку, которую он считал феей (ему только одному было ведомо почему), и она снова упрыгала в болото, то наш мечтатель ждал, что лягушка (или замаскированная фея) снова к нему вернется. А так как сие не случилось, то он стал раздумывать о причинах этого. Простейшая мысль среди всех, на которую набрел бы всякий здравомыслящий человек, состояла бы в том, что лягушка всего только лягушка и никакая фея. Однако дон Сильвио до этого не додумался.. Но вот поглядите! Ежели какой-нибудь мечтательный ипохондрик после учиненных в одиночестве созерцаний почувствует, что у него стало легче на сердце, ибо совсем по другим причинам его тело получило облегчение, то почтет он это облегчение или эту радость, как он сие называет, проявлением божественной милости; и он снова ожидает ее, когда вторично предастся созерцаниям. Она не приходит, и он допытывается при-

чин, почему она не пришла, ищет объяснение в совершенном лихоимстве или ином проступке, короче, ищет повсюду, только не там, где оно лежит, скорее думает обо всем, только не о том, что это было не проявлением божественной милости, а случайным телесным облегчением, иными словами, что лягушке вовсе не следует быть феей».³⁵

У самого Виланда приведен более резкий пример, чем это позволил себе осторожный рецензент: «Некий индус купил у своего бонзы амулет, который должен служить ему против всех болезней. Он заболел, и амулет не помог. Что заключил он из сего? Быть может, что амулет лишен целебной силы и бонза обманщик? Нимало! Все, что он из сего заключил, было то, что он не оказывал достаточно благоговения идолу, которого носил на шее и недостаточно подал милостыни своему бонзе» (I кн., гл. 6). Правда, Виланд не ополчается против самого существования трансцендентного начала, а лишь высмеивает вульгарное представление о повседневном вторжении его в естественный ход вещей. Как и Вольтер, он остается деистом, а в 1809 г. во время продолжительной беседы с Наполеоном твердо сказал, что верит в бога. В конце жизни восьмидесятилетним старцем он вступает в масонскую ложу, где произносит речь о бессмертии души. Выпады «немецкого Лукиана», как называли иногда Виланда, имели достаточно разрушительную силу, чтобы бесить приверженцев благочестия и пиетистов. Сочинения Виланда, написанные в последующие годы, вызывали негодование в неменьшей степени, чем «Дон Сильвио». Радикальный писатель, «мужиковатый» Иоганн Генрих Фосс, в молодости входивший в «Союз роши», где молодые энтузиасты предавались тираноборческим мечтаниям, вспоминает, с каким презрением они относились к Виланду. В 1773 г. в день рождения Клопштока была устроена шутовская церемония, в которой посрамлялся Виланд. Его эротическая поэма «Идрис», разорванная в клочья, служила для раскуривания трубок и, наконец, была сожжена вместе с портретом автора.³⁶ Эти выходы были не случайны. Радикальные молодые люди не были религиозными ханжами, но, как и для многих деятелей Французской революции, религия сохраняла для них внутреннюю ценность. Виланд представлялся им чудовищем безбожия и безнравственности, так как они отождествляли его мировоззрение с эгоистическим гедонизмом и аморальностью предреволюционной аристократии. Однако, исповедуя «разумный гедонизм», Виланд, по верному замечанию Б. И. Пуришева, «избегал переводить его на язык житейской прозы».³⁷ Он драпировал его в античные и восточные одежды. Он никогда не проповедовал аморализма, не отвергал добродетель и не восхвалял порок. Но его добродетель была свободна от ханжества, а порок он осуждал прежде всего как

³⁵ Allgemeine deutsche Bibliothek, 1765, I Bd., 2 Stück, SS. 105—106.

³⁶ Сообщено в письме Фосса Брюкнеру от 4 августа 1773 г.

³⁷ Б. И. Пуришев. Виланд. В кн.: история немецкой литературы в пяти томах. т. 2. М., 1963, стр. 191.

нарушение долга по отношению к обществу и самому себе. Наслаждение жизнью и счастье должны быть подчинены разуму. Сенсуализм Виланда сочетался со стремлением к гармоническому развитию личности, ее освобождению от спиритуалистического начала. В историческом свете сама «фривольность» предстает как протест не только против обывательского ханжества, но и догм, освященных официальной церковностью и пиетическим благочестием.

Занимая довольно скромное место по сравнению с главнейшими произведениями писателя, как «Абдеритяне» и в особенности «Агатон», волшебно-сатирическая сказка Виланда дала толчок для развития литературной сатиры в Германии. По словам Пауля Реймана, Виланд «как один из первых писателей, распространявших буржуазные идеи», избрал «такое поле деятельности, которое не привлекло внимания Лессинга», возобновил почти прерванную традицию романа и эпической поэзии, для чего обратился к французской литературе.³⁸ Следует подчеркнуть, что «буржуазные идеи» Виланда, иными словами его просветительство, были отмечены чертами социального компромисса. Его творчество и мировоззрение были пронизаны стремлением держаться во всем «золотой середины». Отсюда его поиски синтеза разума и страсти, добродетели и свободы плоти, умеренное жизнелюбивое «язычество», «культ грации» и физической красоты. 18 марта 1813 г., в речи, посвященной памяти Виланда, Гете сказал о нем: «Его поэтические и литературные устремления были непосредственно направлены в сторону жизни, и если он даже не всегда искал практической пользы, то практическую цель, далекую или близкую, он всегда имел в виду».³⁹ Эта цель — этическое и эстетическое воспитание, совершенствование человеческой личности, хотя и носившее несколько отвлеченный характер. Эти мысли и нашли свое выражение в большом «воспитательном романе» Виланда «Агатон».

Виланд придал немецкой литературе если не оригинальность, то гибкость и легкость. Он сделал ее занимательной и привлекательной для европейского читателя. «Если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе», — писал Н. М. Карамзин, — то это произвели «отчасти виландовы сочинения».⁴⁰ Творчество Виланда — существенное звено в той линии художественного развития, которая шла от живописных антиготтешедовских тенденций поэтов рококо и которая в новом претворении дожила до романтиков.

Критик «Геттингенских ученых известий» несомненно преувеличивал, когда утверждал, что «Дон Сильвио» опоздал лет на сорок и что «истории

³⁸ Пауль Рейман. Основные течения в немецкой литературе 1750—1848 гг. М., 1959, стр. 71.

³⁹ Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage des Großherzogin Sophie von Sachsen. Bd. 36, Weimar, 1893, S. 338.

⁴⁰ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Часть 2. М., 1797, стр. 120—121.

о феях» давно вышли из моды. Роман был принят с восторгом. Его перевели на французский и русский языки. Своего рода апофеозом было включение «Дона Сильвио» в тридцать шестой том «Кабинета фей», так задорно осмеянного Виландом. Поклонников жанра это несколько не смущало.

Традиция пародийно-насмешливого отношения к волшебной сказке и использование этого жанра в целях литературной сатиры не оборвалась на «Доне Сильвио» Виланда. Здесь надо упомянуть роман Ф. М. Клингера «Новый Орфей» (1780), наполненный сказочной и фривольной фантастикой. Одновременно мы сталкиваемся с использованием «Дона Сильвио» в комической опере. В 1782 г. в Венском Королевском театре состоялась премьера оперы «Голубая бабочка, или победа Натуры над Мечтательностью» на сюжет Виланда, текст и музыку написал австрийский поэт и композитор Максимилиан Ульбрих (1752—1814). В оперу введены новые мотивы, разработана сцена веселого маскарада, для которого участники во главе с доном Евгению наряжаются призраками и феями, усилена комическими чертами роль Педрилло, влюбленного в Саламандру (перешедшую Лауру) и т. д. В 1795 г. в Кенигсберге под тем же заглавием была поставлена опера в пяти действиях, текст для которой написан Самуэлем Готлибом Бюнде (1753—1831), печатавшим свои переводы с английского и французского языка в журнале Виланда «Немецкий Меркурий». Этот текст в свою очередь послужил источником для шести других композиторов, написавших комические оперы для театров Шлезвига (Панти, 1796), Вены (А. Эммерт, 1801), Берлина (Л. Гельвиг, 1815) и др.⁴¹

Феи и волшебники европейской литературной сказки весело доживали свой век на театральных подмостках. Отсюда тянется нить к сказочному творчеству Э. Т. А. Гофмана, в котором они и обрели новую жизнь.

3

Виланд доживал свой литературный век в разладе с молодым поколением. Он искренне хотел с ним поладить, и ему чрезвычайно льстила слава испытанного метра и покровителя начинающих талантов. В 1800 г. он рекомендовал к изданию «Годви» — роман Клеменса Брентано. Он дружелюбно и благожелательно принял юного Клейста. Деликатный и миролюбивый, он с обидчивым недоумением встретил открытую и беспощадную войну, которую ему вскоре объявили романтики. В их глазах Виланд был олицетворением всего худшего, что принес век Просвещения, его поэзия — порождение сухого рационализма и сенсуализма, отрицающих внутренние ценности человеческой души, и к тому же лишена ориги-

⁴¹ Günther Bobrik. Wielands «Don Sylvio» und «Oberon» auf der deutschen Sing-spielbühne. Königsberg, 1909.

нальности и национальных традиций. Виланд, по их мнению, был не классик, а всего лишь антикизирующий подражательный поэт. В этом отношении романтики сходились с Клопштоком, который писал: «Были когда-то люди, которые читали множество иностранных сочинений и сами писали книги. Они ковыляли на костылях иностранцев и гарцевали порой на их рослых конях, а порою и на их Россинантах, резвились с их телятами и плясали на их канатах. Многие добросердечные и неначитанные соотечественники считали их чудом учености. Но все же от некоторых не ускользнуло, что представляют собой на самом деле подобные сочинения, однако они не могли всякий раз напасть на ведущий к ним след. Да и как бы они его нашли? Просто невозможно соваться в каждый чужеземный телятник».⁴²

Поход против Виланда был задуман, тщательно подготовлен и осуществлен братьями Шлегелями, привлечшими на свою сторону Людвига Тика, раньше благожелательно и даже с восхищением отзывавшегося о поэзии и прозе «старого грешника».⁴³ Фридрих Шлегель призывал подвергнуть Виланда литературному «ауто да фе». Необходимо «систематическое уничтожение всей его совокупной поэзии или лучше сказать непоэзии», — писал он в мае 1799 г.⁴⁴ И вот в 1798 г. в основанном братьями Шлегелями журнале «Атенеум» романтики приняли осмеивать подражательность и многословие Виланда, который издает «суплементы к суплементам» своих сочинений, включая в них труды, которые «находит плохими даже для суплементов». В четвертой книжке «Атенеума» (лето 1799 г.) появилось пасквильное объявление о том, что поэзия гофрата Виланда поступила на «конкурс кредиторов», согласно претензиям, «предъявленным господами Лукианом, Фильдингом, Стерном, Бейлем, Вольтером, Кребийоном, Гамильтоном и многими другими авторами», а также по наличию имущества, «по всей видимости являющегося собственностью Горация, Ариосто, Сервантеса и Шекспира» — в связи с чем принимаются в течение законного срока аналогичные претензии.

Выступая против Виланда и издеваясь над ним, романтики не могли освободиться от его влияния. Это видно на примере Л. Тика, выпустившего в 1798 г. довольно водянистую драматическую сказку «Принц Цербино, или Путешествие в поисках хорошего вкуса», содержащую выпады против Виланда. Об одном персонаже сказки говорилось, что он «согласно виландовской традиции» воплотил в себе «восемь или девять утонченных и возвышенных умов», а на вопрос, как же они в нем умещаются, дан ответ, что автора это особенно не интересовало. В этой комедии-сказке Софокл, Данте, Тассо, Петрарка и Сервантес беседуют о литературе. А один из персонажей комедии уверяет автора «Дон Кихота», что его

⁴² Klopstocks Sämtliche Werke. Bd. 12. Leipzig, 1823, S. 152.

⁴³ L. Hirzel. Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern. Bern, 1909.

⁴⁴ Friedrich Schlegel Briefe an seinen Bruder August Wilhelm. Herausgegeben von O. Walzel. Bd. 1. 1890, S. 227.

сочинение полезно уже одним тем, что дало повод для написания «Дона Сильвио».⁴⁵ Но самое удивительное, что основной мотив «Принца Цербино» — «исцеление от мечтательности» — восходит не столько к драматической сказке Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам», сколько к тому же «Дону Сильвио». Тик в сущности не пародирует Виланда, а подражает ему. И эта комедия в еще большей степени, чем творчество Виланда, заслуживала бы упрека в отсутствии оригинальности, водянистости и подражательности.

Виланд расхвалился с романтиками по своим этическим и философским воззрениям. Им претил его поверхностный скептицизм и эгоистический гедонизм, ему — их влечение к мистике и идеализация Средневековья. Но в литературном отношении романтики часто сближались с этим писателем. Им было близко смещение жанровых ограничений в поэтике Виланда, понятна его склонность к фрагментарности, привлекала его живописность. Связь между ними намечается и на общем фоне художественной культуры XVIII в., живописи, музыки и театра. Глюк и Моцарт были их общими кумирами. Романтиков восхищала утонченность, грациозность и причудливость рококо, его изысканная виртуозность. Очарование рококо сказывается в «Странствиях Франца Штернбаляда» Тика, в «Люцинде» Фридриха Шлегеля и, разумеется, в сказках Э. Т. А. Гофмана. Чуткие к эстетическим ценностям романтики не могли не оценить значення Виланда и впоследствии более мягко отзывались о его творчестве.

«Достопамятное жизнеописание его величества Абрагама Тонелли» занимает в творчестве Л. Тика обособленное место. Сказка была напечатана в последнем томе сборника «Страусовые перья», в котором Л. Тик принимал участие с 1795 по 1798 год. Эти сборники, начало которым положил в 1787 г. Мизеус, выходили в издательстве Николаи — главы берлинского рационализма. Позже это обстоятельство отметил Гейне в своей книге «Романтическая школа», подчеркнув, что один из ее столпов начал литературную деятельность под эгидой Николаи, «непримиримейшего чемпиона просвещения» и «врага суеверия, мистики и романтизма».⁴⁶ Тик, смолоду отличавшийся мягкостью и тактом, умел подавлять свои личные вкусы и охотно шел навстречу незанятому печатному станку. Но некоторое раздражение против плоского рационализма и банальщины в нем накапливалось. Содержание сборников «Страусовые перья» составляли оригинальные и переводные повести и рассказы, отвечавшие вкусам и требованиям николаитов — сочетание назидательности и развлечення. Наполняли их пресные и невзыскательные поделки, в сочинении которых и сам Тик принимал непосредственное участие. Но вот появилась загадочная сказка со сложным ироническим, если не пародийным, планом.

⁴⁵ Ludwig Tieck's Schriften. Bd. 10. Berlin, 1828, S. 242.

⁴⁶ Г. Гейне. Романтическая школа. Собр. соч. в десяти томах, т. 6, Л., 1958, стр. 204,

В ней слышится протест против наивной нравоучительности и рассудочности, которая в столкновении с миром волшебной сказки становится особенно комичной.

Истории Абрагама Тонелли предпослано несколько слов от автора: «Не могу удержаться, чтобы не предложить благосклонному читателю следующую достопримечательную автобиографию, ибо большой редкостью почесть можно, чтобы могущественный монарх с такою прямою и самоотвержением описывал свою жизнь. Посему рекомендую сию книгу также всем знатным библиотекам, которые собирают раритеты и умеют их должным образом ценить. Могущественный император Аромата прислал мне на просмотр свой манускрипт, который я незамедлительно распорядился передать тиснению, дабы таким образом доставить ему неожидаемую приятность». Это краткое предисловие, с упоминанием сказочной страны Аромата и некоего «могущественного монарха», как будто прикрепляло «Жизнеописание Абрагама Тонелли» к сложившейся традиции волшебной-сатирической сказки. Но Л. Тик с первых же абзацев уходит от этой традиции. В истории Абрагама Тонелли нет ни кокетливых фей, ни седобородых волшебников, почти ничего от виландовского театральносказочного реквизита. Волшебная сказка «о феях» с приевшимися, постоянно повторяющимися персонажами, мотивами и ситуациями уже не представлялась Л. Тикю достаточно плодотворной для дальнейшего развития, хотя он и отдал некоторую дань и этому жанру, написав еще семнадцатилетним юношей небольшую драматическую сказку «Лань» (1790).

По глухим сведениям, восходящим к позднему признанию самого Тика, он воспользовался для «Абрагама Тонелли» каким-то подвернувшимся ему под руку «плохо написанным романом начала восемнадцатого столетия». «Самые несуразные истории о призраках, диковинные деяния и превращения» были изложены в этой книге с «наивным простосердечием». ⁴⁷ Тик лукаво уверял, что все главные приключения героя заимствованы им без существенных изменений, а он только внес свой тон, свою интерпретацию событий. Но в тоне и манере изложения и заключалось самое главное.

В «Жизнеописании» Абрагама Тонелли просвечивает широкий литературный план, на который указывает сам Тик, иронически упомянув в первом же параграфе Карла Гроссе, автора «страшных» романов, избилующих кровавыми преступлениями.

Чтобы заинтриговать читателей, Гроссе выступал под вымышленным именем «графа Варгаса», мнимый протест которого был приложен к сборнику его новелл (1793), что вскоре же было раскрыто рецензентами. На это и намекает Тик, называя двух якобы различных писателей. Наибольшей известностью пользовался роман Гроссе «Гений» (4 тома, 1791—

⁴⁷ Ludwig Tieck's Schriften. Bd. 6. Berlin, 1828, SS. XXX—XXXI. — Источник «Жизнеописания Абрагама Тонелли» до сих пор не установлен.

1795).⁴⁸ Отношение к природе, напряженная страстность, этические конфликты, проблемы человеческой судьбы, зависимости и обреченности, атмосфера таинственности привлекали к этому роману внимание немецких романтиков.

«Гений» Гроссе произвел на Л. Тика в пору его молодости огромное впечатление. И когда однажды Тик десять часов кряду читал друзьям этот роман, его воображение было так захвачено и потрясено, что он в течение ночи дошел до галлюцинаций.⁴⁹ 12 июня 1792 г. Тик советует своему другу Вакенродеру приняться за чтение только что вышедшего второго тома «Гения», если он «хочет быть по-настоящему счастливым несколько часов» и, назвав некоторые сцены романа «триумфом автора», утверждает, что именно таким и представляется ему замысел его повести «Альмансур» — «это был мой идеал, так хотел писать, так хотел все сказать я сам».⁵⁰ Позднее, в 1728 г., Тик снисходительно отзывается о Карле Гроссе как о забытом писателе, чья первая книга («Гений») была «не вовсе лишена таланта». «В те времена, — продолжает он, — на читающую публику производили сильное впечатление тайные общества, привидения, ужасающие незнакомцы в сочетании с роскошными любовницами».⁵¹

В последнюю треть XVIII в. Германия была наводнена бесчисленными, чаще всего многотомными романами, наполненными описаниями старых замков, темниц с проваливающимися люками, подземелий, пещер, заброшенных мельниц, где таились разбойники и были закопаны клады, охраняемые призраками. Многие авторы обращались к средним векам, отчасти продолжая традиции рыцарских романов, другие увлекались приключениями благородных разбойников, третьи — историями с привидениями.⁵² Рыцарские, разбойничьи и «черные» романы обменивались общими мотивами и сближались общей техникой ведения сюжета, в котором

⁴⁸ После выхода в 1794 г. четвертого тома романа К. Гроссе рассматривал его как законченное целое. Однако в 1795 г. он выпустил «продолжение» — «четвертый раздел четвертой части». См.: Günter Hartmann. Karl Grosses «Genius». Eine Studie zum Menschenbild im Bundesroman des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Moers. 1957 (с изложением содержания этого редкого романа).

⁴⁹ Rudolf Körke. Ludwig Tieck. Erinnerungen aus den Leben des Dichters, nach dessen mündlichen und schriftlichen Mitteilungen. Bd. 1. Leipzig, 1855, SS. 141—142.

⁵⁰ G. Hartmann. Karl Grosses «Genius», SS. 7—8.

⁵¹ L. Tieck's Schriften. Bd. 6. S. XLI. — Выпады против Карла Гроссе и пародирование его манеры встречаются уже в новелле Тика «Чужой» (1796): Ludwig Tieck's Schriften. Bd. 14, Berlin, 1829). См.: H. Günther. Romantische Kritik und Satire bei Ludwig Tieck. Leipzig, 1907, SS. 100—102.

⁵² J. W. Appell. Die Ritter-, Räuber- und Schauerromantik. Zur Geschichte der deutschen Unterhaltungsliteratur. Leipzig, 1859; K. Müller-Fraureuth. Die Ritter und Räuber Romane. Halle, 1894. — Общая литературная обстановка и характеристика излюбленного чтения этого времени. См.: Eva D. Becker. Der deutsche Roman um 1780. Stuttgart, 1964; M. Greiner. Die Entstehung der modernen Unterhaltungsliteratur. Studien zur Trivialroman des 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Therese Roser. München, 1969.

большую роль играли интрига и различные тайны. Это была «захватывающая дух» литература, в которой идеи и особенности эпохи «бури и натиска» получали упрощенное и искаженное отражение. Облеченные в доспехи рыцари произносили тирады в духе шиллеровского Карла Моора, а современные разбойники наделены рыцарскими добродетелями средних веков. Особенно прославились в этом жанре Христиан Генрих Шпис (1755—1799), Карл Готлоб Крамер (1758—1817) и автор знаменитого разбойничьего романа «Ринальдо Ринальдини» (1798) Христиан Август Вульпиус (1762—1827).

Х. Шпис начал как актер и драматург, тяготевший к историческим сюжетам. В 1785 г. он выпустил сборник «Биографии самоубийц»,⁵³ за которыми через десять лет последовали «Биографии сумасшедших».⁵⁴ Он испытывал свои силы в дидактическом сочинении «Мои путешествия по пропастям злосчастий и покоем скорби»,⁵⁵ для чего собирал «рассказы кающихся, терпеливцев и страдальцев», чтобы показать картины постепенного падения человека, становящегося жертвой обстоятельств и собственных пороков. Но главной его специальностью стал «черный роман», вошедший в моду после появления в четвертой тетради журнала «Талия» (1787) «Духовидца» Шиллера и выхода романа английского писателя М. Льюиса «Монах» (1796, нем. пер. 1797). Шпис показал себя мастером этого жанра, неистощимым на выдумку, умевшим создавать и разрабатывать ситуации и мотивы, от которых у тогдашних читателей вставали дыбом волосы и сладко замирало сердце. Однако в его книгах не было ни на волос мистики, и они были построены весьма рассудочно. По словам Тика, «если бы восхищения заслуживала одна только изобретательная фантазия», то Шпис «проявлял ее в чрезвычайной степени», однако «его манера писать была столь скверной, а отсутствие вкуса столь велико, что он справедливо забыт».⁵⁶ Его многотомные (по большей части «рыцарские») романы все же не были лишены живописности и юмора. Первым среди них был «Петерменьхен»⁵⁷ о злом духе, который сперва в образе гнома совращает рыцаря Вестербурга, а потом он же, но уже в облике Великана помогает ему совершать чудовищные злодеяния. В заключение является Дьявол и с ужасающим ревом раздирает рыцаря на куски. Читателю, воспитанному в духе рационализма, предоставляется возможность рассматривать это произведение как назидательную аллгорию.

⁵³ Chr. Spieß. Biographien der Selbstmörder. Bd. 1—4, Prag, 1785.

⁵⁴ Chr. Spieß. Biographien der Wahnsinniger. Leipzig, 1795—1796. (Рус. пер.: Шпис с. Сумасшедшие, или Гонимые судьбою. Чч. 1—4. М., 1816).

⁵⁵ Chr. Spieß. Meine Reisen durch die Höhlen des Unglücks und Gemächer des Jammers. Leipzig, 1796. (Рус. пер.: Мои путешествия по пропастям злосчастий. Перевел с немецкого Александр Бринк. Чч. 1—6. М., 1821).

⁵⁶ L. Tieck's Schriften. Bd. 6. 1828, S. XLV.

⁵⁷ Chr. H. Spieß. Das Petermännchen. Geistergeschichte aus dem 13. Jahrhundert. Prag. 1791—1792. 2 Aufl. Prag und Leipzig, 1793 et sq.

Среди почти двух десятков романов Шписа выделяется «Старик везде и нигде»,⁵⁸ в котором причудливо отразилось учение Лейбница и Вольфа о «предустановленной гармонии». Человек не должен вмешиваться в порядок, предначертанный Провидением, для «лучшего из возможных миров», даже если он (по ограниченности своего знания) считает это злом или несправедливостью. Рыцарь Георг Гогенштауфен посвящает жизнь защите бедняков, расправляясь с их притеснителями по своему усмотрению. Он схвачен и обречен на смерть. Проезжавший через Цюрих Карл Великий, выслушав самооправдание рыцаря, все же велит его казнить. После того как ему отрубили голову, он возвращается на землю, так как его не приняло небо. Его своеволие не будет прощено до тех пор, покуда он не совершит несколько подлинно добрых дел, на что ему отпущено целое столетие. Старый рыцарь в различных обликах спешит на помощь утопающим, помогает девушке, которую хотят насильно выдать замуж, творит много других добрых дел, но тщетно — в данной ему книге, где они должны быть записаны, по-прежнему остаются белые страницы, или, что еще хуже, они оказываются злодеяниями (по своим последствиям, неведомым рыцарю). Роман изобилует фантастическими подробностями. Чтобы пробудить совесть Карла Великого, в его замке появляется змея, которая вползает по столбу и звонит в колокол. Карл следует за ней, полагая, что она зовет на помощь, и находит в ее гнезде отвратительную жабу. Он убивает жабу. «Не суди по обманчивой внешности», — грозно говорит Змея, превратившаяся в казненного рыцаря, — эта жаба, стерегла детенышей». Так фантастика сочетается с дидактикой. В конце романа рыцарь получает прощение, избавив девушку от насильственного пострижения в монастырь.

Несколько иного пошиба, и несомненно менее талантлив, был Карл Крамер — недоучившийся богослов, осевший в Мейнингене в качестве учителя в Лесной академии и даже получивший от короля чин «оберфорстмейстера» (нечто вроде старшего лесничего). Прославил его роман «Приключения странствующего механика Эразма Шлейхера», вышедший в 1789—1791 гг. и затем выдержавший несколько изданий.⁵⁹ За ним последовала дюжина других. Крамер питал пристрастие к изображению рыцарских времен и жизни высшего общества, о чем имел весьма смутное представление. Возвышенные идеи века он излагал площадным стилем. Иногда его герои произносят громовые тирады против роскоши и бессер-

⁵⁸ Chr. H. Spieß. Der Alte überall und nirgends. Geistergeschichte 14 Jahrhunderts Prag. 1792—1793, Leipzig, 1797. (Рус. пер.: Старик везде и нигде. Сочинение г. Списа. Перевод с немецкого. Чч. 1—3. М., 1808). Продолжение романа написал К. Гершель (1772—1825).

⁵⁹ C. G. Cramer. Leben und Meinungen, auch seltsamtliche Abenteuer Erasmus Schleicher, einer reisenden Mechanikus. Leipzig. 1789. (Рус. пер.: Жизнь, мнения и странные приключения Эразма Шлейхера, странствующего механика. Чч. 1—2. М., 1802, 2-е изд. — М., 1817).

дечия князей, «которые взирают на красивых потаскух и шутовские лицедейства, а не на нужду своей земли, слушают, как заливаются охотничьи рога и певичцы, а не вздохи и слезы бедняков». Он часто отпускает грубоватые шутки. По его мнению, девицы без ахов и вздохов встречаются столь же редко, как собаки без блох. «Он знал это наизусть, как петух кукареку» и т. д. Эти черты претили Тику, и позднее он писал: «Едва веришь глазам своим, когда снова заглядываешь в его книги и при этом думаешь, что некогда они были излюбленным чтением, в том числе и у так называемых образованных женщин и девиц. И какая пропасть отделяет его последние книги от его первой «Эразм Шлейхер», написанной еще разумно и чисто, в которой автор еще показывает себя умеющим наблюдать и описывать».⁶⁰

Тик даже описал внешность Крамера: рябое лицо, хриплый и грубый голос, неизменная трубка с крепким табаком, речь, состоящая из смеси напыщенных и простонародных выражений. Встреча с Крамером в 1803 г. на водах близ Мейнингена описана Тиком в новелле «Летнее путешествие» (1834), когда взгляды его изменились. Все же Тик вкладывает в уста одного из персонажей признание, что в юности он был «нескладным малым, который прочитал большинство романов этого Крамера — от „Шлейхера“ до „Пауля Изопа“».⁶¹ Несомненно, это относится и к самому Тику, который в юношеские годы был менее разборчив и с жадностью поглощал подобные романы. Его первые шаги в литературе были обязаны этому жанру. С четырнадцати лет Тик сам сочинял «страшные истории» и не просто ради собственного мальчишеского удовольствия, а работая литературным подмастерьем у писателя Фридриха Эберхарда Рамбаха (1767—1826), который преподавал в той же гимназии, где Тик учился. Позднее Рамбах стал профессором «камеральных наук» в Дерпте и дослужился в России до чина статского советника. В молодости он писал романы для заработка и однажды откровенно признался: «Когда у меня дело застопорится, то я пощелкаю зубами и все сызнова живо пойдет на лад».⁶² Он охотно поручал дописывать за него «жуткие истории» Л. Тику, которому и принадлежит последняя глава романа «Железная маска», вышедшего под псевдонимом Оттокар Штурм в 1792 г. Участвовал Тик и в составлении «жизнеописания» лесного разбойника Мат-

⁶⁰ L. Tieck's Schriften. Bd. 6. SS. XLV—XLVI.

⁶¹ L. Tieck's Gesammelte Novellen. Bd. 5. Eine Sommerreise. Breslau, 1838, SS. 191—195. — Имеется в виду роман Крамера: *Leben und Meinungen, auch seltsamliche Abenteuer Paul Ysops, einer reducirten Hofnarres. Von Verfasser des Erasmus Schleichers*, th. 1—2, Leipzig, 1792—1793. (Рус. пер.: Жизнь, мнения и странные приключения Павла Исопа, отставного придворного шута. Сочинено автором Эразма Шлейхера. Перевел с немецкого П. Озеров. Чч. 1—4. М., 1813—1814). Имеется более ранний перевод (Николая Маркова), вышедший в двух частях в 1807 г. в Москве.

⁶² Rudolf Köpcke. Ludwig Tieck. Erinnerungen aus den Leben des Dichters. Bd. 1. Leipzig, 1855, SS. 118, 120—121.

тиаса Клостермейера, прославившегося под именем «Баварского Хизеля» (1790)⁶³ и др.

Тик не только набивал руку в писательском мастерстве, но и быстро развивался в литературном отношении. У него появилось ироническое отношение к избитым ситуациям и мотивам «страшных романов». Сотрудничая в изданиях Николай и изнемогая от их плоской дидактики, Тик, естественно, помышлял о какой-либо литературной проказе или пародии, которая, однако, не лишила бы его работы в этой цитадели немецкого рационализма. Пародирование «страшных романов» со всеми их нелепостями напрашивалось само собой. К этому примешивалась и самоирония по отношению к собственному литературному прошлому.

Еще в 1797 г. Л. Тик вместе со своей сестрой Софией и другом Августом Бернарди (1769—1820) носился с мыслью начать целый поход против этого жанра. Он задумал грандиозную пародию на роман Генриха Цшюкке (1771—1848) «Куно фон Кибург» (1795), в которой собирался осмеять неправдоподобные ситуации, доводя до абсурда тривиальные мотивы, подобно тому как поступал Виланд со сказками о феях. Тик весело измышляет всякие нелепости. Например: герой заточен в неприступной башне на крутой скале. Друг, решив освободить его, все же взбирается на нее и, за отсутствием напильника, разгрызает зубами толстую железную решетку темницы. Пародия не была окончена. По-видимому, Тик стал сознавать, что никакие нелепости не могут убить этого жанра, вовсе не заботившегося о правдоподобии. Он пошел иным путем. Он почувствовал особую прелесть во всех этих нелепостях, доставлявших ему своеобразное удовольствие, ибо, как выразился однажды Виланд, «нечто экстраглупое тоже по-своему хорошо».

В «Жизнеописании» Абрагама Тонелли пародийность достигается не комическими преувеличениями, а изменением характера повествования. Истории, поведенные наивно-простонародным тоном, который мастерски имитирует Тик, приобретают своеобразную эстетическую ценность. Избитые мотивы получают ироническое освещение. Возьмем описание появления дьявола в одном из «черных романов». У Людвиг Бачко (1756—1823) в романе «Дух Эриха фон Зикингена», изданном анонимно в 1795 г. в Кенигсберге, Сатана появляется в расположенном на дикой скале замке Шрекенштейн в облаке серного дыма, с короною на голове, среди грома и молний. Он забирает с собой в ад души четырех человек, чьи головы стояли на столе, кровь текла со стен, а разрубленные на части тела были разбросаны вокруг. Замок был необитаем, там бесчинствовали злые духи. Часто они возвращались на огненных конях и колесницах и высывали из-за зубцов замковых стен ужасающие морды с пылающими языками. После подобных «страстей» панибратское и какое-то будничное

⁶³ Вошло в издание: *Thaten und Feinheiten renommirter Kraft und Kniffgenius*. Bd. 2. Berlin, 1790. См. также: R. К ö р к е. *Ludwig Tieck... SS. 229—230.*

обращение Абрагама Тонелли с дьяволом, когда тот, «обливаясь потом, приволок двадцать мешков дукатов», выглядит особенно комично.

Приключение Абрагама Тонелли с некой таинственной кошкой также приводит на память бесчисленные аналогичные мотивы, а быть может, и намекает на Шписа. В одном из эпизодов романа «Старик везде и нигде» заблудившийся на охоте герцог попадает в ярко освещенный замок, где пирует множество кошек. Слуги и музыканты тоже коты и кошки. Только одна голубая кошка печальна и не прикасается к пище. Она просит герцога привести с собой молодого рыцаря, гостящего у него в доме, так как только он может снять с нее заклятье. На другой день они приходят, и кошка, превратившаяся в пожилую даму, сообщает, что казнила слугу, обидевшего одну из ее любимиц. За это она сама превращена в кошку и освободится от чар только в том случае, если рыцарь добровольно согласится, чтобы ему отрубили голову лежащим на столе мечом. Герцог возмущен, но неожиданно впадает в глубокий сон. Рано утром он находит труп своего друга с отрубленной головой. Замок исчез. Тем временем его жену и дочь, выехавших на поиски, похищают разбойники, но их логово сгорело, и герцог считает, что все погибли. В замке его встречают жена и дочь, которые рассказывают, что их освободил все тот же рыцарь, завтракал с ними и даже проводил до дому. В обстановке нарастающего ужаса герцог понимает, что это тоже был призрак.

«Жизнеописание Абрагама Тонелли» прямо не пародирует романы и отдельные эпизоды этого рода, а воспринимается на их фоне. Вместе с тем оно перекликается с фольклором и низовой литературой семнадцатого века, с которой Тик как раз в это время усердно знакомится. Он внимательно читает «Симплициссимуса» (в котором также есть истории с кладами и привидениями) и пересказывает один из эпизодов этого романа в «Дневнике», напечатанном в том же альманахе «Страусовые перья» (1796).⁶⁴ Тик несомненно был знаком и с другими произведениями низовой литературы барокко, историями для народных календарей и пр. Он не пародирует эту литературу, а заимствует ее стиль и тон, наивность и простодушие, вполне отвечающие облику и нраву рассказчика — лентяя-императора из недавних подмастерьев.

«Жизнеописание Абрагама Тонелли» иронически противостоит волшебной сказке рококо. Поведанные с подкупающей наивностью, неуклюжие «превращения» Абрагама в различных зверей с помощью «волшебного корешка» приводили на память искушенному читателю грациозные и изысканные метаморфозы галантных героев волшебных сказок XVIII в., облаченных в восточные костюмы и пользующихся услугами фей и волшебников. В сказочной поэме Виланда «Идрис» Цербин владеет талис-

⁶⁴ Об отношении Л. Тика и других немецких романтиков к «Симплициссимусу» см. послесловие к кн.: Г. Я. К. Гриммельсгаузен. Симплициссимус. Издание подготовил Александр Морозов. Изд. «Наука», Л., 1967 (серия «Литературные памятники»), стр. 486—491.

маном, который позволяет ему превращаться в различных зверей. Превращения в сказке рококо травестируют мотивы «Метаморфоз» Овидия и используют аксессуары «восточной сказки». Л. Тик как бы возвращает их в сферу народной сказки и рассказов «для календарей».

В «Жизнеописании Абрагама Тонелли» проступает еще один литературный план: насмешливое отношение к романтическому культу созерцательного безделья, мечтательного уединения в пустыне и т. д. С мягкой иронией Л. Тик делает выпад и против распространенного в то время дилетантского изучения природы. Став императором, Абрагам Тонелли «ботанизирует» на досуге. Все это, однако, составляет лишь далекий ассоциативный фон для восприятия сказки, которая в отличие от многих других произведений Тика не перегружена литературными намеками и реминисценциями.

Абрагам Тонелли повествует об удивительных приключениях с комической важностью человека, преисполненного своей значительности, добросовестно и с рассудительной обстоятельностью. Он не лгун и не обманщик. Совершающиеся вокруг него фантастические события он воспринимает, подобно героям народной сказки, как нечто естественное. Только на первых порах он простодушно удивляется диковинным переменам и превращениям, но потом применяется к ним в меру своего разума и догадки. Он запросто, с доверчивой самоуверенностью обходит не только с разбойниками и королями, но и с привидениями и самим Сатаной. Это не бесстрашие, а черта его характера, его флегматической природы. Она роднит его с персонажами народных сказок, но на его создание также повлияло увлечение Тика комическими характерами и персонажами Шекспира, также отличавшимися некоторой флегматичностью.

Комизм сказки заключен в противоречии тона и содержания повествования, стиля и предмета описания, характера героя и совершающихся приключений. Л. Тик создал фигуру лежебоки-подмастерья, силою чудесных обстоятельств ставшего могущественным монархом сказочной страны Аромата. Он отдаленный потомок Санчо Пансы губернатора в бессмертном эпизоде «Дон Кихота». Оба себе на уме и наделены народным здравым смыслом. Абрагам Тонелли при случае добродушно хитрит. Он убежден в своем умении хоронить концы в воду, хотя незаметно проговаривается. В сущности он не столько самоуверен, сколько набрался самоуверенности, как и подобает человеку, заделавшемуся «могущественным монархом». И вот за этой комической маской проступает иная жизненная ситуация. Перед нами уже не самодовольный монарх, а неудачник, который терпеливо и даже добродушно переносит житейские невзгоды, не покидающие его и посреди волшебного могущества. А его безропотная флегматичность и незлобивость вызывают к нему симпатию. Сказочная фантастика, окружающая Тонелли, приобретает черты комической обыденности. В ней нет и следа романтической приподнятости или «сладкого ужаса», вызываемых общением со сверхъестественным.

Л. Тик, правда довольно незлобиво, осмеивает немецкое мелкодержавие в его историческом и социальном аспекте. Он пародирует стиль высочайших эдиктов, посланий и мемуаров. Внушительные и лаконичные фразы — ведь каждая из них должна стать достоянием истории! — отсутствие личного местоимения, деление на части и параграфы, отеческая наставительность и монаршее глубокомыслие, усвоенные Абрагамом Тонелли, усиливают комизм произведения. Вместе с тем Тик осмеивает бюргерские «идеалы» житейского благополучия, обывательскую рассудочность, мудрость прописных истин, косность и самодовольную умственную спячку.

«Жизнеописание Абрагама Тонелли» не прошло незамеченным. Его высоко оценил Жан Поль, а позднее Готфрид Келлер. Э. Т. А. Гофман настолько восхитился этой сказкой, что решил написать ее продолжение.⁶⁵ В дошедшем до нас отрывке «Новейшие судьбы одного диковинного человека» наибольший интерес представляет «Предисловие» автора. Л. Тик мало сообщает сведений о внешности Абрагама Тонелли. Мы догадываемся о ней по его характеру и его собственным признаниям. И все же нам представляется мешковатый и флегматичный бюргер, любитель покушать, комически неповоротливый и в то же время живой толстяк, с чуть заплывшими глазами, лукаво и испытующе поглядывающий на собеседника. У Гофмана Абрагам Тонелли неожиданно принимает облик странствующего «вечного студента» из породы «бурных гениев», хвастливого литератора и задиры. Его повадки напоминают других гофманских чудачков и оригиналов, но никак не тиковского Абрагама Тонелли. Скорее всего Гофман понял, что попал не в свою сферу и избрал несвойственный ему тон. Вероятно, он хотел пародийно оттолкнуться от образа, созданного Тиком, но литературной сатиры на этой основе не получилось, а простое «подражание» и «продолжение» «мемуаров» монарха страны Аромата его удовлетворить не могло, хотя стилизация манеры ему удалась превосходно. Но кое-что от повадок и стиля Абрагама Тонелли нашло отражение в мемуарах Кота Мура, преисполненных самодовольства и сознания собственной значительности. К тому времени волшебносатирическая сказка уже нашла новые пути для своего развития и художественного воплощения. И этим она была прежде всего обязана тому же Э. Т. А. Гофману.

4

«Если повсюду крайности соприкасаются друг с другом, то и есем нам в недавнее время привелось увидеть, что вслед за периодом глубочайшего унижения и жалчайшего прозябания нашей отечественной поэ-

⁶⁵ Л. Тик знал об этом и с удовольствием отметил в 1828 г.: «В веселые часы была написана эта шутка, которая позабавила и другие души. Я вижу по книге (Хитцига) „Жизнь и Наследие Гофмана“, что этот остроумный автор намеревался продолжить шутку, и в самом деле среди его бумаг найдено несколько исписанных листов» (L. Tieck's Schriften, Bd. 6. 1828, S. XXXI).

зии непосредственно пришел другой, который попытался призвать вялые души к новой жизни, что, конечно, столь же далеко отклоняется от истинной цели, как было и в тот, ныне счастливо отживавший период; короче, мы видели, как за временем „Вертера“ последовало время „Гёца“, а периоду паточной Карбункуловой поэзии наших неоромантиков наступал на пятки Потрясающе-содрогательный! Еще недавно столь нежная и слабо-нервная Муза внезапно подружилась с Сатанюю, Адом, с рожей, нареченной роком, а виселица и колесо стали ее туалетными безделушками. Театр, столь долго пренебрегаемый ею театр, в особенности стал ее любимым пристанищем, и она на этой всеобщей толкучке принялась выкидывать всяческие „фортели вдохновения“ (пользуясь словами Гёте), на какие только ее ни наталкивало минутное своеволие. И так мы узрели февральские ночи, праматерей, заклинателей дьявола, заколдованных цыганами братоубийц, а причуды времени вынесли эти порождения минуты на поверхность; дело дошло до того, что один истинный гений, и притом единственный, лорд Байрон, пошел тою же стезею, и это стоило головы многим современникам! Самое большее, чего мог достичь на этом пути экзальтированный дух, было навывмышлено в рассказе „Вампир“, и сей вампиризм — тот самый, что с немалой силою (и не только в Германии) наводит жуть в этой поэзии минуты. И уже никто больше не хочет быть просто захваченным, растроганным, а все стремятся быть потрясенными, повергнутыми в дрожь; волосы должны стоять дыбом, дыхание прерываться, и это называется: поэзия оказала свое действие!»

Эта ироническая характеристика немецкой литературы и театра вошла в рецензию на оперу Вебера «Вольный стрелок», написанную Э. Т. А. Гофманом в конце жизни.⁶⁶ Рецензия отражает давно сложившиеся взгляды Гофмана, которому одинаково были чужды и «вертеризм», и ходульные «трагедии рока», и тяжеловесный вальтерскоттовский «исторический реализм», и томнокрасивая «карбункуловая» поэзия, сводящаяся к брэнчанию созвучиями, бессмысленной игре рифмами и перепеву банальных мотивов.

⁶⁶ Vossische Zeitung, 1821, номера от 21, 26, 28 июня и 5 июля. — Упомянутая Гофманом в этой рецензии приторная псевдоромантическая поэзия получила название «карбункуловой», вероятно в связи с появлением в 1802 г. пародийного альманаха Баггецена «Karfunkel- oder Kling-Klingel-Almanach. Taschenbuch für vollendete Romantiker und angehende Mystiker» (1802). — «Февральские ночи» — имеются в виду «трагедии рока» Захария Вернера «24 февраля» (поставлена в 1810 г., напечатана в 1815 г.), и «29 февраля» Адама Мюльнера (1812). «Праматерь» — трагедия Ф. Грильпарцера (1817). Повесть «Вампир» ошибочно приписывалась Байрону, так как была напечатана одновременно с его поэмой «Мазепа» (в 1819 г.). Автором повести был врач Вильям Полидори, лечивший Байрона, который и сообщил ему сюжет этого рассказа во время совместного пребывания на Женевском озере. Полидори изложил и приукрасил этот рассказ на свой лад, а в предисловии к нему приписал авторство Байрону. Отрицательный отзыв об этой повести вложен в уста Сильвестра в «Серапионовых братьях» (IV книга).

Он презирал псевдоромантизм и наигранную литературную мистику, выродившуюся в дешевую возню с привидениями.

Обратившись к жанру волшебной сказки, Э. Т. А. Гофман скоро почувствовал, что бесконечные подражания «1001 ночи», весь «восточный Джиннистан» уже в значительной степени утратили свое очарование. Ему была близка и понятна насмешливо-ироническая позиция Виланда, занятая им по отношению к избитому реквизиту французской «сказки о феях». Но Гофмана не могла удовлетворить поверхностная пародия, однопланное развитие темы, однотипный и плоский гротеск рококо. С первых же шагов он прибегает к романтической иронии, смещению фантастики и обыденности, созданию двойственного литературного плана. 19 августа 1813 г. в письме к своему другу Кунцу Гофман писал: «Меня чрезвычайно занимает продолжение „фантазий в манере Калло“, в особенности одна сказка, которая займет почти целый том. Только не думайте, дорогой мой, о Шехерезаде и „Тысяче и одной ночи“. Чалма и турецкие штаны совершенно изгнаны, все должно развернуться в атмосфере фей и чудесного, но вместе с тем дерзко вторгаясь в обычную будничную жизнь и черпая из нее свои образы. Так, например, тайный (советник) архивариус Линдхорст — весьма могущественный чародей, чьи три дочери, превращенные в сверкающих зеленым золотом змеек, заключены в хрустальный сосуд, однако в день святой Троицы им дозволено в течение трех часов понежиться на солнышке в кустах бузины — тех, что в апелевском саду, где прогуливаются все завсегдатаи кофеен и пивных — и вот юноша, облаченный в праздничный сюртук, только собрался в тени сего кустарника поглотить сдобную булочку, подумывая о завтрашних лекциях, — как вдруг был охвачен безумною любовью к одной из зелененьких. Его оглашают, его венчают: получает в приданое золотой ночной горшок, униженный драгоценными камнями — а когда он однажды туда... — то превращается в мартышку и т. д. Примечайте, мой друг! Тут витают призрак Гоцци и Фафнера.»⁶⁷

Итак, у истоков сказочного творчества Э. Т. А. Гофмана стоит, по его собственному признанию, театральная сказка Карло Гоцци и эпический образ Фафнера, созданный де ла Мотт Фуке в драматической поэме «Зигурд Змеборец»,⁶⁸ а едва ли не главным мотивом он, оказывается, обязан «Истории принца Бирибинкера» Виланда, где в хрустальный ночной горшок была превращена ревнивым волшебником легкомыс-

⁶⁷ E. T. A. Hoffmann. Briefwechsel. Gesammelt und erläutert von Hans von Müller und Friedrich Schnapp. Bd. 1. Königsberg bis Leipzig, 1794—1814; München, 1967, S. 408.

⁶⁸ Sigurd der Schlangentödter. Ein Heldenspiel in sechs Abentheuren von Friedrich Baron de la Motte Fouqué. Berlin, 1808. Это первая часть трилогии «Герой Севера» (Der Held des Nordens, 1810). Гофман упоминает «приносящее несчастье» сокровище Фафнера в рассказе «Артуров двор».

ленная фея Кристаллина. Близость этих произведений вызывает изумление.

Приступив к работе над сказкой «Золотой горшок», планом которой он поделился с Кунцем, Гофман все более отступает от намерения развернуть ее в традиционной «атмосфере фей», смягчает слишком очевидную фривольность виландовского «горшка» и вовсе отказывается от Фафнера. В сказочном творчестве Гофмана все сильнее проступает связь с действительностью и усиливаются сатирические нотки. А его юмор приобретает все большую язвительность.

Наиболее явственно новые тенденции в развитии жанра волшебнo-сатирической сказки у Гофмана обозначились в «Крошке Цахесе» (1818). В письме к Хиппелю от 27 января 1819 г. Гофман утверждал, что эта сказка «самое юмористическое произведение, которое я когда-либо написал, каким оно и признано моими здешними друзьями». В то же время современники усматривали отчетливую связь «Крошки Цахеса» с литературной традицией. Критик «Гейдельбергского ежегодника литературы» писал: «Весьма фантастичная сцена в волшебном кабинете Проспера (Альпануса) совсем не оригинальна. Чудесный воздушный фаэтон сделан по образцу подобной же упряжки у графини д'Онуа, а идея, по которой фигуры в книге становятся живыми существами, полностью заимствована из ее же „Принца Тортиколи“. Встреча Проспера и канониссы, по-видимому, обязана своим возникновением подобной же, однако враждебной встрече в „Тысяче и одной ночи“ (история второго Каландара)».⁶⁹

Близость отдельных мотивов и даже прямое заимствование, разумеется, не означали отсутствие оригинальности. Однако подобные упреки и возможность кривотолков задели и встревожили Гофмана, и он, опубликовав в конце 1820 г. (с датой выхода 1821) новую сказку «Принцесса Брамбилла», счел необходимым снабдить ее предисловием, в котором уверял, что «Крошка Цахес» содержит «забавное и непринужденное изложение некой шуточной идеи». «А по сему автор немало изумился, когда натолкнулся на рецензию, в коей эта шутка, набросанная для мимолетного увеселения, без какой бы то ни было далеко идущей претензии, была разобрана с серьезным и многозначительным видом, причем заботливо упомянут каждый источник, из коего черпал автор. Последнее, конечно, было ему приятно в том отношении, что подало повод самому разыскать эти источники и обогатить свои познания. Но дабы предупредить всякое недоразумение, издатель этих листков объявляет наперед, что как „Крошка Цахес“, так и „Принцесса Брамбилла“ — книги, в равной мере не предназначенные для людей, которые с большою охотою принимают все со значительностью и всерьез».

⁶⁹ Heidelbergger Jahrbücher der Litteratur. 12 Jahrgang, 1819, 2. Hälfte., № 57, S. 908. (БАН).

Хотя Гофман и отрицал заимствование отдельных мотивов для «Крошки Цахеса» из названных рецензентами источников, общая связь этого произведения с традицией волшебной сказки и ее персонажами не подлежит сомнению. Таинственный экипаж Проспера Альпануса, сделанный «из сверкающего хрусталя» и напоминающий по своей форме раковину, несомненно принадлежит к сказочному реквизиту рококо. Фея Розабельверде не только вышла из «Кабинета фей», но и отчасти сохранила его дидактику. Волшебные персонажи сказки условны и театральны. Гофман ближе других немецких романтиков к сказочно-феерической традиции рококо. Не только его феи, но и уродец Цахес грациозны по рисунку. Сцена в саду, когда к нему прилетает фея Розабельверде и расчесывает его волосы, словно изображена на шелковом веере или финифтяной табакерке. «Реальные» герои сказки — студенты и бюргеры — также не чужды театральной условности.

Как и Виланд, Гофман прибегает к литературным намекам и реминисценциям. В «Крошке Цахесе» он цитирует Гамлета и слегка пародирует Шиллера, иронически намекает на героев «Тристана» Жана Поля Рихтера, дружески упоминает рыцарский роман де ла Мотт Фуке «Волшебное кольцо». Он заимствует имена из популярной в кругах романтиков книги И. Циммермана «Об одиночестве» (1784), наделяя ими персонажей совершенно иного склада и характера, чем в оригинале, разумеется с расчетом на комический эффект. Эта литературность более интимна, более органически связана с художественной тканью произведения, чем у Виланда и даже у Л. Тика. Гофман не пародирует изжитые мотивы и персонажей «волшебной сказки», как это делал Виланд, хотя они и выступают в ироническом свете. Он скорее раскрывает и оживляет их скрытую поэтичность. Феи и волшебники в «Крошке Цахесе» становятся олицетворением поэтического начала, попираемого сухим рационализмом «века Просвещения» и трезвой рассудочностью бюргерского «бидермайера». Они старомодны и театральны, но они остаются милы его сердцу, как музыка гобоев и клавесинов.

Если феи и волшебники являются до известной степени «готовыми фигурами», доставшимися Гофману от литературной традиции, то нити, связующие их с новой действительностью, принадлежат ему самому. Фея Розабельверде, чудом уцелевшая после расправы поборников Просвещения над волшебным миром, скромно доживает свой век в обличье провинциальной канониссы. Могущественный маг Проспер Альпанус, находящийся в несомненном родстве с волшебниками Виланда, ведет не менее скромный образ жизни ученого-дилетанта, чудака и оригинала, который поселился на окраине университетского города и водит дружбу со студентами. Все, что с ними происходит в дальнейшем, соотносится с реальными отношениями мира, в котором они очутились.

Гофман тщательно разрабатывает реальный фон сказочного повествования. Он рассыпает множество намеков на различные события и обстоя-

тельства, вносит конкретные детали городского и студенческого быта, излюбленные словечки и литературные цитаты, подыскивает житейские ситуации, носящие комический характер. Реалистические детали то и дело превращаются у Гофмана в гротескно-фантастические, а сказочные подробности, входя в реальную действительность, приобретают ироническую обыденность. Такова особенность поэтики его «сказок о действительности».

Наряду с феями и волшебниками рококо в сказке выступает новый и, пожалуй, чуждый им персонаж. Это — Цахес. Он наделен чертами кобольда из народных поверий. Это оборотень, но в сказке он назван еще и маленьким Альрауном, и таким образом введен в круг фольклорных представлений.

Альраун — волшебный корешок, отождествляемый с корнем мандрагоры, отдаленно напоминающим человеческую фигурку, покрытую волосами. Он издавна употреблялся в Европе и Азии с лечебными и колдовскими целями. С альрауном связаны поверья и легенды, которые обрабатывали еще Ганс Сакс и Гриммельсгаузен, написавший трактат «Симплициссимусовский висельный человечек» (1672). Альраун будто бы вырастает под виселицей, обладает способностью открывать клады, свойствами приворотного зелья и т. д. Когда его вырывают из земли, он испускает ужасающие вопли и приносит завладевшему им несчастье. Мотив был использован Тиком в новелле «Руененберг» (1802), Брентано в драме «Основание Праги» (1814), де ла Мотт Фуке в повести «Висельный человечек» (1810), и особенно разработан Арнимом в повести «Изабелла Египетская» (1812), где альраун выступает как человекообразное существо, которое добыла и выпестовала сердобольная цыганка. Он наделен множеством смешных недостатков и слабостей, кичлив, капризен, ревнив, обидчив, но не слишком зол, а порой даже добродушен. Это — несомненный предтеча Цахеса.

«Чудесный дар», полученный Цахесом от феи Розабельверде, делает его совершенным в том роде, с каким он приходит в соприкосновение. Гофман тщательно разрабатывает этот мотив, используя его возможности для создания комических ситуаций. Цахес не только присваивает чужую славу и чужие таланты — банальные восторженные стихи студента Балтазара «о любви соловья и розы», виртуозную игру на скрипке итальянского маэстро Сбьокка, юридические познания референдаря Пульхера и наивные физические опыты профессора Моша Терпина, — его принимают за гастролирующую итальянскую певицу, за владельца всех богатств монетного двора и даже за диковинную обезьянку в кунсткамере.

Цахес — фантастический образ, вторгшийся в реальную действительность как злое начало. От него плохо всем, кто приходит с ним в соприкосновение. Но и ему самому не пошел на пользу чудесный дар, которым наделила его фея Розабельверде. Он сам игрушка непостижимого и коварного рока. Развенчанный и опозоренный, он обретает постыдную и коми-

ческую смерть. Но великодушная фея во время последнего прощанья возвращает ему незаслуженное, но теперь уже неопасное обаяние, так что Циннобер стал даже «красивее, чем когда-либо при жизни». «Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра», — восклицает фея, расставаясь со своим любимцем.

Возникает образ несчастного Цахеса, обиженного судьбой «пасынка природы», вознесенного случаем для еще более горького падения. Вместе с тем в сказке вступает в свои права этическая проблема. Чужое добро впрок не идет! Несправедливо отнятое у других не приносит и не может принести счастья. Мотив присвоения «чужого добра» (в том числе труда и таланта) встречается в фольклоре многих народов. Но Гофман не пошел путем народной дидактики. В речи у тела Цахеса фея Розабельверде смещает решение проблемы в сторону романтических представлений о нравственных задачах и нравственной природе человека. «Верно, было безрассудством думать, — признается она, — что внешний прекрасный дар, коим я наделила тебя, подобно лучу проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: „Ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравниться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь высь“. Но внутренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух не мог воспрянуть». Вводя мотив «чудесного дара» Цахеса в реальную действительность, Гофман не превращает его в сухую и мертвую аллегорию. Он словно предостерегает от наивного и плоского истолкования этой сказочной фантазмагии. Когда реферндарий Пульхер, который склонен к рассудочно-прозаическому объяснению, фантастических событий, подозревает во всем «неслыханный подкуп», студент Балтазар возражает с укоризною: «Полно, друг реферндарий, не золотом сильно это чудовище».

В «Крошке Цахесе» Гофман утверждал «реальность» сказочного мира, его поэтическую достоверность. В то же время защита поэзии от педантов и резонеров переходит в резкую общественную и философскую сатиру почти вольтеровского начала. Гофман не только ополчается против бюргерского антипоэтического рационализма, но и разоблачает связанные с ним социальные тенденции. Профессор Мош Терпин, обеспечивший себе тепленькое местечко в Университете, где он с глубокомысленным видом переливает из пустого в порожнее и ломится в открытую дверь, объясняя своим слушателям, что темнота происходит исключительно от отсутствия света, не просто прозаический ум, а «филистер от науки», как его часто называют. Его рассуждения не выражают только ему одному свойственную смешную особенность. Он представитель определенного философского направления, последыш рационалистического проветительства Христиана Вольфа, властителя умов в Германии первой половины XVIII в. Связанные тонкой цепочкой логических рассуждений, выведенные дедуктивным путем истины излагались Вольфом мнимоматематическим методом, как например:

«2-е пояснение

3. То, что все вещи вокруг нас делает видимым, мы называем свет; недостаток света — тенью; а отсутствие всякого света — темнотою.

1. Аксиома

4. Без света нельзя видеть.

2. Аксиома

5. Чем более в каком-либо месте затруднен приток света, тем сильнее тень». ⁷⁰

Гофман не только пародирует «эвклидовский» метод рассуждений Христиана Вольфа и свойственное ему оперирование банальными истинами, но и нападает на его систему «социального оптимизма», вытекающую из лейбницевско-вольфианского учения о «предустановленной гармонии» и «наилучшем из возможных миров», едко осмеянного Вольтером в «Кандиде». Безобидный на первый взгляд профессор «экспериментальной физики» Мош Терпин, помимо невинных занятий в винном погребе, должен был еще растолковывать княжеским арендаторам, «отчего случается град, дабы и этим глупым пентюхам малость перепало от науки, и они могли впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать увольнения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто, кроме них самих, не повинен».

В «Крошке Цахесе» представлены два временных плана: ретроспективный, относящийся к середине XVIII в., ко временам вымышленного князя Пафнутия, который вводил Просвещение в своем карликовом княжестве и отсталой, но уже пережившей наполеоновские войны Германии начала XIX в. Между ними сохраняется историческая связь. Наследником князя Пафнутия выступает князь Барсануф, еще более ничтожный, капризный и изнеженный. Он кажется еще большим историческим анахронизмом, чем его предшественник.

Выступая против плоского рационализма и философии социального примирения, характерной для Германии XVIII в., Э. Т. А. Гофман не порывает с идеями Просвещения, хотя и осмеивает практику «просвещенного абсолютизма» с его неусыпными заботами о благе подданных, вызванными меркантилистскими, популяционистскими и фискальными соображениями, насмешливо упоминает об оспопрививании, насаждении

⁷⁰ Chr. Wolff. Auszug aus den Anfangs-Gründen aller mathematischen Wissenschaften zur bequemeren Gebrauche der Anfänger. 5. Auflage, Frankfurt und Leipzig, 1734, S. 296. — О Христиане Вольфе и его «математическом методе» см. в кн.: А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.—Л., 1962, стр. 254—263.

картофеля, распространении шелководства и других «реформах», принудительно осуществлявшихся путем княжеских эдиктов и канцелярских предписаний. Гофман начинает сказку о Цахесе с упоминания о мучимой голодом и томимой жаждою крестьянке, бедной и оборванной, и несчастной, разумеется, не от того только, что у нее родился мерзкий, похожий на альрауна уродец, который лишь довершил их беды, «дабы мера нашего горя была исполнена». А кончает сценой возмущения, даже мятежа против превознесшегося, забравшего непомерную власть недостойного временщика.

Гофман нападает на пережитки феодализма, обрушивая на них всю силу своей иронии. Предметом его сатиры становится не только немецкое мелкодержавие, с его фаворитизмом и придворно-бюрократической машиной, но и бюргерская среда, «средний класс» — неоперившаяся, слабая и трусливая немецкая буржуазия. Карликовый двор князя Барсонуфа становится особенно смешон и противен, окруженный верноподданническим и благоговейным восхищением обывателей. Законопослушный бюргер преисполнен локального патриотизма. Его бесконечно волнуют все мелочи и происшествия придворной жизни, как бы далеко он от нее не стоял. Он прислушивается ко всему, что происходит «наверху», с тайным опасением за свою участь, а то и с робкой надеждой при случае урвать что-либо для себя, как это и случилось с профессором Мош Терпином.

Мош Терпин, профессор эстетики, студент Фабиан, референдарий Пульхер и даже Кандида — все они в той или иной степени наделены трезвой бюргерской рассудительностью, с которой и сталкивается восторженный Бальтазар в реальном быту маленького немецкого городка. Но это столкновение не несет в себе трагедии. Гофман высмеивает прежде все то, что уже отживало в бытовом укладе и мировоззрении немецкого бюргерства. Он словно хочет исцелить его от филистерства, узости мысли, непонимания поэзии и старомодных представлений. Нелепо в самом деле придерживаться наивного рационализма Христиана Вольфа и Готшета во времена Канта, Гёте и литературного романтизма. В лице студентов Пульхера и Фабиана Гофман высмеивает незрелый, драчливый радикализм бюргерской интеллигенции. Он вышучивает не только рассудочность Фабиана, но и выпренные речи наивно восторженного Бальтазара, исповедующего с жаром неопита банальные истины романтизма.

Однако к немецкому бюргерству, невзирая на скудость и ограниченность его мирка, Гофман относился с нескрываемым сочувствием. И если в «Щелкунчике» детский мир сказки до известной степени противостоит скучной обыденности, то все же он не выходит за пределы семейного быта и святочного уюта. Поэзия обыденности вступает в свои права и в «Крошке Цахесе», где романтический мечтатель Бальтазар находит реальное счастье в обстановке мещанского благополучия. Фея Розабельверде подарила невесте сверкающее ожерелье, «магическое действие коего

проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицею, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прическою, пятном на белье или чем-либо подобным». Вся сцена окрашена благожелательным юмором. Это скорее бюргерская идиллия, чем антибюргерская сатира. Но эта идиллия предстает в условно-грациозных очертаниях рококо, проецированная на полотно ироническим «волшебным фонарем» Гофмана.

В «Королевской невесте» Гофман широко использовал мотивы заимствованные из «Габалиса», вышедшего в 1782 г. в немецком переводе.⁷¹ Помимо этого он был непосредственно знаком с приписываемым Парацельсу трактатом «О нимфах, сильфах, гномах, саламандрах», использованным де ла Мотт Фуке в волшебной повести «Ундина» (1811), переведенной на русский язык стихами В. А. Жуковским. Повесть послужила литературной основой для одноименной оперы самого Э. Т. А. Гофмана, единственной поставленной при его жизни (в 1813 г.). Интерес к «Габалису», по-видимому, пробудился у него еще раньше под влиянием неоконченного романа Ф. Шиллера «Духовидец», печатавшегося с 1787 по 1789 г. в журнале «Талия», а затем вышедшего отдельным изданием в 1798 г. Гофман читал этот роман осенью 1805 г., т. е. в кёнигсбергский период своей жизни, что нашло отражение в его повести «Майорат» (1817), содержащей автобиографические признания. Шиллер несомненно относился к «Габалису» с ироническим предубеждением. В «Духовидце» эту книгу называет в числе своих «пособий» шарлатан-сицилиец, который ведет с одураченным им старым бароном беседы о «брачных союзах философов» с сильфидами и саламандрами.

Гофман воспринимал «Габалиса» на фоне сложившейся литературной традиции. Ему, вероятно, были известны цикл из четырех стихотворений Фридриха Матиссона «Стихийные духи»,⁷² опера Фридриха Химмеля «Сильфы» (по либретто Людвиг Левича), поставленная в Берлине в 1806 г., роман Хр. Шписа «Ганс Хейлинг, четвертый и последний позелитель земных, воздушных, огненных и водяных духов»,⁷³ вульгаризовавший представления Парацельса и другие произведения.

Постоянное обращение к мотивам «Габалиса» в литературе и на театре подготовило почву для их пародирования. У Гофмана оно происходит резче и несколько на иной основе, чем у Виланда, «Стихийные

⁷¹ Graf von Gabalis oder Gespräche über die verborgenen Wissenschaften. Aus dem Französischen. Berlin, 1782, 124 S. (ГПБ).—О «Габалисе» как одном из источников фантастики Гофмана см. также: P. Sucher. Les sources du merveilleux chez E. T. A. Hoffmann. Paris, 1912, pp. 92—101.

⁷² Gedichte von Matthisson. Fünfte vermehrte Auflage. Zürich 1802, SS. 147—150. (ГПБ).—В примечаниях к этой книге приведена цитата из французского издания Габалиса (1691 г.).

⁷³ H. Spieß. Hans Heiling, vierter und letzter Regent der Erd-, Luft-, Feuer- und Wassergeister. Ein Volksmärchen des 10. Jh. Bd. I—IV. Frankfurt am Main und Leipzig. 1798—1800.

духи» и феи волшебных сказок, между которыми Виланд по существу не усматривал особого различия, стали вести раздельное существование. Гофман их отчетливо различал. Фея Розабельверде в «Крошке Цахесе» не имеет ничего общего с «духами стихий». Она добрая волшебница старых «нянюшкиных» сказок. Точно так же и ее «соперник», принявший сторону обиженных покровительствуемым ею Цахесом бюргеров и студентов, «маг» Проспер Альпанус решительно ничем не походит на адептов «тайных наук» общающихся с миром «стихийных духов». Эта роль отведена дилетанту-астрологу и кабалисту, обнищавшему дворянину Дапсулу фон Цабельтау в «Королевской невесте». Его комичные разглагольствования о вмешательстве «стихийных духов» в человеческие судьбы, лишают этих существ всякого ореола. Обручение его дочери, простушки Анихен с гномом, королем овощей Даукусом Кароттой Первым откровенно пародирует «мистические браки» «стихийных духов» и человека.

В своих волшебных сказках Гофман вовсе не выступает апологетом призрачного нереального мира и не противопоставляет его действительному. Вряд ли можно говорить о каком-либо «дуализме» реального и фантастического в такой сказке, как «Королевская невеста», где все служит целям создания сказочной театральной буффонады. Но и в самой серьезной и глубокой «философической» сказке Гофмана «Золотой горшок», сверхъестественный мир подсвечен насмешливыми огоньками. Архивариус Линдхорст высказывает забавное опасение, что его «тайна», которая состоит в том, что он сам «стихийный дух», может быть раскрыта и навлечь на него служебные неприятности. Возникнет вопрос: «может ли Саламандр под присягой и с обязательными по закону последствиями быть принятым на государственную службу и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как по Габалису и Сведенборгу, стихийный дух вообще не заслуживает доверия». Здесь проявляется не только «романтическая ирония» самого Гофмана, но и насмешливая литературная традиция XVIII в.

Сказочно-фантастический мир Гофмана, в каких бы аспектах он ни раскрывался, всегда условен и нередко пародиен. Если в «Крошке Цахесе» вторым ассоциативным планом служит волшебная сказка рококо, в «Королевской невесте» — представления о «стихийных духах», ставшие достоянием литературы и театра, то в сказке «Выбор невесты» (1820) явственно проступают «готические» романы Шписа и Крамера. Когда молодой художник и поэт Эдмунд Лезен сообщает, что его отец считал таинственного мастера Леонгарда чем-то вроде Агасфера (так ли это, остается невыясненным), тот насмешливо спрашивает: «А почему бы не Крысоловом из Гаммельна или Стариком везде и нигде, Петерменхеном или чего доброго кобальдом!». И таким образом пробуждает у читателя воспоминания о литературном подтексте сказки. Совершающиеся события также приводят на память аналогичные сцены «черных романов».

Безмолвная городская ратуша освещается ночью огнями, и в ней происходит призрачный ночной бал, что заставляет вспомнить заброшенный замок, где пируют кошки в названном самим автором романе «Старик везде и нигде». Но замечательно, что незадачливый жених, старый холостяк, чудаки и библиоман Тусман, выведенный в этой сказке, не может расстаться с сочинением видного представителя раннего немецкого Просвещения Томазиусом, и руководствуется им как оракулом в выборе себе невесты.

Ироническая основа сказочного творчества Гофмана раскрывает особенности его «мистики», которая часто оказывается лукавой мистификацией. Призрачный мир Гофмана отдавал легким пастишем. Бутафорский характер его сказочного реквизита не вызывает сомнений. В «Крошке Цахесе» Гофман несколько раз обращается к натурфилософской книге Г. Шуберта «Воззрения на ночную сторону естественных наук»⁷⁴ лишь затем, чтобы выловить несколько деталей для создания условного «восточного фона». Он упоминает псевдоиндийскую поэму «Чарта-Бхада» (о которой сам Шуберт сообщает, что подлинность ее сомнительна) безотносительно к ее содержанию. В конце сказки Проспер Альпанус сообщает, что его посетил «маг Лотос», чтобы передать привет от принцессы Бальзамины, «которая пробудилась от сна и в сладостных звуках Чарта-Бхады, той прекрасной поэмы, что была нашей первой любовью, простирает ко мне томящиеся руки». Ироническая уловность здесь проявилась даже в подборе имен.

В сатирических сказках Гофмана происходит саморазрушение натурфилософских концепций усвоенных романтизмом. Несмотря на отвращение к антипоэтической рассудочности, Гофман был не лишен здоровой дозы рационализма. Природная насмешливость и ирония не позволяли ему бездумно отдаваться обаянию таинственного и непознаваемого. Здравомыслящий берлинский криминалист, он расследовал окружающую фантазмагорию жизни, превращая ее в горько-веселую феерию. Гофман сумел оживить блекнувшие образы волшебной сказки и дать новую жизнь традиционному жанру. Обновленные его творческой фантазией, старые мотивы, вступая в причудливые сочетания с необычными для них чертами реального мира, отдавали весь скрытый заряд заложенных в них поэтических ассоциаций и переживаний.

Его сказочный мир вобрал в себя все истинное и прекрасное, подлинно поэтическое, как он себе это представлял. Но он хорошо сознавал, как хрупко и ненадежно это пристанище. Его ирония почти в равной мере простирается на мир реальных отношений и на фантастический. Миру поэзии угрожает не только беспощадно трезвая действительность. Он разрушается и опошляется изнутри, и, между прочим, от того, что теряет связь с этой самой действительностью. На него наступает рассу-

⁷⁴ G. Schubert. Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden, 1808.

дочная банальность, надуманная «карбункуловая» поэзия и псевдоромантическое сочинительство. Против этой-то вымученной внутренне бессодержательной поэзии и выступил в «Королевской невесте» Гофман. Прелесть будничной жизни противопоставляется в этой сказке не только заумной выспренности возмнившего себя поэтом Амандуса, но и сказочной пышности и великолепию подземного царства Даукуса Каротты, под которыми скрывается гниль и тление. Сказка получает еще один поворот — литературной сатиры, ибо превознесшегося гнома, короля овощей докнало не что иное, как чтение невыносимо банальных стихов Амандуса.

Необходимо указать еще на один аспект усвоения Э. Т. А. Гофманом традиций волшебной сказки. Это — театр Карло Гоцци, сочетавший народную комедию масок и карнавальную буффонаду с литературной пародией и философской сатирой. Гоцци был любимым писателем Гофмана, обогатившим его причудливыми мотивами и реминисценциями в сказках «Принцесса Брамбилла», «Повелитель блох» и др. В «Странных страданиях театрального директора» сообщается, что фея Моргана растерла в порошок две-три «трагедии рока» и смешав их с шоколадом угостила принца Тарталью, который после этого заболел тяжелой меланхолией. В сценарии драматической сказки Гоцци «Любовь к трем апельсинам» шутовского принца Тарталью угощают, чтобы его погубить, «грамотками в мартеллианских стихах», запеченными в хлебе, т. е. произведениями, написанными тяжеловесным «мартеллианским стихом», которым пользовались враги Гоцци — Кьяри и Гольдони. Гофман переадресовал этот мотив своим современникам — авторам «трагедий рока».

Связь с традицией волшебной сказки рококо почти исключает развитие характеров. Персонажи сказок Гофмана, не только феи и волшебники, но и взятые из обыденности, под давлением этой традиции превращаются в условные «фигуры» — с чертами, переходящими от одного к другому. Это новые «маски» романтического иронического театра. Плаксивый маг Дапсвий фон Цабельтау продолжает и отчасти пародирует в своем облике и действиях архивариуса Линдхорста и Проспера Альпануса. Простушка Аннхен в наивности и мещанской ограниченности снижает и представляет в добродушно-комическом свете черты, намеченные в Веронике и Кандиде. Гофман создает двойственный аспект восприятия, в котором возникает насмешливо-ироническое отношение не только к традиционным художественным средствам, литературным мотивам и образам, но и к изображаемой действительности.

Гофман был превосходным рисовальщиком-карикатуристом. Его лаконичные карикатуры были далеко не безобидны. В 1802 г. серия карикатур на прусских офицеров в Позене едва не стоила ему карьеры, и во всяком случае помешала его повышению в чине. На его случайно уцелевших карикатурах мы видим тех же кукольно-театральных персонажей, восседающих на котах и драконах. Но «кукольный» король в короне из фольги, протягивающий руку для поцелуя коленапреклоненному

бюргеру — уже довольно злая сатира на низкопоклонство и надутую спесь.

Как и Виланд, Э. Т. А. Гофман восхищался творчеством Хогарта. Обоим привлекал Жак Калло. Но восприятие гротеска у Виланда и у Гофмана различно. Ирония Виланда благожелательна, но в сущности бесчувственна и эгоистична, пропитана чувством превосходства и тонкого издевательства над человеческой глупостью. Ирония Гофмана трагична и служит отражением глубокого душевного конфликта. Она коренится в фактической двойственности социального бытия и душевного мира Гофмана, который, по словам его младшего современника, недоброжелательно относившегося к нему немецкого поэта Августа Платена, «утром отправляется на службу с папкой канцелярских дел, а вечером на Геликон». Восприятие мира Гофмана отражает его неудовлетворенность социальной и исторической действительностью, что находило выражение в горьком сарказме, просвечивающем сквозь сказочно-условную форму его повествования. Сатирическая сказка Гофмана продолжала традиции Просвещения в немецком романтизме. До известной степени она разрушала романтические иллюзии и представления, подготавливая почву для дальнейшего более глубокого отражения действительности.

ПРИМЕЧАНИЯ

К. М. ВИЛАНД

ИСТОРИЯ ПРИНЦА БИРИБИНКЕРА

Перевод «Истории принца Бирибинкера» осуществлен по изданию: С. М. Wielands. *Sämmtliche Werke*. Bd. 12. Leipzig, 1795. При переводе опущены реплики и беседы слушателей, которые перебивают изложение сказки, связывая ее с общим содержанием романа. Этот принцип осуществлен самим Виландом в отдельном издании «Истории принца Бирибинкера» (1769). Важнейшие реплики перенесены в примечания, а заключительная беседа героев романа дана в приложении к основному тексту. В примечаниях отмечены и важнейшие разночтения с первым изданием 1764 г.

Первый русский перевод напечатан в составе романа: «Новый дон Кишот, или Чудного похождения дона Сильвы де Розалва. Сочинение г. Виланда. Переведено с немецкого Федором Сапожниковым. Тт. 1—2, Иждивением Н. Новикова. М., 1782, кн. 6, стр. 177—337. Других переводов на русский язык не было.

О Виланде и интересе к нему в России см.: Р. Ю. Данилевский. Виланд в русской литературе. В сб.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Изд. «Наука», Л., 1970, стр. 298—379; K. Günther. *Wieland und Rußland. Zeitschrift für Slawistik*. Bd. XIII. 1968, H. 4, SS. 496—541; H. 5, SS. 695—712.

Первая глава

¹ Страбон (ок. 66 г. до н. э. — 20 г. н. э.) — греческий географ.

² Мартиньер, Антуан-Огюст (1685—1749) — французский историк и географ, составитель «Большого географического и критического словаря» (тт. 1—9, Гаага, 1726—1729). В Германии пользовалось известностью, составленное по нему издание: Bruzen de la Martiniere. *Historisch-politisch-geographischer Atlas des gantzen Welt*. Bd. I—XIII. Leipzig, 1744—1750.

³ Гален, Клаудиус (131—201) — знаменитый врач древности.

⁴ Авиценна — латинизированное имя таджикского философа и врача Ибн Сина (ок. 980—1037), оказавшего значительное влияние на средневековую арабскую и европейскую науку.

⁵ Мальвазия — ликерное вино, изготовлявшееся на Канарских островах.

⁶ Феникс — редкостная фантастическая птица, которая, по сказаниям древних, летала раз в пятьсот лет из Аравии в Египет. Достигнув глубокой старости, феникс сжигал себя и возрождался из пепла. Его обычно представляли в виде орла с красными и золотыми перьями. Став символом вечной молодости, феникс вошел в эмблематику Ренессанса и барокко и постепенно превратился в фигуру театрального и декоративного характера. Виланд пародирует злоупотребление этим мотивом, сообщая, что в упряжке сразу было восемь фениксов.

⁷ «...сочлены немецкого литературного общества в...» — В изд. 1764 г. было: «столько остроумия, как у одного из сорока членов Французской Академии».

⁸ Люлли, Джованни Баттиста (1633—1687) — французский композитор.

⁹ Утренняя звезда — род бердыша, боевой топор, насаженный на длинное древко. Украшенный сверху небольшой железной звездой, служил традиционным оружием швейцарцев.

¹⁰ Пафос — город на западном берегу Кипра, неподалеку от мыса Зефирион, где, по преданию, Афродита (Венера) вышла из моря. Храм в Пафосе один из важнейших центров ее культа.

¹¹ Геба (*греч. мифол.*) — дочь Зевса и Геры, богиня вечной юности. Служила виночерпием у богов на Олимпе.

¹² «... истории Адониса и Венеры. — Адонис в древнегреческой мифологии — прекрасный юноша, родившийся от Миррового дерева, ставший предметом ревности и спора владицицы подземного царства Персефоны и Афродиты. Зевс присудил, что Адонис должен три четверти года находиться у Афродиты, а треть года у Персефоны.

¹³ Ариадна (*греч. мифол.*) — героиня цикла сказаний о Тесее, которая помогла ему убить владычицу Крита Минотавра. Покинутая Тесеем стала жрицей и возлюбленной Диониса (Вакха).

¹⁴ Сориты — в логике — заключения, выведенные из многих предыдущих положений (посылок).

¹⁵ После этих слов в издании 1764 г. следовало: «Что вы мне говорите о маленьком уродливом карле, — возразила Кристаллина, — уверяю вас, что в ту минуту, о которой мы говорим, Гри-гри мне представился Адонисом».

¹⁶ В тексте романа «История принца Бирибинкера» прервана следующей беседой: «Как я рад, — перебил дон Евгенио рассказ друга, — что вы, наконец, вывели вашего Бирибинкера из проклятого замка! Признаюсь, я бы не мог ни минуты долее сносить эту Кристаллину! Какая банальная тварь!

— Скажите только — она фея, — возразил дон Габриель, — и этим будет все сказано!

— Вы, надо думать, — заметил дон Сильвио с величайшей серьезностью, — вы не хотите дать понять, что нет фей достойных высочайшего уважения? — ибо совершенно неспоримо, что они существуют. Меж тем, наверное, может статься, что большая часть их обладает редкостными и нелепыми качествами, по которым их и различают смертные; если, конечно, эти недостатки не проистекают от нас самих, ибо мы судим о них согласно нашим правилам, коим они, как существа иного рода, не подчинены.

— Но их лепет, — сказал дон Евгенио, — нежность их чувствований, их добродетель! Что вы тут скажете?

— Я полагаю, что судить о феях — дело весьма щекотливое, так что я лучше помолчу, — ответил дон Сильвио, — а в этом случае особенно, так как, поистине, история принца Бирибинкера во всех отношениях самая чрезвычайная из всего, что мне доводилось когда-либо слышать о феях.

— Что касается характера феи Кристаллины, — заметил дон Габриель, — то историк представит его без всяких прикрас, каким он был, и я полагаю, что его можно порицать без ущерба для прочих фей. Впрочем, дон Евгенио, вы должны признать, что болтовня, которую вы нашли столь банальной, и наполовину не показалась столь скучной принцу Бирибинкеру, как вам, когда вы услышали ее из моих уст. Красивую особу всегда охотно слушают, когда ее видят, и она обладает вдобавок приятным голосом; она убеждает и трогает, так что мы даже не вникаем в то, что она говорит, и она бы не много выиграла, если бы мы слушали ее с большим вниманием.

— Ежели у вас для нашего пола нет лучше комплиментов, — сказала донья Фелисия, — то будет лучше, когда вы продолжите свою повесть, как бы ни казалась она скучна.

Дон Габриель обещал приложить все старание, чтобы его история стала более занимательной». Далее снова следует текст сказки.

¹⁷ Силен (*греч. мифол.*) — воспитатель и наставник Диониса (Вакха). Из-за беспробудного пьянства он был не в силах держаться на ногах, и его обычно везли на осле сатиры.

¹⁸ Ватиканский Аполлон — так называемый Аполлон Бельведерский — мраморная римская копия с утраченного греческого оригинала 4 в. до н. э. работы Леохара. Хранится в Ватикане.

Вторая глава

¹ Титон (*греч. мифол.*) — супруг Эос, богини утренней зари, которому она вымогла у Зевса бессмертие, забыв испросить вечную юность. Когда он состарился и одряхлел, Эос превратила его в сверчка (цикаду).

² Тициан (1477—1576) — итальянский живописец.

³ Медуза (*греч. мифол.*) — одна из трех горгон, чудовищ, обращавших своим взором в камень.

⁴ «читывали Овидия». — Здесь, по-видимому, намек не только на «Метаморфозы» Овидия, но и на его книгу «Искусство любви» — своеобразное руководство любовного обхождения.

⁵ Амонов рог — в виде раковины, излюбленный атрибут нимф, особенно в поэзии и изобразительном искусстве рококо.

⁶ Актеон (*греч. мифол.*) — юноша-охотник, который увидел во время купанья девственную богиню-охотницу Артемиду (Диану), за что был превращен в оленя и растерзан ее собаками.

⁷ Ундины. В тексте романа к этому месту сделано примечание: «Итак, знайте, — говорит граф Габалис, — что море и реки так же населены стихийными духами, как и воздух. Древние называли этот водяной народ ундинами и нимфами. Мужской пол у них немногочислен; напротив, женщины в большом числе; их красота необычайна. и дщери человеческие не идут ни в какое сравнение с ними»: Vilars. Entretiens sur les sciences secretes, t. I, p. 27 (ed. de 1742). О Габалисе см. сопроводительную статью.

⁸ Аверроэс — латинизированное имя арабского мыслителя Ибн-Рошида (1126—1198), комментатора Аристотеля. Это место сопровождается примечанием Виланда с общими сведениями об Аверроэсе, которое нами опущено.

⁹ Семела (*греч. мифол.*) — дочь фиванского царя Кадма, ставшая возлюбленной Зевса, которая по коварному совету богини Геры (Юноны) попросила его явиться в его истинном облике.

¹⁰ В тексте романа к этому месту дано примечание: «Так по крайней мере разумеет граф Габалис мифологический рассказ о прекрасной Семеле, которая была сожжена молниями своего возлюбленного Зевса, ибо возымела глупость заставить его покаяться Стиксом, что он однажды явится ей во всем торжественном великолепии, в котором он обычно пребывает со своей любезной супругой Юноной». Однако, по утверждению Габалиса, Семела находилась в близости не с Зевсом, а с саламандром.

¹¹ Сократ (469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. В тексте романа к этому месту сделано примечание: «Примером того служит рассказ Платона в „Пире Сократа“: он был приглашен, но не приходил до тех пор, пока за ним не послали. Его нашли посреди улицы, стоящим в некотором иступлении, в которое его повергло некое размышление, посетившее его на пути и заставившее его позабыть, где он находится и куда хотел идти».

¹² Лукреция — знатная римлянка (6 в. до н. э.), которую обесчестил Секст Тарквиний. Поведав отцу и мужу о своем позоре, Лукреция лишила себя жизни.

¹³ «... сделали честь любому кастрату». — Хоры кастратов и певцы-солисты принимали участие в католических богослужениях и выступали в светских концертах.

¹⁴ Баклажан. В оригинале «der Kürbis» — тыква. В перевод внесено изменение ввиду необходимости употребления мужского рода.

¹⁵ «... трансцендентальным размышлениям...» — В изд. 1764 г. «a priori».

¹⁶ Титон — см. прим. 1 к этой главе.

¹⁷ Калло, Жак (1582—1635) — французский рисовальщик и гравер.

¹⁸ Хогарт, Вильям (1697—1764) — английский живописец и гравер, прославившийся сатирическими картинами и карикатурами. Об эстетических принципах Хогарта см. в издании: В. Хогарт. Анализ красоты. Вступительная статья, примечания и редакция перевода М. П. Алексеева. М.—Л., 1958.

¹⁹ Корреджо (собственно, Антонио Алегро) (1489—1534) — итальянский живописец.

²⁰ Дурандус а сан Порциано (ум. в 1332 г.) — философ и богослов. Выступал против учения Фомы Аквината, развивая аргументацию сближавшую его с номиналистами. В романе Виланда к этому месту сделано примечание: «Знаменитый схоласт четырнадцатого столетия, прозванный за свою необычайную находчивость при решении хитроумнейших и запутаннейших вопросов, какие имели обыкновение задавать друг другу тогдашние схоластические мудрецы (как это вошло снова в моду в нынешнем десятилетии восемнадцатого века) — doctor resolutissimus. Его чрезмерная изощренность ума казалась трезвым людям его времени, не лишенной привкуса гетеродоксии, вследствие чего ему была сочинена эпитафия:

Durus Durandus jacet hic sub marmore duro
Aut sit salvandus ego nescio quisquo curo.
(Строгий Дурандус лежит здесь под мрамором строгим;
А вот спасется ли он? — то известно немногим).

В издании 1764 г. вместо Дурандуса а сан Порциано был назван Фома Аквинат.

²¹ В тексте романа «История принца Бирибинкера» прервана следующей беседой: «Тут дон Сильвио не мог удержаться, чтобы не перебить дону Габриеля, пытаясь узнать у него обстоятельства, относящиеся к талисману, с большей ясностью.

— Тут я, против вашего обыкновения, нахожу кое-что темным, — добавил он к концу своей речи, и признаюсь к тому еще, что и вполовину не уразумел того, что вы рассказали касательно пробуждения старого Падманабы.

Все собравшееся общество, не исключая и прекрасной Гиацинты, принуждено было встретить улыбку сие замечание, а дон Габриель не нашел ничего другого в ответ, как то, что темнота изложения, на которую сетует дон Сильвио, относится к самому предмету и что вообще редко встретишь историю о феях, в коей все было бы ясно и постижимо, как то было бы желательно. И коль скоро казалось дон Сильвио довольствоваться сим извинением, то дон Габриель приступил к продолжению рассказа». Далее следует текст сказки.

²² Мерлин — волшебник, герой сказаний, связанных с циклом средневековых рыцарских романов о короле Артуре. Упоминается в «Дон Кихоте» Сервантеса.

²³ Йомелли — Йомелли, Николо (1714—1774) — итальянский композитор, представитель рококо в музыке, прозванный «итальянским Глюком». Автор многочисленных опер, ораторий и камерной музыки. С 1754 по 1768 г. был капельмейстером в Штутгарте. На концертах в Вартхаузене, на которых бывал Виланд, исполнялись произведения Йомелли. См.: L. F. Ofterdingen. Christoph Martin Wieland's Leben und Wirken in Schwaben und in der Schweiz. Heilbronn, 1877, S. 190; H. A. Bert. Nicolo Jommelli als Opernkomponist. Halle/Saale, 1908.

²⁴ Бентли, Ричард (1662—1742) — английский филолог и историк, написавший «Возражения против атеистов», содержавшие богословские выводы из физических законов, открытых Ньютоном.

²⁵ Бурман, Петер (1668—1741) — голландский филолог, издатель сочинений латинских авторов.

²⁶ Гиппогриф — сказочное существо, полугриф-полукобель. Встречается в поэзии Ариосто.

²⁷ «Деятнадцатый свет». — В тексте романа к этому месту дано примечание: «По сообщению визиря Мослема в „Ah! quel conte“, — такой мир, куда переселяются гении, волшебники (и почему бы также и не короли в сказках о феях), когда они устанут терпеть скуку на сем нашем свете (кто еще знает, каком по счету)». В последних словах Виланда намек на сочинение Бернара Фонтенеля (1657—1757) «Беседы

о множестве населенных миров» (1686), пользовавшееся популярностью в Европе до середины XVIII в. Немецкий перевод Готшеда вышел в 1726 г.

²⁸ В заключение дон Габриель добавляет, что он «достиг своего намерения, если рассказанная им история принца Бирибинкера не наскучила обществу и избавила прекрасную Гиацинту (одну из собеседниц) от предрассудков в отношении царства фей». Далее в романе следует выделенная в особую главу беседа о выслушанной истории.

Примечания на предыдущую историю

Занимает (с тем же заглавием) третью главу шестой книги романа.

¹ «Четыре факардина» — сказка графа Антуана Гамильтона.

² Тибулл, Альбий (50-е годы — 19 в. до н. э.) — римский поэт, автор двух книг любовных «Элегий».

³ «... алмазными плитами». — В тексте романа дано примечание со ссылкой на сборник сказок Клода Кребийона-младшего «Ah! quel conte»: «Расточительность в отношении драгоценных материалов больше всего полюбилась в одной сказке знаменитому Шах-Багаму».

⁴ «... по уверениям одного великого звездочета...» — В тексте Виланд ссылается в примечании на «Космотеорос» Христиана Гейгенса (Гюйгенса) и «Микромегаса» Вольтера.

⁵ Флейт-траверз — поперечная флейта, на которой играли, держа инструмент наискось и пуская струю воздуха на острый край амбушюра. Их делали различной величины и назначения (дискантовые, альтовые и басовые).

⁶ Ариосто, Людовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Орlando» (1516), изобилующей сказочными мотивами.

⁷ «сочинение графа Габалиса» — книга аббата Виллара де Монфокона (см. статью).

⁸ Палефат — прозвище или псевдоним греческого писателя, которому приписывается сохранившееся в отрывках сочинение «О невероятном», где он пытался дать наивно-рационалистическое истолкование мифам, придавая им некоторую историческую достоверность. Время создания этого произведения, так же как и даты жизни Палефата точно не установлены. Однако попытки рационалистического толкования мифов известны уже в IV в. до н. э., когда философ Эвгемер утверждал, что боги — это обожествленные предки. В XVIII в. европейские просветители, пытаясь найти историческое зерно в античной мифологии, вспомнили о Палефате, однако Виланд, по-видимому, относился к его толкованиям скептически.

⁹ Ливий, Тит (59 г. до н. э. — 17 н. э.) — римский историк.

¹⁰ Ксенофонт (ок. 430—355 гг. до н. э.) — греческий историк.

¹¹ Тацит, Корнелий (ок. 55—120) — римский историк.

¹² Секст Эмпирик — греческий философ середины 2 века, представитель скептического направления в античной философии, считавший, что истину познать невозможно. Сознание чего приводит человека к «невозмутимости».

¹³ Эвиденция — очевидность, ясность.

¹⁴ Мария Агредская — Виланд упоминает это имя в начале романа со следующим примечанием: «Сестра Мария Коронель, прозванная по месту своего пребывания „из Агреды“, привлекла к себе большое внимание в семнадцатом столетии книгой, которая, по ее уверениям, была издана ею по повелению бога и святой Девы. Эта книга носила заглавие «Мистический град божий» и содержала мнимую историю жизни святой Девы, якобы поведенную ею путем непосредственного откровения, которое получила монахиня. Извлечения из этой диковинной книги, которые можно прочитать в «Journal des Savans» за 1696 г., по-видимому, были подвергнуты в Сорбонне цензуре по случаю ее французского перевода и касательно попыток нашего автора оправдать ее вольное истолкование. См. словарь Бейля. статью: «Мария д'Агрета»» («Дон Сильвио», кн. I. гл. 12).

¹⁵ Жиль Блас де Сантильяна — герой одноименного романа французского писателя А. Лесажа (см. статью).

¹⁶ Старые христиане — испанцы старинных родов, кичившиеся тем, что они не смешивались с новообращенными морисками и марранами, которых подозревали в занятиях магией и ведовстве.

¹⁷ Ad hominem (лат.) — личный, а не объективный аргумент (дословно «к человеку»).

¹⁸ В первой главе седьмой книги романа сообщается: «Дон Сильвио провел добрую часть ночи в размышлениях, которые не были особо благоприятны для фей. По правде, после того небольшого обмана, который подстроил ему дон Габриель со сказкою о принце Бирибинкере, вера дна Сильвио в этих дам и их историографа претерпела немалое потрясение. История принца Бирибинкера казалась ему самому теперь столь тривиальной, что он не мог постичь, как он тотчас же не заметил мистификацию. Он, наконец, решил, что истинной причиной тому вряд ли могло быть что-либо иное, кроме сходства этой сказки со всеми прочими, и то заблуждение, которое питал он относительно истинности сих последних. Он не мог более скрывать от самого себя, что хотя нелепости в истории Бирибинкера зашли немного дальше, чем в других сказках, однако их сходство остается достаточно велико, чтобы (особливо в рассуждении всего того, что могли против них привести дон Габриель и дон Евгенио) сделать подозрительными все сказки без исключения. Посреди таких размышлений он, наконец, заснул и, проспав три часа, в течение коих прогресил о донне Фелиции, снова встал и, во время уединенной прогулки в утренней прохладе, продолжал с еще большим успехом размышлять о столь важных для него вещах». Убедившись, что сад, в котором он находится, вовсе не похож на очарованную страну, и что все беседки, рожицы, каскады, греческие храмы, пагоды, статуи и прочие вещи, искусно расположенные повсюду, — произведения искусства и поэтической фантазии, порожденные умелым «соединением различных красот природы и подражающего ей искусства», и что «фантазия, быть может, единственное и истинное средство создания чудесного, которое он по неопытности принимал за часть самой природы», дон Сильвио окончательно излечивается от своей страсти и больше не принимает за действительность волшебные сказки.

ЛЮДВИГ ТИК

ДОСТОПАМЯТНОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА АБРАГАМА ТОНЕЛЛИ

Впервые в сборнике: *Straußfedern*, Bd. 8, 1798. — Перевод осуществлен по изданию: *Tiecks Werke*. Herausgegeben von Eduard Berend. I Theil. Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart. (Verlagshaus Bong). S. a. — На русский язык переведено впервые.

¹ Карл Гроссе (1761—1799?) — немецкий писатель. Кроме пользовавшегося большим успехом романа «Гений» (см. статью) выпустил романы «Кинжал» (4 т., 1794), «Хлоринда» (4 т., 1796), «Разбитое кольцо» (2 т., 1797) и др. В конце XVIII в. уехал в Испанию, где пропал без вести. Граф Варгас — один из псевдонимов Гроссе. См.: Else Kogge u. Graf Eduardo Romeo Vargas — Karl Grosse. Eine Untersuchung ihrer Identität. København, 1954. В собрании сочинений Тика, выпущенном в 1828 г. в «Жизнеописании Абрагама Тонелли» упоминание Карла Гроссе опущено.

² Элефант — слон.

³ Virtuoso (ит.) — здесь мастер, искусник.

⁴ Фантазии. — Здесь намек на философское учение Фихте.

⁵ «... экспериментальную физику». — Иронический выпад против наивного эмпиризма. Ср. фигуру профессора Мош Терпина в сказке Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес».

⁶ Mardi gras (лат.) — вторник на масленице.

⁷ pretiosa (лат.) — дорогие (вещи).

⁸ Collegium medicorum (лат.) — Медицинская коллегия.

⁹ Pereat! (лат.) — да погибнет! Vivat! (лат.) — да здравствует!

¹⁰ Фарфоровый завод. — После того как немецкий химик Иоганн Фридрих Бёттгер (1682—1719) под руководством Э. Чирнгауза разработал способ изготовления фарфора (первые образцы получены в 1709 г. в Мейсене), в Саксонии была учреждена государственная фарфоровая мануфактура. Позднее возникла королевская фарфоровая мануфактура в Пруссии.

¹¹ «... ввел шелководство». — Шелководство вводилось в Пруссии и других немецких княжествах с середины XVIII в. О пользе и значении шелководства, как одной из статей государственного дохода, писали немецкий философ Хр. Вольф и его последователи.

¹² «... распространял календари...». — Так называемые «народные календари» получили широкое распространение в Германии еще в XVII в. Позднее немецкие князья поддерживали и даже принудительно распространяли книжки, проникнутые верноподданническим духом и отвечавшие интересам просвещенного абсолютизма. Возможно. Л. Тик имел в виду «Книжечку для крестьян», составленную Рудольфом Захарисом Бекером (1751—1822): Not- und Hilfs-Büchlein für Bauerleute oder lehrrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfes Mildheim. Gotha, 1787—1798.

Приложение

Э. Т. А. ГОФМАН

НОВЕЙШИЕ СУДЬБЫ ОДНОГО ДИКОВИННОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые опубликовано в издании: Aus Hoffmann's Leben und Nachlass. Herausgegeben von dem Verfasser des Lebens-Abrißes Friedrich Ludwig Zacharias Werners. [J. E. Hitzig.] 2 Theil. 1823. SS. 203—213.

Перевод осуществлен по изданию: E. T. A. Hoffmanns Werke in fünfzehn Teilen. Herausgegeben von Georg Ellinger. Verlagshaus Bong. Berlin—Leipzig—Wien—Stuttgart. S. a. [1912]. Teil 12. SS. 125—129. — На русский язык переведено впервые.

¹ «Hôtel de Brandenburg» находился в Берлине на Шарлотенштрассе (д. 42), принадлежал К. Ф. Краузе.

² Лихтенберг, Георг Кристоф (1742—1799) — немецкий писатель, прославившийся своими «Афоризмами» и юмористическими статьями. Гофману было несомненно известно издание: Lichtenbergs Vermischte Schriften. Bd. 1—9. Göttingen, 1801—1806.

³ Кохинхина — одно из государств старого Индо-Китая.

⁴ Лоос, Готфрид Бернгард (1773—1843) — генерал-вардейн (присяжный пробирер) Монетного двора в Берлине.

⁵ Гофман перечисляет популярные песни берлинских ремесленников, известные по печатным «Песенникам» и лубочным листкам.

⁶ Краузе — см. прим. 1.

⁷ В примечании к этому месту Гофман излагает содержание «Жизнеописания Абрагама Тонелли», так как сборник «Страусовые перья», где он был напечатан, «стал большой редкостью, и у многих читателей может не оказаться под рукой». Это примечание нами опущено.

Э. Т. А. ГОФМАН

КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА

Впервые опубликовано в издании: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Vierter Band. Berlin, 1821. Первый русский перевод: Царская невеста. На действительном событии основанная сказка.

В кн.: Э. Т. А. Гофман. Серапионовы братья. Перевод с немецкого И. Бессомыкина. Часть восьмая. М., 1836, стр. 190—317.

Настоящий перевод выполнен по изданию: Hoffmanns Werke. Herausgegeben von Georg Ellinger. Achter Teil. Die Serapionsbrüder. Vierter Band. Berlin—Leipzig—Wien—Stuttgart, s. a., SS. 179—223. Стихи переведены В. А. Зоргенфреем. Впервые напечатан: Э. Т. А. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. Королевская невеста. Изд. «Academia», М.—Л., 1937.

¹ «... как некогда в замке господина барона фон Тондертонктонка из Вестфалии». — Гофман имеет в виду «Кандида» Вольтера (которого он читал еще в 1804 г.), где иронически описываются владения барона Тундер-тен-тронка, который «был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери, и окна; главная зала даже была украшена шпалерами» (Вольтер. Философские повести. М., 1953, стр. 99).

² Байонна — область во Франции (в Нижних Пиренеях), славящаяся своей ветчиной.

³ «Вытащи меня, вытащи меня...» — сказочный мотив, по-видимому, заимствованный из сборника братьев Grimm. В сказке «Госпожа Холле» из печи в пекарне слышится голос: «Ах, вытащи меня, ах, вытащи меня»; яблоно просит: «Ах, потряси меня, потряси меня, мы — яблоки — все уже созрели!». См.: J. Bolte und G. Polivka. Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Bd. 1. Leipzig, 1913, SS. 207—227 (№ 24).

⁴ Гномическое начало, т. е. исходящее от земли, которое, по словам Дапсуля, противоборствует солнечному жару.

⁵ «Я разумею герундий». — Герундий — латинская глагольная форма, обозначающая то, что должно быть сделано. Употребление пояснено в самом тексте сказки.

⁶ Корень альрауна — см. сопроводительную статью, стр. 191.

⁷ «Зеленый свод» — в Дрездене. Сокровищница, в которой хранилось большое число художественных изделий из золота и драгоценных камней.

⁸ Работник Рупрехт — в немецком фольклоре играет роль Деда Мороза (наряду с Санта-Клаусом).

⁹ Кабала — мистическое учение, распространенное среди евреев в диаспоре, сложившееся на основе вульгаризованного представления пифагорейцев о тайном смысле чисел и обрывков различных оккультных учений, распространенных среди средиземноморских и восточных народов. Книги Кабалы привлекали к себе внимание как еврейских, так и христианских мистиков и оккультистов, искавших в них сокровенный смысл.

¹⁰ «... кои, достигнув высшей ступени, не смеют ни пить, ни есть, кроме как для утех». — Это место, как и дальнейшее изложение учения о «стихийных духах» (гномах, саламандрах, сифах и ундинах) и их взаимоотношениях с людьми, почти полностью восходит к материалу книги «Габалис» (см. статью, стр. 162). Габалис утверждал, что «мудрецы едят только для своего удовольствия и никогда из потребности». Приводятся исторические примеры: Парацельс якобы уверял, что он знал «многих мудрецов, которые жили по двадцать лет, не принимая никакой пищи». Сам Габалис «сделал попытку прожить много лет с одной крупцы солнечной квинтэссенции» и даже сообщает способ, как этого достичь. В заключение он говорит: «Мы едим, когда нам это нравится; но избыток кушаний исчезает путем не приметной транспирации, и мы можем никогда не стыдиться быть людьми» (Le Comte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secretes. Paris, 1670, S. 44. Graf von Gabalis oder Gespräche über die verborgenen Wissenschaften. Aus dem Französischen. Berlin, 1782, 124 S. Далее: «Gabalis»).

¹¹ «Князь Мирандола» — Джованни Пико де Мирандола (1463—1494) — князь Конкордии, с юных лет пораженный современников необыкновенными познаниями. Его сочинения проникнуты идеями неоплатонизма. На Пико де Мирандолу ссылается «Габалис», откуда и заимствовал свой пример Гофман.

¹² Зороастр — «Габалис» называет его «сыном саламандра Оромазиса и Весты жены Ноя» («Gabalis», S. 78).

¹³ Великий Аполлоний — Аполлоний Тианский (жил в I в. н. э.) — знаменитый маг, почитавшийся адептами оккультных учений. «Габалис» сообщает, что он «рожден без участия мужчины, а один из высших саламандров сошел на землю, чтобы посредством его матери получить бессмертие». Аполлоний Тианский, уверяет «Габалис», «разумел язык птиц; его видели в один и тот же день в различных частях света, он исчез перед Диоклетианом, когда тот хотел дурно с ним поступить; воскресил с помощью ономантии девушку и пр.» («Gabalis», S. 91). Ономантия — гадание по жертвенному вину и связанные с ним магические действия.

¹⁴ Мерлин — см. прим. 22 к «Истории принца Бирибинкера». Граф Габалис сообщает, что Мерлин был «рожден без участия мужчины монашенкой, дочерью британского короля, и умел предсказывать будущее с большей отчетливостью, чем Тирезий; а посему не утверждайте вместе с чернью, что он будто бы сын сожительствующего дьявола, ибо такихых не бывает, и не уверяйте, что он предсказывал с помощью дьявольского искусства, ибо, согласно священной Кабале, дьявол — наименее совершеннейшее из всех созданий. Скажите как мудрец: английская принцесса утешалась в одиночестве с неким сильфом, который сжалился над нею и позаботился о том, чтобы ее развлечь, и сумел ей понравиться, а Мерлин, ее сын, был воспитан сильфом во всяческой премудрости и научился от него производить все чудеса, о которых сообщает английская история» («Gabalis», S. 92). Эти представления усвоены позднейшей литературной традицией. Во введении к роману «Монастырь» (1820) Вальтер Скотт писал: «Недоверие публики к простонародным и грубым шотландским суевериям побудило автора обратиться к прекрасной, хотя и почти забытой магии астральных духов и стихийных существ, превосходящих людей знанием и силой, но стоящих ниже их, так как они подвластны смерти, которая будет для них уничтожением, ибо к ним не относится обещание, данное сынам Адама». За дальнейшими сведениями он отсылает читателей к «Габалису» (Вальтер Скотт, Собр. соч., т. 9. М.—Л., 1963, стр. 14—15).

¹⁵ Граф Габалис говорит: «Также не оскорбляйте сильно графов Клеве, объявляя дьявола их предком, а лучше подумайте о том сильфе, который, как рассказывает история, явился в Клеве на диковинном корабле, влекомом лебедем, прикрепленном к нему серебряной цепью. Этот сильф произвел много детей с наследницей Клеве и, наконец, среди бела дня, на глазах у многих покинул это место на своем воздушном корабле» («Gabalis», S. 93). Габалис приводит эти примеры для опровержения легенд о происхождении различных знаменитых людей от сожительства с дьяволом, объясняя его «философскими браками» «стихийных духов» с людьми. По его словам, эти браки носят серьезный и целомудренный характер. «Стихийные духи», лишенные земной чувственности, вступают в них, чтобы приобрести к бессмертию («Gabalis», S. 28). А заключающие их мудрецы и философы, презревшие мирскую суету и соблазны, должны дать обет воздержания и отказаться от телесного общения с женщинами («Gabalis», S. 21). Подобные условия «мистических браков» «стихийных духов» с людьми довольно рано вызвали насмешливое отношение. В «Персидских письмах» Монтескье при описании различных проделок всевозможных обманщиков и шарлатанов упоминается «адепт», который «обещает устроить так, что ты будешь спать с бесплотными духами, при условии, однако, что предварительно тридцать лет не будешь иметь дела с женщинами» (Монтескье. Персидские письма. М., 1956, стр. 145).

¹⁶ Бенсира — Бенсирах — легендарный персонаж средневековых раввинских сказаний, о которых упоминает «Габалис» («Gabalis», S. 96).

¹⁷ Мелузина — героиня народных сказаний и рыцарских романов. В 1471 г. французский роман о Мелузине в стихах был переведен прозой на немецкий язык и стал одной из популярных немецких народных книг. Это история рыцаря, который женился на русалке, не ведая о ее подлинной природе. Однажды, когда он, после многих лет счастливого брака, нарушив запрет, наблюдал ее во время купания и обнаружил, кто она на самом деле, Мелузина навсегда оставила его и он лишился своего счастья. Историю Мелузины упоминает Габалис со ссылкой на сочинение Парацельса («Gabalis», S. 94).

¹⁸ «... жестоко мстят за каждую обиду». — История о мести оскорбленной сильфиды приведена у «Габалиса» также со ссылкой на сочинение Парацельса («Gabalisis», S. 83).

¹⁹ «Охотничий кнастер» и «Да процветает Саксония!» — названия крепких табаков низшего сорта.

²⁰ Кассиодор Рем (Ремиус) — испанский протестант (ум. 1654), изгнанный из отечества, переселился во Франкфурт-на-Майне, где издал несколько сочинений богословского характера. История аббатисы приведена у «Габалиса» также со ссылкой на Рема («Gabalisis», SS. 84—85).

²¹ «... то же случилось с неким сильфом и юной Гертрудой». — Их история поведана Габалисом («Gabalisis», S. 85).

²² «... маленького студента, притаившегося в ореховой скорлупе». — Здесь — кобольда.

²³ «Казалось, он собирался спешиться». — По-видимому, реминисценция из «Гаргантюа» (книга I, глава 35), где описывается явление Гимнаста: «Он сделал вид, что намерен спешиться, и, наклонившись влево, со шпагой на боку ловко перевернулся в стремени, затем пролез под конским брюхом, подпрыгнул и обеими ногами, но только задом наперед, стал на седле...» (Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюель. Перевод Н. Любимова. М., 1961, стр. 109).

²⁴ Лактанций — церковный писатель начала IV в. Во второй книге своего сочинения «Основы божественного учения» («Divinae institutiones») касается вопроса о демонах, которым он приписывает появление политеизма, а также приводит многочисленные примеры демонических чудес и колдовства. Мнение его оспаривает «Габалис» («Gabalisis», S. 78).

²⁵ Фома Аквинский (1225—1274) — схоласт, создатель универсальной богословской системы, включавшей также и учение о дьяволе. «Габалис» утверждает, что Фома «немного знал учение Кабалы, но заблуждался и противоречил самому себе» («Gabalisis» S. 96).

²⁶ «... стихийного Книгге». — Имеется в виду барон Адольф Книгге (1752—1796) — немецкий юрист и писатель. Примыкал к левому крылу немецких просветителей. В своих памфлетах излагал идеи французской революции и призывал к реформам в духе естественного права. Наибольшей известностью пользовалась его книга «Über den Umgang mit Menschen» (Hannover, 1788), излагающая правила «обхождения с людьми» и вызвавшая насмешки романтиков (особенно Brentano). Выпады против Книгге встречаются в «Коте Муре». Упомянув «стихийного Книгге», Гофман, вероятно, намекал на его близость к розенкрейцерам.

²⁷ Аполлон Бельведерский — см. прим. 18 к «Истории принца Бирибинкера» Виланда.

²⁸ Умиравший гладиатор — мраморная римская копия с утраченного оригинала III в. до н. э., представляющая умирающего галла (воина). Капитолийский музей в Риме.

²⁹ «... трохей, спондеи, ямбы, пиррихии, анапесты, трибрахии, бакхии, антибакхии, хориямбы и дактили» — обозначения различных «стоп» (стихотворных размеров).

³⁰ «Шварцреттиг из Померании» — от нем. «Schwarzrettig» — черная редька. Синьор де Броколи — от ит. «broccoli» — красная капуста. Мосье Рокамболь — от фр. «roscambolle» — сорт чеснока.

³¹ Имя гнома «Тсильменех» и его «перевод» — по-видимому, выдумка Гофмана.

³² Сафьян — Кордова славилась выделкой кож.

³³ «... я любим сильфидою Нехахила». — Имя сильфиды (слегка искаженное) заимствовано из «Габалиса», где она названа «Nemmahmihah» («Gabalisis», S. 108).

³⁴ Филипп Дормер Честерфилд (1694—1773) — английский писатель и политический деятель. Его «Письма к сыну», не предназначавшиеся к печати, были изданы в 1774 г. Советы и наставления Честерфилда сыну представляли собой правила хоро-

шего тона и поведения, необходимого для того, чтобы обеспечить успех в светском обществе и на поприще дипломата, которое он ему прочил. Одни современники усмотрели в этих письмах целую систему воспитания с чертами просветительства, другие, напротив, кодекс светского лицемерия и циничный практицизм ловкого придворного, делящегося своим опытом. Гофман, которому несомненно претил сухой рационализм Честерфилда, ставит его на одну доску с Книгге и госпожой Жанлис. В связи с темой сказки следует отметить отрицательное отношение Честерфилда к «Габалису», наполненному, по его словам, «нелепыми выдумками» и «дикими идеями». Тем не менее он советует сыну достать и прочитать эту книгу: «Она позабавит тебя и поразит, и вместе с тем научит *nil admirari* (ничему не удивляться, — *А. М.*), что совершенно необходимо (будущему дипломату). См.: Честерфилд. Письма к сыну. Максими. Характеристики. Издание подготовили М. П. Алексеев и А. М. Шадрин. Л., 1971, стр. 79.

³⁵ Мадлен Фелисите де Жанлис (1746—1830) — французская писательница. Написала несколько назидательных книг для детей.

³⁶ Даукус Каротта — это имя произведено от латинского обозначения желтой моркови, данного Линнеем, — «*Daucus carotta*».

³⁷ Король бобов. — Имеется в виду получивший распространение в Западной Европе «праздник бобов» (5 или 6 января). На этот день избирается шуточный «король бобов» (обычно тот, кому достанется запеченный в пирог боб).

³⁸ Ихор богов (*греч. мифол.*) — «кровь богов» в отличие от крови смертных белого цвета.

³⁹ Тиртей — древнегреческий поэт. Когда во время второй мессенской войны (685—668 гг. до н. э.) спартанцы по совету дельфийского оракула попросили прислать себе предводителя, те в насмешку отправили к ним хромого Тиртея (возможно, прозванного так за несоблюдение правильного размера в гексаметре), но он своими песнями воодушевил упавших духом спартанцев на победу. Стихи Тиртея долгое время служили для воспитания юношества, а его военные элегии читались в походах после ужина.

⁴⁰ Фридрих Рихтер — немецкий писатель Жан Поль Рихтер (1763—1825).

⁴¹ ... *diable de jeunesse* (*фр.*) — обаяние молодости.

⁴² Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт.

⁴³ «... где находится здравый смысл». — Шутливый намек на «френологию», учение, согласно которому душевные свойства и таланты человека определялись строением его черепа. Френологией увлекались в начале XIX в.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БАН — Библиотека Академии наук СССР (Ленинград).

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Гравюра Даниеля Ходовецкого (1726—1801) к сказочной поэме Виланда «Ид-рис» (1766—1767). Отдел графики Государственного Эрмитажа (Ленинград). (Вклейка между стр. 32—33).

2. Гравюра Франсуа Буше (1703—1770) «Амуры на воде» (1758). Отдел графики Государственного Эрмитажа (Ленинград). (Вклейка между стр. 32—33).

3. Шарж Э. Т. А. Гофмана. Прусские чиновники в Варшаве — советник Маркграф и советник Клебер (начальники Гофмана во время его службы в Варшаве в 1804—1807 гг.). (Стр. 136).

4. Шуточный рисунок Э. Т. А. Гофмана «Верхом на драконе», пародирующий сказочную образность. (Стр. 136).

5. Гофман верхом на коте Муре выезжает на борьбу с прусской бюрократией (автошарж). (Стр. 137).

6. Сатирический рисунок Э. Т. А. Гофмана «У руки», высмеивающий придворный быт немецких княжеств. (Стр. 137).

Издания рисунков Э. Т. А. Гофмана: Die Zeichnungen Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns. Zum ersten Mal gesammelt und mit Erläuterungen versehen von Leopold Hirschberg. Potsdam, 1921. E. T. A. Hoffman als bildender Künstler. Herausgegeben von Walter Steffen und Hans von Müller. Berlin [1925].

СОДЕРЖАНИЕ

К. М. Виланд. История принца Бирибинкера. <i>Перевод А. А. Морозова</i> . . .	5
Людвиг Тик. Достопамятное жизнеописание Его Величества Абрагама Тонелли. <i>Перевод А. А. Морозова</i>	60
<i>Приложение.</i> Э. Т. А. Гофман. Новейшие судьбы одного диковинного человека. <i>Перевод А. А. Морозова</i>	106
Э. Т. А. Гофман. Королевская невеста. Сказка, основанная на действительном событии. <i>Перевод Э. Г. Морозовой</i>	110

Приложения

Немецкая волшебнo-сатирическая сказка. <i>А. А. Морозов</i>	155
Примечания	202
Список принятых сокращений	213
Список иллюстраций	214

НЕМЕЦКИЕ ВОЛШЕБНО-САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

*Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР*

Редактор издательства *А. Л. Лобанова*
Художник *Д. С. Данилов*
Технический редактор *Г. А. Бессанова*
Корректоры *Г. А. Мошкина и Ф. Я. Петрова*

Сдано в набор 12/X 1971 г. Подписано к печати 6 I 1972 г. Формат
бумаги 70×90^{1/16}. Печ. л. 13^{1/2} + 1 вкл. (1^{1/8} п. л.) = 15,93 усл. печ. л.
Уч.-изд. л. 15.05. Изд. № 4777. Тип. вак. № 589. Тираж 30 000.
Бумага № 2. Цена в переплете 1 р. 31 к., в обложке 91 коп.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука». 199034, Ленинград, 9 линия, д. 12